

КОНТИНЕНТ 45

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

... До сих пор мы, русские, при всех Главное здесь – это монотонность и бывших у нас в прошлом велико-однообразии всей жизни, отсутствие культурных достижений, оста-перспектив и надежд на то, что завтрашних культурных достижений, оста-перспектив и надежд на то, что завтрашней день что-то изменит, су-женность горизон-бытными варва-тов, ограничен-рами. Что, конеч-ность этой жизни ино, очень печаль-ее скука. Потому-но для данного то при советской дня. Но обнаде-власти доля воз-живаает на заме-чика не так уж чательное буду-отличается от д-щее. ли журналиста...



Евгений Наклеушев



Юзеф Мацкевич

Миротворнее нас – нет среди народов. Но если они и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем они и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость,



усни... Кто-то вздохнул за стеной – что нам за дело, родной? Глазки скорее сомкни». И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху... Нет, мы не таковы. Чужая беда – это и наша беда. Нам дело есть до любого вздоха, и спать нам некогда.

Венедикт Ерофеев

Мысль о том, что ничего изменить нельзя, вызвала страшное отчаяние – крик, рвавшийся из глубины души, удалось удержаться с невероятным трудом. Крепись, возьми себя в руки. Нельзя, чтобы твое истинное состояние видели сестры или врачи. Если заметиет что-либо – решат, что возбудился...

А. Шатравка

Набоков – драматург. Звучит как-то неожиданно, непривычно, а он оставил нам значительное драматургическое наследие – пьесы и сценарии для фильма по роману «Лолита». Странно, что он все это не собрал воедино, в одну книгу.... Еще одна загадка...

Ренз Герра



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Петр Григоренко · Милован Джилас
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти
Эжен Ионеско · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный · Амос Oz · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Veruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
Edward Lozansky, The Andrei Sakharov Institute,
3001 Veazey Terrace, N. W., Suite 332 Washington,
D. C. 20008, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

45

**Издательство «Континент»
1985**

СОДЕРЖАНИЕ

Лина К о с т е н к о – Стихи разных лет. Перевод с украинского и предисловие Василия Бетаки	7
Василий А к с е н о в – Скажи изюм. Главы из романа	16
Дмитрий Б о б ы ш е в – Новые стихи	89
Венедикт Е р о ф е е в – Вальпургиева ночь, или «Шаги Командора». Трагедия в пяти актах	96
Иосиф Б р о д с к и й Стихи	186
Фридрих Г о р е н ш т е й н – На вокзале. Рассказ	207
Владислав Л ё н – Из «Книги посланий». Стихи	226
Леонид Р ж е в с к и й – Полукрылый ангел. Рассказ	233
Игорь Б у р и х и н – Из цикла «Я. В. Норвегии. На Страстной. И на Светлой. Сорокадневное»	264
Игорь К а ч у р о в с к и й – Из книги «В далекой гавани». Перевел с украинского автор	272
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Евгений Н а к л е у ш е в – Снова восемнадцатый век!	277
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Юзеф М а ц к е в и ч – Вильно, 1940 – 1941. Два очерка	291
ЗАПАД – ВОСТОК	
Гейтер С т ю а р т – «Достопочтенное семейство». Профиль итальянской мафии	301
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Александр Ш а т р а в к а – Если ты болен свободой. Отрывок из книги	325
ИСТОКИ	
<i>К 40-летию окончания 2-й мировой войны</i>	
Василь С о к и л – «Ничто не забыто, никто не забыт!»	345
ИСКУССТВО	
Александр Г л е з е р – Русская галерея в Париже	361

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Ренэ Герра – Владимир Набоков в непривычной ипостаси	367
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	393
НАША ПОЧТА	395
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Алексей Татарин ов – Стихотворения Инны Лиснянской	405
Михаил Агурский – Великий «ренегат»	410
Б. Хайман – Глазами побежденного	415
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	419
НАША АНКЕТА	
Беседа с выдающимся итальянским писателем Леонардо Шашей . Ведет Гейтер Стюарт	425
<i>Перед сдачей номера в печать</i>	
Леонид Плющ – Жертвоприношение поэта	441

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Перевод с украинского и предисловие Василия Бетаки

Русский читатель почти не знает стихов Лины Костенко. Ее не удостоили права быть переведенной там, где «раздают» переводы – словно награды вассалам за верность и хорошее поведение. (Вассалами я называю и переводимых, и переводчиков.) Раздают! Слово-то какое! Кормежка для чиновных графоманов, вроде Брауна и Комиссаровой, перекатавших на русский сотни тысяч строк с украинского языка; да вот беда, поэтов среди переведенных этими людьми почти не было, а кто и был, тот перестал быть, потому как «что хорошего произойти может» от принципа «не стой на виду, а не то переведу»?

Вот и выходит, что русские читатели, кроме сотен безымянных и бесталанных, получают еще малую дозу какого-нибудь лауреата из бывших поэтов... Вроде Павло Тычины...

Поэты истинные в советских условиях не сочиняют стихов о «дружбе народов»: истинный поэт всегда настроен национально – это раз, и еще важно, что у истинных поэтов и вправду много друзей среди поэтов других народов, они-то понимают, что все народы империи одинаково несправны, а русскому еще и двойная беда: от властей и от людей из «республик», относящихся к ним как к колонизаторам... Ну, а в литературе обычный противоестественный отбор: чем ярче поэт, тем вернее объявят его «националистом» (с обязательным эпитетом «буржуазный»). Даже если он эвенк или нивх, хотя там, говорят, родовой строй еще не отжил).

А у Лины Костенко по-украински с 1957 по 1961 год вышло три книги, но по-русски печатать ее упорно не хотели. Четвертая ее книга была зарезана редакторами, после чего не публиковалась она и по-украински лет десять. На Западе издательство «Смолоскип» выпустило книгу избранных ее стихов. Прошло еще лет десять. В 1977 году вышла в Киеве тонкая книжка «Над берегами вечной реки». Из нее взяты многие стихи, здесь публикуемые. Недавно, кажется, еще две. Но – опять только по-украински.

Лина Костенко остается все тем же глубоко национальным и пронзительно лиричным поэтом. Близость ее поэзии к интонациям Леси Украинки и Александра Блока сплавляется в причудливую своеобразную манеру. Эта поэзия – как мне кажется, самое крупное, что дало поколение, называемое в украинской критике «шестидесятниками».

1985-й – юбилейный год для Лины Костенко. Поскольку ни в одном издании она не скрывает своего возраста, то и я рискну, поздравляя ее, замечательного украинского поэта, уточнить, что поздравляю ее с пятидесятипятилетием.

Я заканчиваю перевод книги ее избранных стихов.

Одно из стихотворений, здесь публикуемых, я перевел ровно 35 лет тому назад, когда нам, студентам Литинститута, было по двадцать пять.

Остальные стихи переведены уже в этом году. В 1985-м...

* * *

Сосновый лес аккорд перебирает,
Рокочет тишина в глухих басах,
А эхо под березами блуждает,
Его забыли с вечера в лесах.
Седой гусяр – он снова песнь иную...
Его послушать сходятся века...
И все проходит, но не все минует
Там, где струится вечная река.
В терновом мире, преддрасветно голом,
Кладут ветра смычок на тетиву,
Исчезнувших друзей зовет мой голос,
И кто-то отзывается: Ау!
И тишина. А эхо все блуждает
Сквозь дни, мгновенья, души и века...
Сосновый лес аккорд перебирает
Там, где струится вечная река.

* *
*

Восходит солнце багрово круто,
В глаза заглянуло мне:
А вправду ли доброе утро?
А не плакала ли во сне?
Утро – доброе...

А ночи, ночи...

Снился ты и чужие края...
Плакали синие очи,
Плакали черные очи,
Плакали серые очи...
И все это – я.

* *
*

Любовь и верность – истины извечные.
Сотворены до нас, давным-давно...
А мы? Чтó мы?

Случайные мы, встречные...

Ох, горькое, ох, горькое вино!
А надо пить. Уж так велит обычай.
Он тоже сотворен до нас. Давно...
За расставанья наши

и за встречи...

Ох, горькое, ох, горькое вино...

* *
*

Разбуди меня, разбуди,
Мне приснился холодный сон:
Окружили вечные льды,
Захватили меня в полон.

Ледяные стены дворца,
Как решетки – кристаллы колонн...
Это здесь ледяные сердца
Отдаются зиме в полон,
Отвыкают от летних ветров
И теряют тепло свое.

Видно, если прошла любовь,
Значит, не было вовсе ее.
Замечает ее следы
Белый снег меж белых колонн...
Разбуди меня, разбуди!
Мне приснился холодный сон.

* *
 *

Гроза. Танцуют призраки антенн
На плоских крышах. Ветер их качает.
Людей глотает метрополитен,
Дождинки жадная листва глотает.
Каштан под ветром бьет в глухой тимпан,
Размах тяжелых туч не знает меры.
Вдруг где-нибудь раскроется тюльпан!
Алеет зонтик. Тротуары серы.

* *
 *

Цветут сады. Жуки жужжат над кручей,
И сердце в сердце врезалось стремглав,
А ночь была тяжелой, низкой, жгучей,
Как пеньё Сумак и Эдит Пиаф.

А ночь была сиренью, черной розой,
Колдующей над отзвуками гроз...
Цыгане сперли ночь. Из их повозок
Еще торчал ее глухой гипноз.
А ночь была усталой, словно осень.
Светила необычная звезда...
Счастливой ночи бег молниеносен,
Но в сердце след оставит навсегда.

* *
 *

Не говори печальными глазами,
Боятся слов печальные глаза.
Так возникает нежность между нами,
Так возникает в тишине гроза.
Ты сон мой или явь моя? Не знаю.
Но это чернокнижие чела!
То ль между нами радуга цветная,
То ль между нами пропасть пролегла?

* *
 *

Погасли кострища стоянок,
В землю ушли племена.
А с ними в холод курганов
Секиры, мечи, письмена.

Потускнели браслеты и гребни,
Рассыпались бусы те,
Что сверкали на женщинах древних,
На юной их красоте...

Потемнели кубки и чаши,
Те, что воин по кругу пускал,
И голос их отзвучавший
Тленом впитался в металл.

А все же мне показалось
(Как ни хладен времени труп),
Что на этих чашах осталось
Тепло прикасавшихся губ,

И закованная, как в цепи,
В клинопись дальних времен,
Вылетает в звонкие степи
Песнь давно онемелых племен.

* *
*

А груши сыплют – словно из рогаток,
И стадо где-то бродит без дорог.
Засохший дуб, насупившись рогато,
Закатный горизонт надел на рог.
Зевает колокольня. Тут все то же.
Но во дворе (меня давно в нем нет!)
Стоит девчонка, на меня похожа,
Очами в душу втягивая свет.
Вдруг озорство арканом схватит смутно.
На девочку чужую погляжу,
На белую ограду... И как будто
Коня у двери наспех привяжу.
И в дом войду. Притихну. Онемею.
Но время бьет копытом... не беда!
А время бьет копытом... Да успею!
Вот отдохну немного и айда!

* *
*

Вечер такой турецкий... Полумесяц. Звезда. Духота.
Пионы такие красивые... Уста их полуоткрыты.
Кто хочет дождя? Ладони. Зеленые... Как не так:
Вас всех этой ночью выкупают зарезанными в корыте!
В ночи налетят янычары, над вами блеснут ятаганы,
Они уже тут, недалече – не видите? Вон, таятся!
Я буду стихи писать. И стоны услышу странные.
Я – на крыльцо – все пионы зарезаны. Не шевелятся.
И ловят чужие кусты
Лепестки неживой красоты.
Только немного слезинок
Сбегает по стенкам корзиночек.

Вяжет букеты баба
Не хуже иного японца...

А почему цветочек хотя бы?
Не знаю... Спросите у солнца...

* *
*

Еще серебряные эполеты
На зимних соснах. Ворон их клюет.
Ведь где-то есть счастливые планеты:
Весна дубравам листья раздаст...
А тут – снега, плачевны, неутешны,
Идут с небес все гуще, что ни час.
Как лепестки космической черешни,
Вселенский холод сыплется на нас.
Но где-то там – скоплений звездных вечность,
И ни начал ей нету, ни концов...

Идут снега. Плюс-минус бесконечность.
Снежинка тает, встретившись с лицом.

* *
 *

Уж третий день в лесу живу я,
Бельчонка я кормлю с руки...
Под стрехой зелень моховую
Покрыли тканью пауки.
И глухо в хате, как в пещере.
А стекла – фреской дождевой.
Что там пустоты Торичелли,
Пред этой крайней пустотой?
Но огонек – живое чудо
Зажжется – блики по лицу,
И вот уже щенок-приблуда
Хвостом молотит по крыльцу.

* *
 *

Тому б – хоть хлебца липкого,
Другому – только лавры.
Одна душа – как скрипка,
Другая – как литавры,

А тут не слишком четко –
На крыльях ли? В веригах?
От Баха до чечетки,
От «чижика» до Грига.

От легкого ноктюрна
До грозových симфоний,

И от валторны бурной
До всхлипов саксофонных...

Все голоса природы,
Какого хочешь вида:
От голоса природы
До писка индивида.

Все так и лезет в сердце.
Вошло – навек осталось...
Такие вот концерты,
Аж сердце надорвалось!

КОСТЕНКО Лина Васильевна. Родилась в 1930 году в городе Ржищев Киевской области. Окончила Литературный институт имени Горького. Автор сборников стихов «Лучи земли» (1957), «Паруса» (1958), «Странствия сердца» (1961) и других. Живет на Украине.

СКАЖИ ИЗЮМ

Главы из романа

ЭПИГРАФ

I

«После кино из всех искусств для нас главным является фотография!» (В. Ленин или И. Сталин)

Когда и кем из двух возможных авторов изречена цитата, доподлинно не известно.

В наши дни знаменитый советский фотограф «новой волны» Максим Петрович Огородников, подвыпив в одном парижском частном клубе, внес и свою лепту в науку фотоведения. Вот то, что удалось собрать из его идей: – Фотография – это связь видимой реальности с астралом. Тайна эмульсии непостижима. Суть фотопротесса скрыта в перемещении космических и астральных сил. Нам надо лишь по-детски радоваться этой, одной из малых тайн, приоткрытых нам Высшей Милостью, благоговейно предполагать за этой малой сонм великих, а мы объясняем фотографию какой-то механической дурью.

Давайте, господа, говорить об этом, как дети. Я люблю, господа, все, что связано с фотографией – камеру, сумку, наплечный ремень. Обвешанный аппаратурой, я кажусь себе странствующим рыцарем.

Люблю в тумане поутру
ждать пролетающих удонов.
В аэропортов суету
входить, фиксируя народы.

Полностью роман выходит в издательстве «Ардис» в конце 1985 года.

Люблю носиться в дупель пьян,
чтоб только смутные сигналы
перелетали океан
по направлению Валгаллы.

Люблю, внезапно отрезвев,
увидеть Аттику, Элладу,
где, словно туча, дымный Зевс
обозревает эспланаду.

Люблю предмета смысл и звук
в его осмысленном звучаньи,
пусть непригляден, как паук,
пусть непристоен, как овчарня.

Люблю всемирный кавардак
обозревать, прикрывшись тогой,
и в той же тоге, натошак,
в России, красной и убогой,
вести застольный разговор
с партийным шишкой, местным вором,
и в щи бросать табачный сор,
и вора покрывать позором.

Люблю в Москве поднять самум,
друзьям устроить перекличку...
Say cheese, my friends! Скажи изюм!
Вниманье, вылетает птичка!

Я грешен, братцы, признаюсь
и опускаюсь на колени:
бывают дни – я, пьяный гусь,
девиц без устали и лени

ищу, но сквозь похмельный квас
вдруг вижу все по старой моде –
две пары лыж, жену, Кавказ
и месяц ранний на восходе.

Мучительна ничтожеств фальшь,
но видит все незримый зритель,

когда нечистый палец ваш
тайком тревожит проявитель.

Я выхожу. Мой Хассельблад
плечо мне тянет. Ночь в округе.
Направо ль Рай? Налево ль Ад?
Куда летим в московской выюге?
Но щелкает мой автомат...
Лицо космической подруги
освещено. Сто тысяч ватт.
Из темноты летят пичуги.
Широкофокусный охват.
Вальсок, тангошка, буги-вуги...
И стар, и млад, и леопард
на нашей крохотной фелюге,
плывущей в некий фотосад...

Вот почему, собственно говоря, милостивые госу-
дарыни и милостивые государи, я так интенсивно всю
жизнь увлекаюсь фотографией.

Однако как все это началось в плане развития
не пьяных откровений, а социалистического фоторе-
ализма? Как возникла могучая отрасль искусства, перед
которой нынче даже советская литература, такой неза-
менимый подручный партии, бледнеет?

II

Существует в своде народной мудрости наших дней
еще одно изречение, относящееся к фотографии.
ЖЕЛУДКИ У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ – так гла-
сит это изречение, которое приписывают то ли Лени-
ну опять же, то ли Сталину, то ли всему советскому
народу. Эта мудрость почему-то не выносится на пла-
каты и транспаранты, однако в Союзе советских фото-
графов она известна всем. Особый идейный смысл фра-

зы предусматривает широкие теоретические толкования, однако и практического употребления цитатка не избежала, в частности, для борьбы с пьянством в ресторане «Росфото».

Арифметически средний член СФ СССР за один присест в этом знаменитом ресторане употребляет не менее полукилограмма водочного изделия. Остерегись, Коля, говорит ему метрдотель Андрианыч. Желудки ведь у людей бывают разные. Знаю, рявкает в ответ арифметически средний. Наливай!

Ресторан этот, как ни странно, и до большевистской революции назывался точно так же: ибо в этом здании помещалась мелкобуржуазная организация фотографов, пытавшаяся насадить в российской фотографии нравы махрового объективизма. Не переименовали ресторан по чистому недоразумению. Большевики любую аббревиатуру полагали собственным изобретением, ну а народ российский все старое очень быстро позабыл, все вокруг связал со своей единственно возможной властью. Кому, например, в голову придет полюбопытствовать происхождение славных буденновских войлочных шлемов с шишаками, их длиннейших шинелей с бранденбургами, петлицами и геометрическими фигурками знаков отличия. Подразумевается как бы, что сам Семен Михайлович на пару с Климентом Ефремовичем разработали этот изысканный дизайн, от которого за версту несет «Миром искусства» и ранним модерном со скифскими инспирациями. Полностью забыто, что разработано это было художником Васнецовым в 1916 году, что новая форма была заготовлена еще при старом режиме и большевикам только и оставалось, что вскрыть московский Арсенал, нашить под шишаки свои звезды и мчаться в атаку на Варшаву.

Даже и в наши дни современный совчеловек окружен знаками старой России, о которых и не догадывается. Особенно много этих знаков в так называемом «шир-

потребе». По сути дела, большинство предметов для мелкой частной жизни остались нам от «помещиков и купцов». Ну вот, пол-литровая бутылка, например, или коробок спичек, к слову сказать, конфеты «Мишка на Севере», мыло «Кармен», банка шпротов, одеколон «Шипр» – все дизайны разработаны до, а то, что после появилось, вроде электробритвы, то просто-напросто просочилось с Запада. Совдеп за все свои годы не изобрел ничего для мелкой пользы граждан, только лишь кое-что для исторических целей, стреляющие устройства, вроде «катюш».

Такие мелочи приходят в голову, когда сидишь в историческом краснодеревесном зале ресторана «Росфото». Пятьдесят лет уже здесь помещается «боевой штаб советского фотоискусства», вот именно полтинник как раз и прохилил с той поры, когда знаменитый русский фотограф Аркадий Грустный весь в слезах и соплях вернулся из эмиграции и сдал в ГПУ свой «кодак». Примите, примите мое раскаяние, строители нового мира! Да, я снимал Государя и Сашу Керенского, да, я сфотографировал крейсер «Аврора» в самый неподходящий для него момент... Каюсь... Смотрите, Аркадий Грустный на коленях! Товарищи, распространим принципы социалистического реализма на отечественную фотографию!

В ГПУ, по слухам, скривились: тоже, мол, нашелся новый Максим Горький! Остудили несколько пыл неопита. Вы нам не Горький, товарищ Грустный, фотографы – не чета писателям. Писателей покрываем соцреализмом, чтобы не умничали, а с вами, фотарями, разговор будет попроще. Без всякого соцреализма будете отражать нашу новь, фиксировать наше счастье молодое, куда пошлем, туда и поедете!

И вот, по слухам, взбунтовался недобиток. Не согласен, – заявил Аркадий Грустный. – При всей моей любви к внутренним железам пролетарской диктатуры, не согласен, товарищи! Не может партия обойти своим вниманием фотографию!

Вся эта история, повторяем, передается по слухам, по шепоткам, по разговорчикам и намекам. Архивы ЧКГПУНКВДМГБКГБ закрыты навеки не только для скромных сочинителей, но и для мудрых историков, но и для всей человеческой цивилизации, но и для всех, конечно, внеземных цивилизаций. Что ж, за неимением доступа к священным архивам пролетариата, будем жадно пользоваться молвой.

Бывший белогвардеец, а впоследствии почетный комсомолец Донбасса развил бешеную энергию, замелькал по Москве и вдруг выскочил возле Никитских ворот с лозунгом в зубах: «После кино из всех искусств для вас важнейшим является фотография. Ульянов (Ленин). Сталин (Джугашвили)». Здесь, в особняке, украденном у господина Рябушинского, проживал вождь пролетарского искусства. Якобы вбежав на правах еще эмигрантской дружбы, якобы влетев с трепещущим лозунгом в одной руке и с фотоаппаратом в другой, Аркадий Грустный быстро раздвинул треногу, поставил свое орудие производства на автоматический спуск, быстро присел на валик кресла, щека к щеке с классиком и жарко зашептал, волнуя легендарный моржовый ус. Же вудрэ вотр пасьон, Алексис! Умоляю, скажи изюм! Сейчас вылетит птичка!

Пробил твердыню непонимания! Через неделю в боевом органе-газете «Честное слово» появился снимок двух гигантов Советской России, сидящих в кресле господина Рябушинского под основополагающим лозунгом корифеев человечества. Здесь же печаталось постановление ЦК ВКП и маленькое «б» о роспуске фотогруппы «Фокус», где под внешне безобидным покровом свил себе гнездо буржуазный объективизм. Учреждался Союз советских фотографов, верных идеям социалистического реализма.

Большие дела стали разворачиваться в здании Росфото на Миусской площади: съезды, конференции, смычки, подписания шефских договоров, недели друж-

бы, декады сотрудничества, пленумы по идеологическим вопросам. Бюджет Союза с каждым годом повышался, вместе с ним рос и авторитет основателя, который теперь подписывался на новый манер – Ким Веселый и в скобках б. Аркадий Грустный. Снимки его тех лет потеряли отчетливость, как будто камере передавалась какая-то странная нетвердость руки. Впрочем, критики объясняли эту нечеткость революционным волнением, этим необходимым компонентом соцреализма, а вовсе не злоупотреблением горячительных напитков.

Критика критикой, а к Киму Веселому уже торопился сподвижник, надежный дворянских кровей большевик Блужжаежжин, вез из Кремля царский подарок, дюжину вина «Киндзмараули». Согласно слухам, винцо было доставлено на Миусы одновременно со знаменитой коробкой шоколада в адрес особняка, сворованного у господина Рябушинского. Согласно опять же слухам (архив по обыкновению нем), Блужжаежжин сам благоговейно откупорил бутылку удивительного вина, похожего на историческую «мальвазию» горбатого британца, сам передал бокал учителю, сам и дал понять, что отказ от немедленного употребления будет дарителем истолкован не в пользу получателя. Для пущей убедительности Блужжаежжин и себе бухнул стакан. После распития получатель отправился в виде праха на вечный покой в крепостную стену, а посыльный стал генеральным секретарем Союза советских фотографов. Даритель же, узнав о случившемся, как раз и произнес идеологическую фразу, на долгие годы определившую развитие советского фотоискусства:

ЖЕЛУДКИ У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!

III

Нет нужды сейчас последовательно рассказывать славную историю советского фотоискусства, она не-

отделима от героических свершений всего нашего народа, Партии и Государства; конечно, по ходу повествования придется нам иной раз делать нырки в историю, то в 1956, то в 1968, не раз придется нам упоминать и 1937 и даже не всегда по общеизвестным причинам, а просто потому, что это год рождения нескольких наших героев, в том числе и упомянутого уже Максима Огородникова; однако не так уж важны для нас эти нырки, главная задача наша, в соответствии с указаниями Партии, – освещение и фотографирование героики наших дней.

Скажем все-таки, что заветы классика Кима Веселого, огромный портрет которого в сидячей позиции с откинутой фалдой доброго бельгийского сукна, с закинутой ногой, обутой в англо-башмак, с перекинутым через плечо франко-шарфом и с человечно поблескивающими стеклами восточно-швейцарских очков украшает обширный вестибюль цитатели на Миусах, который... где... по поводу чего... фраза безобразно затянулась и с одной лишь целью – сказать, что заветы Аркадия Грустного не забыты. Партия даровала фотографии свое неусыпное внимание. Больше того, из состава своего «вооруженного отряда» выделила она к концу тридцатых годов особую группу авторитетных сотрудников, и группа сия, законспирированная самым надежным образом, в конце концов выросла в могущественное, хотя как бы и не существующее Государственное фотографическое управление идеологического контроля, замаскированного филиала четырехбуквенного номинала, известного среди благодарного народа под кличкой «внутренние железы». Учреждение это вывески не имело, хотя и обладало огромным штатом сотрудников и автопарком, которому бы позавидовало любое министерство, если бы располагало секретными данными о количестве машин ГФУ.

Если уж появляется в природе тайная полиция, жди – неизбежно возникнет и оппозиция. Жизнь показала не-

предложность этого закона. Так случилось и с советской фотографией. Не прошло и сорока лет деятельности ГФУ, а впоследствии ГФИ, или, как московские вольнодумцы окрестили ее, «фишки», как зародилось в творческой среде неуместное брожение умов, ненаправляемое перемещение тел, стали проникать в прежде здоровую среду тлетворные западные катализаторы, потом даже и свой отечественный мистицизм робко запузырился – все-таки недодавили! – и вот вдруг, уже в наши дни, вызывают на ковер заслуженного генерала Планщина Валерьяна Кузьмича и говорят ему в строгой, но товарищеской манере:

– Вот вы, Валериан Кузьмич, все с фотографами Польской Народной Республики возитесь, гребена платье, а у вас под носом, в образцовом коммунистическом городе, тайная секция появилась «Новый фокус» с идеями махрового объективизма и ненаучного идеализма, мальчишки альбомчик свой хитренький мастырят под названием «Скажи изюм». Немедленно собирайте, Валериан Кузьмич, оперативную группу, даже скорее сектор. Вот ваш бюджет – три миллиона. Для начала хватит?

ЖИЛТОВАРИЩЕСТВО

I

И задумался генерал Валерьян Кузьмич Планщин... Нет, не годится начинать нашу историю такого рода фразой: на кой нам чёрт вообще все эти генералы, все эти полицейские дела, неужто нельзя без них обойтись, начиная очередную российскую повесть, неужто нельзя, по крайней мере, до предела ужать «бойцов невидимого фронта»?..

Осень, микрорайон, крутится в сумерках некая некрасовская нота вроде «только не сжата полоска

одна, грустную думу наводит она». Нет, нет, народ еще жив, а значит, жива вместе с ним наша заунывная лирика. А вот и «несжатая полоска», или, если угодно, «стареющая новостройка». Гордо задуманный когда-то пятый корпус кооператива «Советский кадр», так и не превратившийся за шесть лет в жилое помещение. Бывают такие незадачливые новостройки в Москве: годы проходят, а стены до запланированной высоты не поднимаются или крыши не наводятся, или стекла не вставляются, грязи нет конца. Иной раз вдруг начинает ворочаться забытый и проржавевший кран, появляются на вершине две-три ленивые фигуры, хулиганским разворотом закатит на площадку демон грязи – самосвал, свалит кирпича новую горку, сорок восемь процентов брака, и снова на многие месяцы все замирает, и новостройка хиреет, стареет, грустные думы, конечно, наводит она.

Мимо, над грязью, по настланным вроде бы уже навеки доскам и штукам бетона тянутся тысячи от станции метро «Аэродинамическая» до Космического проспекта, вдоль которого выстроились более удачливые сестры нашей печальной новостройки, превратившиеся в жилища и давшие неплохой приют вот этим продвигающимся в сумерках тысячам. Обезображенный шесть лет назад переулок живет своей хлопотливой обезображенной жизнью. Федюня, шофер-блатяга из магазина «Диета», разгружает свои блатные заказы. Задом к подъезду «Роспотребкоопа» подает председательская «волга». Частники перетаскивают с «жигулей» на «жигули» свинцовые аккумуляторы: зрелище довольно смешное, вес предмета не соответствует его объему, не соответствует ему и напряженный изгиб спины. Из заднего двора с тылов овощного магазина быстро вырастает очередь – подвезли бананы.

Никто вроде и не заметил, как вышел из подъезда номер 3 четвертого корпуса кооператива «Советский

кадр» молодой рыжий. Только у забора новостройки в рафике «скорой помощи» что-то внутри мелькнуло.

Молодой рыжий с окладистой бородою был не кто иной, как тридцатилетний член Союза советских фотографов Алексей Охотников. Давайте сразу договоримся не путать его с сорокатрехлетним членом того же Союза Максимом Огородниковым. Предки первого, очевидно, охотились, снабжали свое племя дичью, предки же второго, по всей вероятности, принесли в славянские шатры первую репу. Произнося имя Охотникова, не скупитесь на «о», в этом случае и Алеша превращается в Олешу, Олексея, потому что явился парень в столицу из поморов, архангельский такой перед нами крепыш. Что касается исконного московского продукта Максима Петровича, то тут жмите на «а», не ошибетесь, произнося Агародников с торопливым заглыванием окончания.

Итак, Охотников вышел на крыльцо номер 3 и забросил за спину длинный конец шарфа. Четвертый корпус кооператива был, собственно говоря, местом его незаконного проживания. Больше года уже он обитал в маленькой двухкомнатной квартире фотографа Пивоварова (происхождение фамилии, очевидно, не нуждается в объяснениях), который уехал на месяц в гости к своей жене Ингрид, западногерманской подданной, и до сих пор почему-то не вернулся.

Длинная кожанка, шарф через плечо, огненная бородища, поморский сын издали был похож на не очень-то советского субъекта. А ведь когда впервые появился в «Росфото», черносотенцы, разные там Фряскины, Чебрекины, Шелептины пришли в восторг – наш, наш! Нашего полку прибыло, придется жидам потесниться перед глубинным русским гением. Невдомек было мужепесам, что Олеха Охотников причислял себя к европейскому отряду русской нации, который еще до постройки Петербурга вывозил дровишки на Запад. Не знало злое мужичье, что юность Олехина прошла в тени

статуи в ботфортах и треуголке, в некотором даже общении с международной матросней, откуда и добыт был, между прочим, за пару бутылок водки уже названный выше кожаный реглан.

Впрочем, скоро стали замечать так называемые «русситы», что сидит их любимый богатырь в ресторане «не с теми», говорит «что-то такое не то», а главное, снимочки тискает в журнальчиках «не те», не дышит в них душа народная, а по нетрезвому делу даже еще и разглагольствует Охотников о Туринской Плащанице как о матери всемирной космической фотографии, то есть в полном разрезе с корневым материализмом. Вдруг оказалось, что «не наш, не наш» молодчик, то ли обманутый Сионом, то ли и сам не чистой воды, с подозрительной библейской курчавостью.

Ослы, говорил Охотников, крутя свои архангельские круги, как бы звеня ими по северодвинскому льду, ослы, вот ослы-то остолопские. Они думали, что я – пень таежный, а меня еще в 16 лет в гэфэушку тягали за наш журнальчик школьный под названием «Ракурс Праги». Они думают, что я на их классика Фолохова молюсь да на Фаньдюка, а ведь мы в Архангельске на Алексе Спендере росли, на Жильберте Фамю, на нашем собственном, можно сказать, авангарде – Древесный, Герман, Огородников... Разве этим ослам понять, что такое наш северный город, куда еще в XV веке европейские послыплыли? Помню, я мальчиком еще был, а мне тетя пальцем показала на двух мужиков в мичманках – это, Леша, идут Юрий Казаков и Виктор Конецкий, два замечательных русских писателя. Я их тогда тайно сфотографировал из-за коленки Петра Первого. Горжусь этой работой до сих пор, человеки! Город наш – город Архангелов, сродни калифорнийскому городу Ангелов, только старее и загадочней...

Итак, этот увалень Охотников вышел на крыльцо и увидел у забора новостройки «скорую помощь». Вот сейчас самое время бодро слинять, – подумал он. Вот за

крыльцом редакции журнала «Советская выдержка» приткнулся мой «запорожец». Я иду к нему и, если он заводится, задом выезжаю на проезжую часть. Там шпартуют один за другим самосвалы. Все заливается грязью. «Они» вырывают за мной. В это время встречный самосвал левой задней в лужу – жуяк! – ветровое стекло у тихарей в желтой грязи, и – напареули по гудям! Пока они включают дворники, я виляю налево и растворяюсь в сумерках. Тем временем в квартиру приходит Пробкин и принимает датчан, а я успеваю еще заехать за пленкой к Цукеру. Сделаны два полезных дела.

Так рассчитывал Охотников, стоя на пороге кооперативного дома, где в незаконно занятой пивоварской квартире вот уже два месяца, как подготавливалась «бомба» – издание неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм». Чуть ли не каждый вечер собиралась здесь гоп-компания фотографов, дерзостно решившихся прорваться на волю из идеологической зоны. В шутку себя называли «Новым фокусом». У шутки был нехороший душок, ибо старым-то «Фокусом», напомним, называлась мелкобуржуазная, разогнанная Кимом Веселым организация бескрылых объективистов. Шутка усугублялась еще и тем, что себя самих бунтари называли «новофокусниками».

Все шло как бы не совсем серьезно, на фоне богемного развала; то вдруг пять-шесть человек, включая женский пол, пьют и поют, а то вдруг чуть ли не полсотни набивается – и тогда от взрывов хохота содрогается ненадежный лифт в лестничной клетке.

Недавно на заседании правления кооператива отставной активист Мешьячин потребовал немедленного выселения подозрительного Охотникова. Зловеще понятным тоном он высказался в том духе, что нельзя смотреть сквозь пальцы на тот факт, что квартира в жилтовариществе советских фотографов превратилась в пристанище для сборищ с определенной подкладкой, с сомнительным душком. Пристанище для сборищ – зву-

чит в самом деле неплохо, и члены правления, полагая, что у Мешьячина полномочия, начали уже разогреваться для гражданского гнева, но тут председатель правления Мидасьян в обычной своей мрачной манере, глаза в пол, предложил этот вопрос снять с повестки дня, ибо он *не в нашей компетенции*. Членам правления из мешьячинской группировки пришлось утереться, почувствовали сразу битые шкуры, чем пахнет формулировочка.

Среди членов, конечно, присутствовал один скрытый либерал, в том смысле, что, сидя среди членов, он как бы и не являлся либералом. Однако, прогуливаясь в сумерках с либералами явными, скрытый либерал со смешком отмахивался от своего членства, шепотом, округляя глаз, говорил «скоты», выбалтывал тайны собраний.

Особенно любил «скрытый либерал» прогуливаться в сумерках с одним из заводил «новофокусников» Максимом Петровичем Огородниковым. Их, между прочим, многое связывало. Когда-то, в затуманившихся уже с нынешней позиции Шестидесятых, вместе ведь штурмовали твердыни обскурантизма, в общем-то водки немало выпили по рижским и ялтинским кабакам, а это только верхоглядам покажется ерундой, для настоящих же мужчин каждая бутылка, распитая вместе, – непреходящая ценность.

Итак... – боюсь, нередко нам придется употреблять это почти одиссеевское словечко, ибо любое отступление в прозе – нечто вроде зигзага на пути в Итаку, – итак, молодой рыжий, топчась на крыльце, обдумывал план бегства от «скорой помощи», которая третий уже день подряд занимала одну и ту же позицию за забором новостройки напротив его подъезда.

...«Максиму же позвоню с улицы, – думал он, – и скажу, чтобы не приходил. Вот так мы и вставим шершавого по закону подполья»...

Подпольщик из этого молодца вряд ли бы получился толковый. Последующие несколько минут пока-

зали, что он все напутал, не рассчитал времени, то ли опоздал, то ли преждевременно выскочил из дому. Во всяком случае, он весьма удивился, увидев приближающуюся фигуру друга Пробкина. Филогенез фамилии этой совершенно не прослеживается, а внешность приближающегося уж никак не соответствовала здоровому корню «проб». Признаюсь, есть в этом имени некоторый элемент авторского лукавства, явное увиливание от прямого ассоциативного пути, по которому следовало бы этого нового, появившегося в промозглых сумерках персонажа назвать Развратниковым или Альковниковым. И впрямь, внешность его как бы иллюстрировала ходячий грех Москвы: красные вечно полуоткрытые губы, застойный взгляд сконцентрированных на ведущей идее современности прозрачных глаз... Веня Пробкин очень был типичным москвичом. Поиск «кайфа» и постоянная готовность к половым безобразиям – вот то, что в серьезной степени характеризует нынешних московских мужчин и начисто ускользает от западных стратегических наблюдателей.

Пробкину, так же, как и Охотникову, подходило к тридцати. Он считал свой возраст юношеским, позволявшим «шалить», хотя и был уже многодетным отцом семейства: два мальчика семи и трех лет, девочка-бэби. Он ездил на тяжелом германском лимузине «мерседес-бенц 300» с мотором для дизельного топлива. Каким образом роскошное это «Т-С» (транспортное средство) досталось Пробкину на фоне всеобщей скудости и собственного вечно безденежья, остается глухой непробиваемой тайной. На прямые вопросы Вениамин обычно отвечал со вздохом «машина эта – горе мое», имея, очевидно, в виду общественное раздражение в кооперативе «Советский кадр». Кому завидуют, удивлялся Пробкин, мы с Машей живем на почти что одной лапше. В этом он, кажется, не лукавил: Маша, генеральская дочь и бывшая красавица, и сама-то от лапшовой диеты стала напоминать лапшу – белая, длинная, с при-

знаками уже не проходящей измученности. Конечно, соседи-завистники говорили, что измучена Маша не лапшой и даже не детишками, а самым беспредельно развратным изменником Вениамином, но этому верить можно лишь отчасти, ибо не было у молодого человека в жизни дела более важного, чем обеспечение и поддержание семьи. Только ради семьи он и старался день-деньской по беспредельной Москве – базы, склады, телефоны, НИИ, договора на халтуру. Иной раз после очередной бордельной ночи дружки напоминали ему ради потехи о Маше, о детях. Вениамин тогда смертельно бледнел, шептал вечно красными и мокрыми губами: не трогайте семьи, гады, это последнее, что у меня осталось...

Обычная картина: Веня Пробкин в страшной озабоченности – «чуваки, пожар, я прямо с ног сбился, Машка у меня босая». В жуткой тревоге мечется Веня по Москве и в конце концов обувает измученную жену в бесценные итальянские сапоги с миланской улицы Монте Наполеоне.

Общественность все эти дела, конечно, раздражали до последней степени. Вот, вообразите, выходит голодающее семейство на воскресную прогулку. Измученная «святая» Маша в сапогах с Монте Наполеоне и в жакетке из рыжей лисы, детишки катятся колобками космической эры в ярких «лунных» бутах, в «дутиках»-курточках, глава семьи, бледный, похмельный, терзаемый воскресной совестью, в замшевом пальто ведет огромного черного, с ярчайшими белыми зубами и сверкающими белками лукавых глаз ньюфаундленда Лонгфелло; не похоже, что чудовище на одной лапше вскормлено... Да ведь это же не забитый московский люд, сама катится международная спекуляция!

Нужно разобраться, решали после воскресных пробкинских прогулок пайщики «Советского кадра», незамедлительно нужно выяснить источники дохода, нужно сигнализировать в ОБХСС, а то и еще ку-

да-нибудь, уж не на подкорме ли у Запада Венька этот Пробкин?

Однако в понедельник с утра Веня начинал шляться по кооперативу и просить денег взаймы – хоть рубль, хоть мелочи немного, мы на одной лапше сидим. А собака? – спрашивали соседи. А собака, товарищи, на спецучете в Министерстве Обороны, мясной паек получает, не можем же мы собаку объедать, товарищи? Ты бы лучше мерседес продал, ярились соседи. Придется, вздыхал Пробкин. Эта машина – горе мое. Он стоял в коридоре, облизывая губы, и с какой-то жалкой жадностью заглядывая внутрь квартиры соседа, длинные волосы его свалены были в сторону, обнажая огромную царевич-алексеевскую лбину, и у соседей вдруг появилось к нему странное сочувствие. Так и возникали особые отношения, до поры, до времени спасавшие Веньку. Сосед, давший трояк или даже рубль, уже чувствовал себя отчасти меценатом, уже снисходительно покровительствовал тунеядцу.

Между тем, в мире полуподпольного московского искусства кое-кому Вениамин Пробкин был известен как талантливый фотограф. Официально он числился в штате ежемесячника «Советский мяч», и его печатные снимки ничем не отличались от массовой продукции, но в то же время его «другие» снимки и слайды циркулировали по чердакам и подвалам, и кое-кто даже находил, что в них «что-то есть», а отдельные эстеты даже причисляли его к «новой фотографии», даже такой удостоился чести. Вот, господа, говорили друг другу эстеты, мы все теоретизируем, а в «новой фотографии» рождаются звезды даже из жуликов.

В теории, однако, была существенная нужда, ибо очертить границы «новой фотографии» пока еще никому не удавалось. Основным ее принципом вроде бы считалось то, что на одном снимке и в одном измерении некоторые детали выпирали как бы с суперреалистической четкостью, в то время как другие, видимо, не инте-

ресующие художника, оказывались «не в фокусе». Трудно сказать, почему именно «новая фотография» вызывала наибольшую ярость партийных идеологов, почему именно на это расплывчатое течение ополчился ударный полк товарища Саурого, отложив даже до поры привычное теснение «ретро», «классиков», «поэторитма» и других незрелых ущербных течений. Партия тоже нуждалась в теоретических, пусть даже антипартийных, работах. Чтобы хорошо бороться с врагом, надо его знать. Чтобы его знать, надо, чтобы он был.

Очевидно было, что странное это фокусирование влечет за собой искажение нашей реальной социалистической действительности, но как оно достигается, вот в чем вопрос. Увы, не объяснишь это полишинелевским секретом классиков отечественного фото Фолохова и Фаднюка, когда большой палец втихаря просовывают в проявитель и размазывают эмульсию. У этих великих товарищей все эти вихри на снимках, порыва, туманные дали являются, конечно, «новаторством», они расширяют творческую палитру (не путать с пол-литрой) соцреалистического метода, в то время как злокозненные «новые фотографы» несомненно вовлечены в западный упадочный процесс, а их попытки объяснить особенности своих снимков комбинацией оптических причин с душевными являются, конечно, происками доморощенных метафизиков, которым партия объявляет бескомпромиссную войну.

Однажды в редакцию «Советского мяча» прибыл боевой отряд из трех человек райкомовских активистов. Идя навстречу многочисленным сигналам трудящихся, райком решил расследовать деятельность Вениамина Пробкина, проверить, соответствует ли он занимаемой должности, не порочит ли в самом деле то-передовое-которому-служим.

Увы, как и предполагали сигнализаторы, иными словами стукачи, расследование оказалось делом несложным. Будто пузыри из подорванной в шведских

шхерах субмарины, стали всплывать на поверхность подозрительные Веничкины финансовые отчеты, фальшивые командировки, туманнейшие премиальные по сатирическому фотоконкурсу «Чик», счета за «служебные банкеты» в «Национале» и «Росфото», накладные на японском языке и прочее, прочее, даже биография «мерседеса» на мгновение обрисовалась в тумане.

Словом, В. Пробкин горел, как швед под Полтавой, или, вернее, как русский утопал под Гетеборгом. И вдруг с партийного дредноута брошен был ему спасательный круг.

Отмежуйтесь от «новой фотографии», товарищ Пробкин, разоблачите коварный ее перекосяк в «Фотогазете», и тогда будут забыты ваши экономические шалости. Если же не пойдете навстречу Партии, все будет передано в ОБХСС, да еще и по морально-бытовой предстанете перед общественностью, сколько по Москве женщин и девиц опоганили, товарищ Пробкин, будь ты проклят!

Мало кто думал, что полужулик Вениамин пошлет райкомычей подальше, но он это сделал. Больше того, на закрытом партсобрании заявил, что ради своего искусства, то есть ради вот именно дурацкой этой «новой фотографии», готов принять и «аутодафе».

Главный райкомыч Гибенко усмехнулся тогда этому «аутодафе», полагая, что имеется в виду автомагазин – захотела, дескать, щука в воду, – но потом, когда объяснили, что речь идет в прямом смысле о «жертвенности», страшно взъярился и потребовал немедленного исключения Пробкина из партии. Все даже ахнули: хоть и происходило дело на партсобрании, да еще и не на простом, а на закрытом, никому почему-то в голову не приходило, что такой сомнительный человек является членом нашей родной партии.

Вот тут в данном конкретном случае, впрочем, как везде, торжествует опять закон диалектики под названием «палка о двух концах»: с одного конца членство в

партии вроде бы хорошо предохраняет от ОБХСС, но с другого конца возникает малопривлекательная ситуация – беспартийный человек еще может кое-как увиливать от обэжэсины, выпавшего из партии бросают прямо в пасть чудовища.

«Советский мяч» не долго мучился, чтобы уволить Веничку. Старик, ты же сам понимаешь, сказано было ему в хорошей московской традиции. Вернешься (в смысле – из лагерей) – заходи. Халтурой обеспечим.

Итак, безработный, беспартийный и подследственный «новый фотограф» приготовился к худшему, как вдруг все повернулось и он повеселел.

Вдруг, прямо на перекрестке, повстречался ему Олеха Охотников, с которым вместе несколько лет назад в Архангельске *расширяли* окно в Европу. Широкоугольной оптикой, милостивые государи, промеж ног Великого Питера. Пошли со мной, сказал Охотников, и вот Веня Пробкин обнаруживает себя в кругу людей, с которыми прежде по причине партийности и журнальности был «не очень-то», только лишь издали, на бегу – шапочкой, ручкой, левым веком, дескать, сочувствую вам, старички, но бегу, бегу, бегу. Словом, оказался в московском фотографическом «андерграунде», в зарождающейся группе «Новый фокус», в которой обнаружил с огромнейшим удивлением и былых своих кумиров, «китов Шестидесятых годов» – Максима Огородникова, Славу Германа, Андрея Древесного, Эмму Лионель, Эдика Казан-заде...

Веня Пробкин всю свою «жизненку», честно говоря, чувствовал себя одиноким партизаном во враждебной национальной (хоть и был чистым русаком) и идеологической (хоть и происходил от завода «Пролетарий») среде. И вдруг оказалось, что целая группа тут собралась всяких отщепенцев и дерзко бросилась промышлять свою удачу в советских лабиринтах.

Какая новая началась у Венички Пробкина «жизненка», какие воспарения! Духовная, вот именно ду-

ховная жизнь, чего прежде даже не ведал. Употребляя смешанные напитки на незаконной квартире Охотникова, Веня смело бросался в разговоры об искусстве как о средстве тайной эзотерической коммуникации. Такая началась счастливая пора жизни! Господа, кричал Веня, пытаясь пробиться сквозь общий гам, да знаете ли вы, что с вами я впервые почувствовал себя человеком?!

Как ни странно, и обэхэссина отвернула от него смердящую харю благодаря «Новому фокусу». У Эдика Казан-заде оказались друзья в Центральном аппарате внутренних Дел, любители тенниса, джаза и шашлыков на ребрышках; Эдик был специалистом по всем трем видам. Нельзя сказать, что расследование вдруг автоматически прекратилось, однако повестки на собеседования приходили все реже, дело явно засыхало.

Замечательно все-таки, что у нас все-таки трудно разные вещи скоординировать все-таки, размышляя иной раз Веня Пробкин, несясь через московскую, смешанную с химической солью грязь от Фишера, предположим, Моисея к Шузу Жеребятникову, то есть «существляя связь».

Как, право, совсем неплохо, в целом, получается, что всю советскую систему скоординировать невозможно, в общем и целом. Вот, скажем, фишка за нами следит, старики-фотари из Союза ее подзуживают, шьют политику, того и гляди жутчайший идеологический скандал разразится, а полковники, предположим, из ГАИ все еще по старой памяти Древесного Андрюшу обожают, в МВД ничего не знают, в МВТ ничего не знают, в Мосгорисполкоме ничего не знают, с ними скоординировать не успели, вот благодаря этому еще и можно жить в нашей стране. Страна технологически отсталая, вот что замечательно. Если бы у подлой власти еще и компьютеры работали, житься бы здесь совсем не стало.

Словом, В. Пробкин чрезвычайно наслаждался нынешним поворотом своей судьбы, что к тому же еще и обострялось его и в самом деле искренней готовно-

стью к разгрому, к тюрьме, к пресловутому этому аутодафе, к потере всего на свете, даже и мерседеса своего дизельного; даже блядьми своими готов он был пожертвовать ради искусства, хотя эта последняя жертва и не требовалась, к счастью или на беду.

С этим делом, с «Восьмым Марта», так сказать, у Венички все усугублялось: при виде любой бабы отпадала челюсть, увлажнялись губы, взгляд стекляненел, в паху начинала сосать невыносимая тяга. Приходилось немедленно брать даму за руку.

Редко случалось, что женская особа оставалась глуха к такому мощному призыву. Чаще сдавалась, чтобы поскорее отделаться от «странного молодого человека». С каждым месяцем «жизненки» количество женских друзей у молодого таланта увеличивалось.

Редкие вечера в кругу своей «святыни» превратились для Вениамина в мучение. Маша уже ожесточалась от каждого жужжания. Веня, покрываясь потом, кося глазом-предателем, прыгал к телефону, имитировал деловые отношения, сухо уточнял адреса, по которым нужно «забрать материалы», и, уже влезая в дубленку, взывал к своей лапше: Маша, верь!

II

Подойдя к Охотникову, Пробкин, разумеется, попросил:

– Я тебя прошу, Охотников, позвони Маше и скажи, что ты послал меня в Шереметьевку, на дачу Лионель, и что я должен вернуться где-то в двенадцать, в общем, не позже двух...

– Эх ты, Пробкин, опять ты за свое, – пожурил товарища Охотников. – Об искусстве, к сожалению, мало думаешь. А посмотри-ка по сторонам. Ничего не замечаешь?

Пробкин тут же и увидел «скорую помощь» у грязного забора.

– Опять она?

– Вот именно, а к нам датчане через час приедут, а потом и Макс зайвится, и Шуз, и Мойша, и еще кого-нибудь принесет... Так они за сегодняшний вечер многих пересчитают. Надо им шершавого вставить по закону подполья.

– Какие будут предложения? – с готовностью спросил Пробкин.

– А вот вытащим сейчас по мешку антисоветчины и – в разные стороны на моторах, – внес предложение Охотников. – А тот, кто оборвет хвост, вернется и примет датчан. Лады?

Конечно, Охотников опять все напутал – датчане уже заворачивали в переулочек во всем блеске своего скандинавского великолепия: «вольво-турбо» и блондинка за рулем, представители газеты «Гольфстрим».

– Разбежались? – неуверенно спросил Охотников. – Самое время, Пробкин, рвануть. Неприкрытое вмешательство мирового империализма. «Товарищи» растеряны. Мы линияем. Датчане, никого не застав, сваливают. Мы им потом звоним. Все запутывается.

– Да ты что, Охотников, – забормотал Пробкин, не отрывая глаз от приближающейся серебристой соломенногровкой за рулем. – Вспомни, как Шуз и Макс нас учат – никогда никуда не убегайте, ничего не скрывайте. По конституции имеем право на все, что делаем. Кто это мне запретил с девушками иностранными встречаться?

– У тебя только одно на уме, – проворчал Охотников.

В сумерках махнула белая грива – флашлайт. Тоненькая девица в пиджаке с плечами, едва выскочив из машины, сделала несколько снимков. Ее оптика, конечно, интересовалась безрадостной жизнью тоталитарного общества, нашими тетушками и старушками, придурковатой девочкой, вечно тихо игравшей возле мусорных баков, лозунгом «Выше знамя социалистического соревнования!» на развалинах новостройки.

Шаг за шагом датчане приближались, девице аккомпанировал Пер Рубергардт, глава и единственный сотрудник московского офиса газеты «Гольфстрим». Наши парни ужаснейше волновались: храбрись не храбрись, но встречи с иностранными корреспондентами под бдящим оком «гэфэушки» – занятие не очень-то комфортабельное. И все же Веня Пробкин рванулся: May I help you, miss?

Фотографша даже чуть поскользнулась от удивления, увидев двух цивилизованных парней посреди советского старорежимья. Затем последовала еще одна вспышка, уже не фото, а просто улыбка; экие выращены в Скандинавии зубы дивной белизны!

Охотников, конечно, по соседству с девушкой начал «сгорать от смущения», не знал, куда сунуть руки-свои-крюки, как оперировать окладистой бородою. От смущения на девушку как бы «ноль внимания», как бы продолжал какой-то спор с Венькой.

– Удивлен я тОбОю, челОвек, Ох, удивлен...

Проклятый Венька, между тем, на удивление бегло шпарил по-европейски: вот тебе и урок, растяпа Охотников, поморская интеллигенция, город Архангелов, смотри – простая московская фарца преодолевает языковой барьер даже без помощи алкоголя.

Наконец, закрыв свою «вольво» на все замки и «секретки», подошел Рубергардт и тут же без всяких опять же комплексов неполноценности зачастил по-русски, рассыпая где попало предлоги и наречия, крутя деформированные существительные вместе с исковерканными глаголами, шепелявя еще по-чухонски, но с какой-то галльской прытью, и все-таки абсолютно понятно.

Фотографша только утром прилетела из Копенгагена: Рубергардт писал очерк о подпольном советском искусстве и запросил свой «Гольфстрим» – пришлите Нелли, как можно скорее, мы давно уже не виделись.

Как хорошо, что не слиняли, подумал Пробкин. Есть хороший шанс познакомиться поближе со скандинавским коллегой. Тут у него сразу засосало, где полагается, и, оттирая друга локтем, он повел датчанку в дом, быстренько на ходу иронизируя по поводу советской действительности, особенно по поводу вот этой «скорой помощи», которая, вообразите, мисс, уже три дня не двигается с места, а там внутри четыре жлоба сидят с квадратными будками, у них там, наверное, какая-то звукомашина, они, должно быть, все записывают, что у нас в штабе «Нового фокуса» происходит, вообразите, мадам, а там, между прочим, живет мой друг Охотников, вот именно этот, вообразите, «ле мужик», и теперь вы можете себе представить звукозапись всех этих охотниковских звуков, вообразите, как опытные специалисты потом анализируют все звуки Охотникова, ей-ей, можно им посочувствовать...

Охотников, улавливая свое имя в безобразной англо-франко-немецкой тарабарщине друга, еще больше дичал, косил глаз на датчанку, грудью наваливался на датчанина, бухал что-то о русских артистических потенциях, о спиритуальном возрождении, об обнадеживающих письмах с Севера.

От машины до квартиры датчане продвигались не менее четверти часа. Фотографша уже нервно хохотала, чувствуя, куда клонит Пробкин. Такая датчанка, конечно, может взбудоражить московский квартал, что и произошло у четвертого корпуса жилтоварищества «Советский кадр». Жители иные шарахались в сторону от живописной группы опасных людей с хохочущей блондинкой посредине, иные проходили нарочито близко, сурово глядя в упор на распоясавшуюся и совершенно не замечающую их бдительности международную молодежь; и зачем таких в нашу столицу пускают?

В конце концов, размахивая руками, говоря одновременно и не слушая друг друга, четверо вошли в квартиру беглеца Пивоварова, где в эти дни уже помещался

на рабочем столе в углу огромный, как могильная плита, макет неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм».

Разглядев фотографии на стенах и просунув палец меж страниц в полумифический альбом, датчанка осознала, что она в компании мастеров, титанов фотоискусства, и ей, скромной газетной фотографше, вроде бы надо судьбу благодарить за удачу и давать по первому запросу.

Между тем звонок в спорной квартире не замолкал, и двери, как обычно, хлопали непрерывно – «новофокусники» собирались для вечернего «общения». Явились Цукер с очередной женой, Шуз Жеребятников с бутылкой «Российской», Стелла Пирогова, конечно же, с яблочным пирогом. Потом пошло все гуще и гуще – Эмма Лионель с Гошей Трубецким, Фишер, Фридман, молодой Васюша Штурмин, а потом рука об руку, дыша коньячными туманами, Слава Герман и Григорий Автандилович Чавчавадзе. Все понемногу чего-нибудь приносили. Все, как обычно, несли несусветную крамолу и похабщину, ну, и пальцем показывали в потолок – дескать, там слухач. Хотелось дать понять иностранцам, в каких условиях приходится жить советскому интеллигенту и как он дерзостно на эти условия плюет. Иностранцы, конечно, понимающе кивали – в чем-чем, а в наличии «слухача» они не сомневались, и он там, добавим от себя, действительно был, иначе на что существовало подразделение генерала Планщина: ударение иногда ради собственного удовольствия мы будем ставить на последнем слого родительного падежа.

– А где же Макс? – интересовался Рубергардт. Именно с Максом Огородниковым, знакомым уже читателям газеты «Гольфстрим», надлежало ему сделать основное интервью. – Надеюсь, придет?

– Придет, придет, – с готовностью подтверждал Пробкин, оглаживая под столом оробевшие скандинавские коленки.

Стекла в маленькой квартире запотели от горячих пельменей. Охотников и Фишер жарили их на сковороде величиной с колпак от автомобильной шины. Жарка шла по собственной методе: пельмени в сыром виде вываливались на сковороду, сверху бухалось полкило маргарина. Как повалит от сковороды дым – пельмени готовы.

На столе имела место умопомрачительная коллекция напитков – «Солнцедар» за 1 руб. 85 коп. и «Кавказ» за 2 руб. 38 коп. соседствовали с двенадцатилетним «Chivas Regal».

– Это нам вчера ребята из «Нью-Йорк таймс» привезли, – объяснял Шуз Жеребятников Рубергардту. – Извинились, что не успели заехать в «Березку» за датским, то есть вашим, твоим, так твою, Рубер, пивом «Туборг». Извините, говорят, вот всего лишь одна бутылка «Чиваса». Но мы, господа, и этой бутылке рады. Понимаешь, Рубер? Мы рады всему доброкачественному, потому что обычно вынуждены пить сущую отраву, продукты распада социалистической системы...

– А где же господин Огородников? – вновь спрашивал датчанин, нимало не смущенный намеками Шуза.

– Будет, будет, – успокаивали его. – Можете пока преспокойно слетать в «Березку» и обратно...

ОГО

I

Тот, о ком все время спрашивают и кто однажды уже мелькнул в самом начале нашего повествования с рифмованным вздором на устах, между тем прогуливался совсем неподалеку в темном переулке между первым и вторым корпусами «Советского кадра».

Максиму Петровичу Огородникову было несколько за сорок, и в те моменты, когда его долговязая фигу-

ра попадала под свет единственного в переулке уличного фонаря, можно было разглядеть его крупный нос и пушистый под носом пеговатый ус. При более длительном экспонировании несомненно бросилась бы в глаза довольно отчетливая наглость всех черт и примет, свойственная, впрочем, многим баловням судьбы и звездам современного искусства. Бросилась бы в глаза и некоторая странность: весь удлинненно-костлявый тип артиста был на удивление изменчив – за пять минут в нем мог промелькнуть то почти старик, то еще юноша, то какая-то рассеянная растяпа, то сконцентрированный атлет.

Пока, однако, мы этими пятью минутами не располагаем и видим только, как время от времени под единственным фонарем появляются крупноватый нос и пушистый ус, выглядывающие из-за поднятого воротника лондонского плаща.

Переулок этот излюблен скрытыми либералами для совместных, как бы между прочим, моционов с шепотком через плечо: «А вы слышали, братцы-кролики?» Один из таких «либералов» как раз и сопровождал в данный момент Макса Огородникова, вернее как бы прогуливал его, крепко взяв под локоть и обдавая снизу левую щеку артиста горячим концентрированным шепотом. Он подцепил Макса как бы случайно: – Ба, кого я вижу! У тебя есть пять минут? – и повел в переулок, горячим шепотом повествуя и округляя смешком: – Скоты, ты же понимаешь, настоящие скоты! – недавнее заседание правления кооператива, на котором Герой Советского Союза Мешьячин предложил выгнать Олеху Охотникова из квартиры «невозвращенца» Пивоварова, а квартиру, ставшую «пристанищем для сборищ с подозрительным душком», опечатать. Самое же замечательное, Макс, состоит в том, что наш мрачный Мидасьян тут же снял вопрос, потому что он не в нашей, ты понимаешь, компетенции. Ты понимаешь, конечно, старичок, в чьей он компетенции?..

К удивлению либерала, Огородников только хохотнул в ответ на важное сообщение. Он и не сомневался ни минуты, что квартира заклопирована и окружена тихарьем. Странно только, почему гэфэушка так долго смотрит и ничего не предпринимает. Наверное, задумали какую-нибудь гадость сверх всяких ожиданий. Впрочем, хер с ними.

– Позволь? – быстро спросил «либерал».

– Хер с ними! – повторил Огородников не без удовольствия. – Надоело все время о них думать. Они для нас просто не существуют. В общем и целом мы на них кладем.

– Брось, брось, старичок, – зашептал тогда «либерал» еще горячее, еще плотнее беря Макса под руку, увлекая поглубже в тенистые углы, в неприглядную мглу московского фотографического мира. – Тебя здесь любят, старичок, тобой дорожат, не надо так разбрасываться...

– Хорошенькое дело – любят, – ощерился тогда под усами Огородников. – Все альбомы мои зарубили один за другим, журналы снимков не принимают... Думаешь, я не петрю, чей это почерк? Вот и выставку мою отложили на неопределенное время, все мои поездки – в жопу, можешь поздравить, я уже *невыездной*, почта из-за границы блокируется, телефон на прослушивании... хорошо тут мной дорожат, спасибо за такую заботу!

«Либерал» смотрел на него полным глазом. Такие прогулки в темноте по заставленному полуфабрикатами переулку имели еще и второй смысл, не говоря уже о третьем; и Огородников знал, что «либерал» может вот в таком же стиле с кем-нибудь «оттуда» прогуляться, и «либерал» догадывался, что Макс знает, а потому прогулки такого рода были как бы контактными звеном между опальным фотографом и могущественными невидимками идеологического сыска.

– Однако ведь не собираешься же ты?.. – еле слышно или совсем не слышно, одной лишь артикуля-

цией рта, просто лишь округлением и без того круглого ока, поворотом этого округлившегося до предела органа спросил «либерал».

– А вот именно собираюсь! – громогласно на всю Ивановскую заявил Огородников. – Вот доведут до ручки, мерзавцы, я тогда и *намылюсь*.

– Ну, разбежались? – тут же предложил «либерал», предварительно хмыкнув и цыкнув углами рта в щели переулка, и тут же чесанул под фонарь, под арку, мимо аптеки, в подъезд, в холостяцкую свою квартиру.

Там, в «хавирке» (как он любил называть свое жилье), плюхнулся на тахту, укутал ноги венгерским пледом, попросил у няни (имелась такая няня Ревекка Мироновна) стаканчик югославского пунша, придвинул чехословацкий телефончик, набрал номер друга, доверительного человека, умницы, профессора-киноведа, и между делом, как бы проездом, рассказал ему о намерениях Макса Огородникова «забросить чепчик за бугор».

Между тем Максим Петрович Огородников тоже прошел между корпусами, но в другом направлении, затем вышел на перекресток и поднял трость, подзывая такси. Для того и трость была заведена, чтобы, соответствуя какому-то заграничному чёрту, можно было в мгlistый осенний вечер выйти на перекресток и «поднять трость, подзывая такси».

Фиксируясь с поднятой тростью, он воображал, как его только что высказанная идея «намыливания» уже прыгает сейчас из телефончика в телефончик и как возбуждены будут сегодня вечером заинтересованные лица.

За спиной у него был подъезд номер 4 и запаркованная рядом журналистская «вольво», а также покосившийся забор новостройки и недреманная «скорая помощь», внутри которой мерцали три сигаретки. Огородников стоял прямо под фонарем, не прячась, а наоборот, как бы показываясь, потому что принципиально отвергал слежку. Пусть подонки сами нарушают нашу

советскую конституцию, а мы не будем. Ничего тайного не делаем. О «Новом фокусе» и о «Скажи изюм» и я, и Шуз, и все ребята треплемся на всех углах; только ленивый об этом ничего не знает. Гэфэушники, устроив слежку, как бы навязывают нам конспирацию. Вот хитрожолая компания, в самом деле неплохо придумано, Сизый Нос, начни потихоньку следить за кем-нибудь, и тот поневоле становится заговорщиком.

Итак, Максим нарочно торчал под фонарем, кричал «такси-такси», начал даже слегка жонглировать своей уникальной тростью, чтобы его заметила сегодняшняя бригада. Мысли его в данный момент странно противоречили собственным принципиальным установкам.

– Пусть, сволочи, запутаются, если уж датчан выследили. Наверняка ведь думают, что я должен быть у Охотникова, а я вот на такси куда-то уезжаю. В погоню, господа гвардейцы кардинала!

Только уже плюхнувшись в такси, он сообразил, что принял игру, что они его «сделали», включили в свою диспозицию. Уж если их замечаешь за собой – скрывайся от них или не скрывайся, все одно: ты играешь в их игру. До сегодняшнего вечера я делал вид, что не замечаю их, но с этого момента что-то изменилось.

Он разозлился на себя и повернул голову, ожидая найти за собой слежку, однако «скорой помощи» за хвостом такси видно не было, да и вообще ничего похожего – перся автобус номер 70, а за ним, конечно, угадывался самосвал. Словом, и игра была постыдная, и первый ход в этой игре оказался дурацким и нелепым.

Чуть не замычав от злости, похожей на острую зубную боль, он откинулся в кресле такси и попытался вызвать в памяти что-нибудь антизловное, ну, например, площадь Оперы в Париже.

Вот вам, пожалуйста: прозрачным осенним «апрэ-миди» иду так себе по делам, отчасти просто так по

авеню Опера и захожу в «Кафе де ля Пэ» посмотреть, нет ли мне там писем. Чудесная сохранилась в этом кафе девятнадцатого века традиция: завсегда там находят письма на свое имя на висящей у входа доске, обтянутой зеленым сукном и снабженной особыми металлическими прижимами, под которые как раз и засовывается корреспонденция.

Почему-то именно осенью мучительно тянет в Европу. Поставить треногу перед входом в Жарден Тюильри и делать ленивые снимки проходящего момента парижской вечности. Вот странность – от мавзолея Ленина равно, как и от пирамиды Хеопса, разит бренностью и распадом. Ворота сада Тюильри вносят некоторый смысл в цивилизацию, намекают на что-то не-пре-хо-дя-ще-е...

Унтер Ден Линден, бегом, бегом, ползком под колючей проволокой, переваливаешься брюхом через закругленную часть Берлинской стены и вздыхаешь с преогромнейшим облегчением и детской радостью – опять утек!

Ну, а почему же так и не «утек» в свои любимые осенние края, когда столько было возможностей? Потому, что кроме осени с ее европейской ностальгией есть и другие времена года... о да... Откуда все это взялось, почему для меня Европа – такой родной дом? Впрочем, родитель-то Петяша Огородников, кандидат в члены ЦК РСДРП, вместе со своим старшим товарищем Володи У., был самой обыкновенной эмигрантской сволочью, не так ли? Оттуда, что ли?..

Теперь мне Европы не видать. «Уже развел руками черными Викжель пути...», как в школе учили. Теперь они меня не выпустят, разве что по стопам папаши, в эмиграцию. Там, кажется, у вас и детки уже есть на буржуазных просторах, Максим Петрович? Счастливый путь, и постарайтесь забыть свою родину, ибо здесь, кроме вас, еще кое-кто родился. Социализм, например. Оцените гуманизм современных ленинцев –

вас не сажают, не расстреливают, а просто под жопу коленкой по собственному желанию... Р-р-р, зубная боль возвращалась, только лишь растравленная парижскими картинками. Всю жизнь под властью этих сук?! Всю жизнь с неестественно зафиксированным поворотом шеи и головы, полуувечным гандикапом проклятого режима? Хер вам, никакой эмиграции от меня не дождетесь!..

- Хер вам! – вдруг вырвалось у него.
- Правильно, – пробурчал шофер такси.

II

Пока он едет, предаваясь зубной боли, оперативная группа генерала В. К. Планщина оперативно трудится на благо народа, в частности, держит связь с транспортным средством «скорая помощь», так и оставшимся стоять у разрушающейся новостройки.

Капитан Сканцин Владимир, непосредственно курирующий одного из лидеров «Нового фокуса» М. П. Огородникова, осторожно косясь на шефа, тихо материт другого капитана, Слязгина, уже восьмой час сидящего в рафике.

- Да загребись ты, Слязгин, со своими датчанами, напареули по гудям! Как ты мог Огородникова-то упустить? Теперь он целый вечер один будет ходить, жопа с ручкой ты такая в самом деле, Николай...

- Много себе позволяешь, расшиздяй Сканцин, – рычит в ответ Слязгин, даже зубами похрустывая в адрес проклятого генеральского любимчика.

Капитану Слязгину очень обидно. Без году неделя в железах, Сканцин-сучонок в теплом кабинете изучает фотоискусство, на выходах работает по ресторанам Росфото, ВТО, ЦДЛ, ЦДЖ, а ему, опытному сотруднику, приходится по 12 часов торчать в сраном рафике, записывать на дорогостоящую японскую пленку дурацкую

болтовню этих «изюмовцев», «новофокусников» или как там еще зовут этот сброд, который давно надо было бы попросту передавить, а не тратить силы и средства. Не творческая какая-то получается работа, брошу все, махну на БАМ...

– Гудила ты, Николай, – говорит в рацию Сканщин. – Разъедай и гудила...

Генерал Планцин тем временем, делая вид, что не слышит матерщины любимого помощника, делает пометки в бумагах, передает какие-то листы своим хлопцам и девчатам и одновременно говорит по телефону, то есть хмыкает, то вопросительно, то утвердительно, или рассеянно мычит.

Вдруг генерал встал, подошел к Сканщину, нажатием кнопки прекратил перепалку двух способных специалистов.

– Есть новости, – сказал он. – Огородников решил эмигрировать.

– Да как же?! – воскликнул Вова Сканщин, глубоко пораженный и взволнованный. – Как же так, Валериан Кузьмич?! Ведь только же начали с человеком работать ж!

Он был искренне огорчен, даже руки задрожали. Хорошо бы сейчас «добрую стопку коньяку», как Валерьян Кузьмич выражается. До боли обидно, между прочим, терять человека-специалиста по фотографии. Только начали ведь работать с человеком, и работа была интересная, творческая. Курировать такого человека, как Максим Петрович Огородников, – все равно что заграничную книжку читать в хорошем переводе, «Над пропастью во ржи», так сказать. Конечно, обидно, что такой человек вот поставил свой талант на службу мировой реакции, но ведь в противном случае никакой и работы ведь не было бы, прав я или нет? А если копнуть, между прочим, в творчестве, то можно найти и здоровой зерно. Вот в цикле «Братск» какие охуенные показаны самосвалы – такая поэзия, в об-

щем-то, труда, в принципе, какой-то исторический оптимизм, товарищ генерал...

– Мда-а, – задумчиво протянул генерал Планцин. – Что-то слишком просто получается с эмиграцией-то...

– Вот именно! – с энтузиазмом откликнулся капитан Сканцин. – Как-то простовато! Какой-то нолевой вариант, Валериан Кузьмич. Сравните хотя бы внешность Огорода с основной массой. Напрашивается что-нибудь посложнее, Валериан Кузьмич.

До чрезвычайности взволнованный, Володя отошел к окну. Смешно сказать, и получается вроде как бы «слишком в лоб», но из окон кабинета были видны рубиновые звезды Кремля. Володя сморщил пасть, вспомнив «основную массу» Союза фотографов, которая с таким сладострастием стучит друг на друга, а ряшки носит такие, что с утра лучше не показывать.

– Мда-а, – еще более задумчиво протянул генерал. – Слишком простое решение...

III

Однажды Огородникову было сказано: у вас, Максим Петрович, большое есть перед многими коллегами вашими преимущество – такие у вас прослеживаются замечательные, истинно советские корни!

Не было темы более отвратной, более презренной для человека, который и год своего рождения неоднократно проклинал, чем его пресловутые корни, а между тем они действительно были, хоть и неглубокие, но крепыши, уходящие прямо под кожу партии, а следовательно, и народу, ибо известно, что «Народ и Партия – едины». Папаша-то, старбол, Петяша-то, происходил прямиком из ленинской гвардии, не раз пикничковал вместе с основателем на лесопилке в Лонжюмо. Прочной кости оказался человек – прошел невредимо через коллективизации и реконструкции, как говорится от Ильича до

Ильича, по ведомству «самого острого оружия Партии» и в огромных чинах почил десятилетие назад. А вот тому назад некоторое время, а именно в начале 1937 года из Гаража Особого Назначения пришла к товарищу Огородникову новая персональная машина, «паккард» последней модели, а за рулем сидели кадры новой генерации, юная блондиночка с невинными кудряшками, так восхищавшими в те времена стареющих номенклатурных бойцов. И вот, как раз к концу этого «паккардовского» года, который теперь наш герой в подпитии иногда называет «проклятым» и «Варфоломеевским», как раз и появился на свет Божий ребенок, немедленно названный Максимкой; скорее всего вслед за обожаемым отцом социалистического реализма, недавно почившим с шоколадкою в руке.

Мадам Огородникова и по сей день «не спит, встает кудрявая», хоть и забыты уж паккардовские кожаные кресла, полна энергии, вечная цыпочка и основательный автор по вопросам морали, не исключено, что в больших уже чекистских чинах. Нередко, брэнча медальками, появляется она экранях телевизора, обычно это какие-нибудь юбилеи, чаще всего фронтовые, а ведь она прошла адъютантом члена Главполитупра Огородникова большие дороги Смоленщины, и, поднимая глазки кверху, с «волнительными» интонациями рассказывает о фронтовой молодости, ни разу не покраснеет.

Увы, для Максима в последние годы мать так и превратилась в какую-то чуть ли не «телевизионную дурочку», да и второго своего ближайшего родственника Октября, старшего брата по отцу, он в последние годы лицезрел тоже, в основном, на «голубом экране».

Октябрь Огородников был фигурой не без загадочности, международный комментатор, годами сидящий то в Бразилии, то в Соединенных Штатах, то располагающийся со всеми соответствующими причиндалами в Париже. Внешность его излучала определенную мощь,

настоящий аккумулятор партийной энергии. Обычно он возникал на экранах в периоды драматических конфронтаций сил мира и социализма с силами войны и реакции, веским тоном обрисовывал ситуацию прямо с передовых позиций, то есть либо рядом с Триумфальной аркой, либо на фоне Капитолия. Вранье Октября ничем, скажем, не отличалось от обычного газетного и телевранья, однако зрители считали его каким-то особенным человеком, источником какой-то особенной информации.

К матери своей Максим никогда серьезно не относился, а вот старшего брата в отдаленные времена ранней юности, или, как сейчас говорят, «тинейджерства», едва ли не боготворил. Собственно говоря, именно Октябрь и привил ему начальную тягу ко всякого рода машинам, которая потом перешла в фотострасти.

Какие вообще-то были чудесные времена, наивнейшее начало советских Пятидесятых! Два брата из высокопоставленного общества: один – долговязый подросток, другой – молодой красавец-мужчина, по очереди управляли огромнейшим ЗИСом-110, часами возились в его моторе, напоминая электростанцию ДнепрогЭС, упоенно оперировали различными «трофейными» и «репарационными» зеркалками, всякими там кодаками и практикаматами: теория и практика, настоящая мужская жизнь, включавшая и всяческий моторный спорт, и парус на воде, и буер на льду. Говорили они в те счастливые времена очень мало, да и слова не требовались – движение заменяло слово, схема мотора или радио калькировалась на «все дела».

Вот вам, к примеру, сцена летом 1952 года по дороге на Барвиху. По новому гладкому шоссе (конечно, засекреченному, стратегическому, построенному немецкими военнопленными для соединения «госдач» со столицей) едут два полубрата в открытом лимузине. На заднем диване марокканской кожи сидит предмет, на зависть Голливуду, девушка-стиляга по имени «Эскимо». Ноги –

дай Боже! Никто не разговаривает по пустякам. Октябрь занят рулем, вписывается в виражи, сквозь зубы насвистывает нечто подходящее к тоненькой ниточке аккуратно подстриженных усов – слоуфокс «Гольфстрим». Пятнадцатилетний Максим приспособливается щелкнуть «лейкой» в боковое зеркало девушку Эскимо (прозвище подразумевает, конечно, сорт мороженого – пальчики оближешь, а не определенный народ Севера) и воображает уже потрясающий кадр, на котором выйдет вперед сногшибательная коленка «барухи» и уйдет в глубину ее круглое личико с большим презрительным ртом. «Баруха» же молчит, во-первых, потому, что разговаривать не с кем, а во-вторых, потому, что вообще неразговорчива.

Милиция на пересечениях дорог козыряет. Покачиваются сосны. Где-то слышится пионерский горн. Разворот с визгом шин вокруг скульптуры «Три оленя». Октябрь недовольно покачивает головой: визга быть не должно. Еще раз прокручиваемся вокруг «Трех оленей», на этот раз плавно и стремительно. Вкатываемся в ворота дачи. Ба, во дворе друзья – юноши из дипсемей Громыко и Царапкин. Привезли на буксире лодку с новым американским мотором «Меркьюри». Нужно разобраться. Лады. Мы втроем на озеро, а ты, Эскимо, поучи пацана науке страсти нежной. Октя-я-брь, – обиженно тянет девица, но получает в ответ только отдаляющиеся звуки «Гольфстрима». Лады, говорит она. Пошли, Максим. И дальше спотыкачом через многоточие...

К вечеру ошеломленный любовью Максим отвозит Эскимо на мотоцикле в город, по возвращении видит на веранде усталых, но довольных друзей уже с новыми девушками. Славик Громыко учит компанию танцевать буги-вуги. Какой ритм, какой каскад, о Соединенные Штаты Америки!

Октябрь при виде брата вопросительно поднимает бровь.

– Октябрь, она удивительная, – не без придыхания шепчет вчерашний мальчик.

– Давно видел, что ты на Эскимо подрачиваешься, – улыбается Октябрь. – Поздравляю. А теперь посмотри, какую машину привез Царапкин.

У Максима подкашиваются ноги – на столе новенький американский магнитофон размером не более стандартной радиолы!

Осенью того блаженного года в «Вечорке» появился фельетон про столичных стилиг под заголовком «Плевелы». Доставалось там в основном сыновьям академиков, но и сын «самого Огородникова» был хоть и глухо, но упомянут.

В семье произошел, по выражению Октября, «страшный хипеж». Папаша колотил кулаком по красному дереву и орал о «предательстве идеалов». Вскоре после фельетона Октябрь исчез, ничего не сказав Максиму. Мамаша пожимала плечиком: знать, мол, ничего не хочу – то ли на Камчатку за длинным рублем направился, то ли в какую-то военную школу поступил. Папаша только хмыкал – посмотрим-посмотрим, может, еще и человеком станет, плевел несчастный.

Через пару лет Октябрь вернулся. Все вроде бы осталось по-прежнему: машины, фото, девушки, джаз, но кое-что и прибавилось – например, великолепный появился английский. Он стал международным журналистом и быстро, год за годом, выходил в первые номера, становился членом всевозможных редколлегий и ученых советов, дослужился даже до депутатства в Верховном Совете СССР. Впрочем, большую часть времени он проводил за границей и однажды «под баночкой» признался Максиму – больше месяца на родине социализма не вытягиваю и, честно говоря, не представляю, как здесь люди живут. Максим тогда посмотрел на брата через прицел своей камеры, и ему показалось, что почтенный международник, как был, так и остался стилигой Пятидесятых годов; вот и волосы, еще довольно

густые, зачесывает с намеком на «канадский кок» и курит «Кэмел» без фильтра, хрустальную мечту плеве-лой молодости.

Что же касается статей Октября Огородникова, то они даже среди обычной профессиональной продажно-сти отличались особенной ложью, хотя и пестрели так называемыми «детальями», как бы направленными к элитарному читателю.

К «леваческим», как он выражался, делам Максима Октябрь поначалу относился с прежних позиций, усмешливо, как к ребяческим проделкам, однако год за годом, по мере того, как Максим все больше «антисо-ветчиной зверел» (тоже собственного Октябрьского изготовления метафоришка), они все больше и больше отдалялись друг от друга.

Иногда Максим узнавал через третьи руки, что при-езжал Октябрь в отпуск и даже с матерью, то есть с мачехой своей встречался, даже и первую жену Макса навестил и привез какие-то подарки, а вот брату, пони-маете ли, не дозвонился... Впрочем, бывает ведь и так – суета, суета...

IV

А как вообще-то получилось, что столь известный советский фотограф стал, можно сказать, диссидентом? – такой вопрос обсуждался не раз московскими либе-рально-художественными кругами по мере того, как развивалась эта история. Ведь был когда-то членом правления ЭСЭСФЭ, даже, кажется, лауреатом премии Ленинского Комсомола...

...А кто тогда в комитете премий-то сидел, сплош-ные ведь леваки, – возникало тут мнение пронциатель-ного наблюдателя. В сущности, товарищи, Макс Ого-родников прошел вполне естественный путь развития. От фрондерства к диссидентству, согласитесь, пря-

мая дорога. Странно, что власти с ним так долго тютюкались, вот что странно...

Все это по новой моде высказывалось таким тоном, что невозможно было понять, на чьей стороне симпатии дискуссантов.

...В самом деле, ведь столько лет он и его друзья буквально ведь на грани... порой, знаете ли, все это творчество казалось просто шельмованием власти, а между тем, до последнего же времени причисляли же это к своему, к... так сказать, нашему достоянию... странно, что так долго пользовалась эта группа официальным доверием...

В конце концов в таких дискуссиях все-таки происходила еле заметная расстановка: одна сторона как бы ставила под сомнение прежние официальные позиции «этой группы», другая же сомневалась в нонконформистских качествах.

...Позвольте, позвольте, что же в этом странного? Вспомните первые альбомы Огородникова, Германа, Древесного, все эти репортажи с великих строек коммунизма...

Тут вдруг подключался кто-нибудь, только что «принявший коньячку», ибо дискуссии такого рода чаще всего происходили в домах творчества «Проявилкино», «Фэдино», «Раскадрож», где с недавнего времени в буфетах снова была разрешена продажа крепких напитков.

...И между прочим, интересные, свежие, искренние были эти первые альбомы! Очень отличались от обычной казенщины. Вот как раз у Огорода, помните, сцена драки в очереди за шампанским! Какая лепка лиц, характеров...

...Что же, вы скажете, не снимал он эти плотины, самосвалы, экскаваторы?..

...А разве их там не было? И разве не возникало в этих альбомах ощущение странной бессмыслицы?..

...Внимание, братцы-кролики, к нам приближается Кесмеционкин. Давайте-ка лучше поговорим о бабах!

V

За полгода до этого мглистого вечера... Какого еще мглистого вечера? – спросит читатель. Он давно уже потерял в кулуарах романа заляпанную грязью «волгу» – такси, а между тем она все едет сквозь этот мглистый октябрьский вечер, пересекает площадь Сокол, проезжает мимо аэровокзала, стадиона «Динамо», и нахолившийся Макс Огородников сидит рядом с водителем, тухлым глазом смотрит в не очень-то отдаленное прошлое: полгода назад.

Зазвонил тогда, майским утром, телефон. Огородников сразу почувствовал – какая-то подлянка. У человека с его телефоном, конечно же, развивается некоторый интимный контакт. Коммуникационной машине ничего не стоит предупредить хозяина о подлянке. Звонок звонку – рознь. Сразу же можно понять, друг ли звонит или какая-нибудь подлянка. В общем-то, оказалось ничего особенного, просто некто Владимир Сканцин из ГФУ; ну, все равно, как «гутен морген, это вас из гестапо беспокоят». Голос в трубке напоминал знакомого хоккеиста из соседнего подъезда, такой разбитной москвич. – Вы меня, по идее, должны знать, Максим Петрович.

– Не имею чести, – согласно литературным традициям (жандарм и присяжный поверенный), ответил Огородников. Какой удалось найти нужный, *одергивающий* тон, несмотря на мгновенное сжатие кишечника.

– Да разве ж вам, Максим Петрович, меня в Росфото не показывали?

Огородников, хотя и высокомерно хмыкнул, сразу же вспомнил – показывали. Вспомнилось в ресторане неоцределенное блондинистое лицо за чайным столом,

– с пирожком во рту. Консультантша секретариата Лолочка, вечная травестюшка с челочкой, привстав на цыпочки и упираясь вечно крепенькими шишечками в руку, вечно ароматным шепотком в ухо:

– Максуса, хочешь покажу твоего куратора?

Огородников был уже наслышан, что в последнее время целое подразделение гэфэушников, молодые люди в замшевых пиджачках, с обручальными кольцами на лапах, повадилось целыми днями заседать в баре, буфетах и ресторане знаменитого клуба Москвы. Потягивают коньячок, дымят американскими сигаретами, и не только не скрываются, как прежде, а напротив, подчаливают с интеллектуальными беседами и представляются в открытую, такой-то и такой-то, сотрудник ГЭФЭУ. Вот замечательные шаги социалистического прогресса – теперь тебе не надо гадать, кто твой куратор, теперь тебе его просто покажут, твоего личного специалиста-лечебника, просто-напросто твоего политического врача, иначе как же прикажете понимать слово «куратор»?

И Лолочка, верный товарищ «четвертого поколения советских фотографов» по столику и постели... – теперь-то, после напоминания о показе, уж не осталось и малых сомнений, кто таков этот бойкий дружок...

– Надо бы побеседовать, Максим Петрович, – хорошо отработанным на оперативных курсах голосом сказал Вова Сканцин. Он стоял в этот момент с телефонной трубкой в кабинете генерала, старший товарищ непосредственно наблюдал начало операции.

Обычно, по науке, люди ужасно «пужались» таких приглашений, это немедленно ощущалось через телефонный кабель. Первый телефонный звонок из «желёз» – это всегда полдела, так учил Володю старший товарищ В. К. Планцин. В данном-конкретном, фля, что-то с этой половиной дела не очень-то получалось. Обычно так поднажмешь чуть-чуть голосенком, и клиент плывет, любому можно назначать свидание в гостинич-

ном номере, как бляди. Данный-конкретный, однако, высказался в том направлении, что, хотя, по его мнению, у них нет общих тем для беседы, он, хорошо, согласен *принять* – принять, товарищ генерал! – Сканщина с товарищем у себя дома. Вы же слышали, Валерьян Кузьмич, каким тоном разговаривает Огород, как будто ему и не из «желёз» звонят, а какие-нибудь «фотилы» со своими альбомчиками к классику напрашиваются. Ведь подумать только, товарищ генерал, даже «товарища» поставил под сомнение. С каким, говорит, товарищем? Даже и не на сегодня назначил, товарищ генерал, а на послезавтра, а уж про гостиницу-то я и не заикнулся, товарищ генерал, при такой постановке вопроса. Вот вы говорите, Валерьян Кузьмич, что у них в такие моменты адреналин выделяется, а я этого что-то не заметил...

Молодой специалист В. Сканцин напрасно все же усомнился в эрудиции старшего товарища. Адреналин выделялся, между нами говоря, однако Огородников настолько оказался хитер, что запасся седуксеном, к приходу офицеров успел уже проглотить три таблетки и слегка задремал.

В назначенный час офицеры в отлично пошитых костюмах и галстуках явились «на прием». Фотограф открыл им дверь, обнаружив себя в джинсах на подтяжках и шлепанцах, и прикрыл ладонью рот, неумело скрывая зевок. Позднее Огородников сам удивлялся, как это ловко у него получилось. Смешно сказать, но именно они, а не он выглядели в момент встречи растерянными. Впрочем, может быть, просто тактику переменили, предстать в смущении – простите, так сказать, за вторжение в творческую лабораторию... Уж, поверьте, не стали бы тревожить вашу творческую лабораторию, если бы...

– Да это у меня просто кабинет, а вовсе не лаборатория, – все еще как бы борясь с зевотой, обманывая скорее всего самого себя этой простодушной сонли-

востью, сказал Огородников. – Лаборатория совсем по другому адресу.

– Хлебный переулочек, дом 7, квартира 20, правда? – выпалил В. Сканцин.

В. К. Планщину только и осталось поморщиться и выразительно посмотреть на младшего партнера: экий болван, опять не по делу употребил хороший отработанный десятилетиями прием. Да разве эту хитроглазую бестию поразишь такой информацией? Только лишь посмеется над молодежью.

– А вы разве у меня были там?

– Володя пошутил, Максим Петрович. Это мы ведь просто фигурально про творческую лабораторию. Просто в том смысле, что не явились бы, если бы не чрезвычайные обстоятельства.

– Извольте, вот сюда, вот кресла, садитесь, – Огородников плюхнулся в свое любимое, и вдруг его продрало по коже ощущение дичайшей неуместности всего того любимого, привычного, что сейчас его здесь окружало.

Здесь сейчас предполагаются голые стены, а не македонский мохнатый ковер, привезенный лет пятнадцать назад из Скопле. В лучшем случае (или в худшем) портрет Рыцаря Революции, но уж не снимки же диссидентов; Солженицын с детьми, туман и в тумане контур Церкви Преображенья; Сахаров на берегу моря в Сухуми, босые ноги на гальке. Вот и фотографический главный диссидент Алик Конский присутствует и снят по месту ссылки, Сохо, Нью-Йорк, какие-то рожи в масках за спиной, карнавал, надменная ухмылка, так раздражавшая «железы» в Москве, еще по крайней мере пять или семь отпечатков с персон, «железам» весьма известных, а вот и одно из самых любимых произведений – толпа перед зданием суда во время процесса Гинзбурга и Галанкова, это был момент, когда на перекрестке завизжали тормоза и все, диссиденты и «железушники», повернули головы в одном направлении.

Голых баб на стенах кабинета, в отличие от стен настоящей «творческой лаборатории» в Хлебном, не было, но было нечто, хоть и одетое, но стыдное – выплывание из мрака: Таллин, запах сланцевой гари, жалкая светящаяся вывеска SAFE, тебе двадцать четыре, ей – тридцать, белая жакетка и белый берет, жалкий лепет о национальной независимости... Почему-то это показалось стыдным до мерзости под неулыбающимся рысьим взглядом старшего гэфэушника.

– Я вижу, вы бывали там, – сказал Огородников.

– Не раз, – ответил Планцин. – Ведь это же Латинский квартал, да?

– Правильно. Улица Мазарини, – с некоторым облегчением произнес Огородников: хотя и Париж в этот момент подернулся пленочкой позора, однако неузнанному Таллину стало все-таки чуть-чуть легче.

Старшой, человек под шестьдесят, с беспорядочно лысеющей головой, снял пиджак и вопросительно направил его к спинке стула. Разрешите? Душновато сегодня. Молодой специалист немедленно последовал его примеру, подмышками обнаружили темные полу-кружия, пахнуло футбольной раздевалочкой. Старшой показал Огородникову открытые руки.

– Как видите, Максим Петрович, у нас ничего нет.

– Чего нет? – озадаченно спросил Огородников.

– Техники, Максим Петрович, – пояснил старшой, – как видите, мы пришли к вам бэз... – (слово «без» почему-то у генерала Планцина всегда получалось через э-оборотное) – ...бэз техники, Максим Петрович. Надеемся, что и вы с нами по-честному...

Огородникова тут слегка замутило от еще неясных, но мерзких чувств, и он, чтобы скрыть муть, потянулся к столу в поисках сигаретки. Володя Сканцин снова отличился: вытащил из кармана – на выбор – французский «Житан» и советский «Мальборо», угощайтесь.

– Полная, значит, опять проявилась осведомленность – ведь Огород-то как раз по «Житану» выступал, посыл-

ки получал из Парижа от третьей жены Надин Шереметьефф, а когда с посылками случался перебой, сваливал на местный продукт детанта. Что-то не то, приуныл Володя, поймав недовольную гримасу генерала, опять, кажется, пенок нахватал, что-то не по делу выступаю...

– Я себя жуликом никогда не полагал. Что вы имеете в виду? – спросил Огородников. Планцин отмахнул ладошкой – ерунда, мол, не стоит и разговаривать на эту тему, но рысьи глаза безулыбчиво смотрели прямо Максиму в лоб.

– Да я просто к тому, Максим Петрович, что мы нашу беседу не записываем. Надеемся, что и вы не записываете.

Пиджаки сняты, ладони протянуты, лица чисты, и в этот момент автору снова приходится отвлечься от повествования, чтобы посетовать на долю русского романиста, на невозможность обойти эти вездесущие «железы» при описании современной русской жизни, на невозможность даже придать представителям этих «желез» какие-то человеческие черты, ибо и в этот вот данный момент Планцин и Сканцин врали – запись шла.

Между тем, в животе Огородникова прошла холодящая мысль: да ведь эти гаврики меня, как видно, принимают совсем всерьез, вроде бы считают врагом на равных. Ой, мамочки-папочки, куда затягивают! Холодящая мысль бередила кишечник, лопнуло несколько пузырей, на поверхность вынеслось легкое ворчание. К счастью, увидел отражение в дальнем угловом зеркале и подумал, что угол выбран правильно и вся мизансцена с двумя сыщиками, прямо сидящими в жестковатых креслах, и с артистом, расслабленно утопающим в диване, работает в его пользу.

Бодрящим образом заработало и тщеславие. Они меня, должно быть, считают заправилкой «Нового фокуса», иначе бы не явились. Собственно говоря, так оно и есть, хотя идея и возникла в стоматологическом центре Тимирязевского района, в разговоре двух соседей по

креслам Олехи Охотникова и Венички Пробкина; оба были оставлены врачами после уколов новокаина. Все-таки именно я и есть заправила, хотя бы потому, что без меня эта идея не прожила бы и недели. Ну, собственно говоря, только со мной из всей нашей кодлы им и придется считаться всерьез – с моим именем, с международными связями...

Он улыбнулся в духе только что продуманной мысли, которая из «холодящей» под давлением тщеславия быстренько превратилась в «бодрящую», и сказал:

– Я тоже вас не записываю.

Нужно ли пояснять, что Огородников-то не врал?

Офицеры быстренько переглянулись, даже не переглянулись, а просто одновременно шевельнули какой-то соответствующей мышцей лица: раскладка оказалась правильной, перед нами серьезная птица – какой холодный и спокойный тон вместо предполагающегося в каждом совчеловеке перепуга и священного ужаса: как, дескать, могли подумать такое святотатство – записывать наши советские «железы»?..

Огородников же, призвав на помощь олимпийский сонм богов, приготовился к схватке. Я их сразу первым же встречным вопросом. А вы-то сами, господа, вернее товарищи, когда-нибудь фотографировали? Вообще-то знаете, что это такое? Если уж вы за нами наблюдаете, то предполагается, что вы в курсе дела, так что ли? Вроде бы знаете, с чем это едят и с чем это пьют, да? Стало быть, догадываетесь, что фотография – это не совсем то, чем занимаются советские классики Фарков, Фотаднюк, Фисаев? О'кей? Может быть, вообще проникаете в глубины, товарищи офицеры? Может быть, мы вас катастрофически недооцениваем? Все-таки позвольте усомниться в том, что ваша пытливость уходит к папаше Шульце с его светящейся субстанцией или еще глубже к истинным мудрецам-алхимикам, к великому колдуну Кристоферу Адольфу Болдуину, к его дымным ночам в поисках Weltgeist, ведь ваша идеология

тогда еще не родилась, даже не подразумевалась, а мел, растворяясь в aqua regia, уже втягивал влагу из атмосферы и оставлял на дне реторты светящийся в темноте осадок. Ведь не будете же вы утверждать, что наши славные «железы» унаследовали архивы инквизиции, а если нет, то какого чёрта лезете в чужие дела?

– Ну, что ж, – сказал старшой. – Начни, пожалуй, ты, Володя. Объясни Максиму Петровичу наше вторжение.

Сканцин довольно драматично насупонился. Стало похоже на телепостановку по сценарию Юлиана Семёнова.

– Темнить не буду, Максим Петрович, у нас это есть...

– Это? – Огородников несколько опешил от нажима на «это», артистическое высокомерие, не говоря уже о «предках-алхимиках», было забыто, и таким образом то, что он про себя именовал «схваткой», началось для него с афронта. – Это? Это? – запинаясь он. – У вас? Позвольте, не понимаю...

Генералу встреча начинала нравиться.

– Ну, поясни, Володя, что мы имеем в виду, а то Максим Петрович, возможно, и не о том думает.

Огородникову казалось, что рысий взгляд как бы контурирует его, малейшее смещение в плоскости и в объёме немедленно контурируется по какому-то неведомому фону. Он разозлился. Что за дурацкий понт? Каким образом «это» может быть у них, если «этого» пока вообще не существует?

– Мы говорим о вашем произведении, Максим Петрович, о «Щепках»...

Планцин даже улыбнулся, когда злокозненный артист выскочил от изумления из дивана. Попрыгай, попрыгай, полезно будет, а то уж слишком загениальничались. Сканцин в этот момент подумал: «Какие джинсы у Максим Петровича хорошие...»

– «Щепки»?! Вы сказали «Щепки»?

– Вот именно «Щепки», Максим Петрович, ваши собственные «Щепочки»... А вы о чем-то другом подумали? Может быть, еще что-нибудь нафотографировали... хм... противоречивое?

Огородников плюхнулся обратно в любимую диванную продавленность. Фантастика, их, оказывается, интересуют «Щепки», о которых он и думать забыл. Прошло уже года три, как он закончил этот альбом, открывавшийся эпиграфом из песни Алешковского: «...а щепки во все стороны летят!» Альбомчик этот собирался годами, начиная еще с тех отдаленных времен, когда забубенными компаниями московские фотографы «новой волны» путешествовали на Дальний Восток в поисках «молодого героя». Так было весело в те времена, все вокруг свои, поколение «Звездного билета», принадлежность к авангарду определялась возрастом. Правда, с этой возрастной общностью уже тогда случился скандал. Однажды в Петропавловске-на-Камчатке явились на «Голубой огонек» под хорошим газом, да еще в карманах принесли пару бутылок «чечено-ингушского коньяку». Те, кто пригласил столичных гостей, местные «ровесники» из обкома комсомола, рассчитывали на оживленную такую миловидную дискуссию о романтике, собирались прокламировать то, что было тогда в ходу, т. е. «серости – бой!», а получился безобразный скандал. Москвичи издевались над ударниками коммунистического труда, требовали от всех «теста на иронию», возмущенного полковника погранохраны называли «пнем», потом Слава Герман плюнул в телекамеру, а Андрей Древесный свалился со стула. На следующий день вся делегация была вымазана дегтем, вываляна в перьях и вынесена из города на шестах. Впрочем, за городом, в сопках, их тут же спасли другие, настоящие уже «ровесники», вулканологи с Ключевской, и далее «Голубой огонек» разгорелся над вулканом, как тогда говорили, по-новой, по-новой. Первый сейсмически опасный фотофестиваль, или как там это называлось...

Однако уже тогда, на фоне всех подобных фиест и фестивалей, в негативах стали просвечивать странные мраки. Карнавальная вереница кадров прерывалась вдруг засветкой – то ли провал в памяти, то ли, наоборот, момент пробуждения. Год за годом все собиралось – от Москвы до самых до окраин, до Колымы, до Печеры, Северного Казахстана, Норильска, Кольского полуострова – и в конце концов возникла исторически вполне наивная фотоидея. По огромному пространству мира прошел сталинский лесоповал, перед нами земли, покрытые щепой, пробьется ли жизнь?

Разобравшись, в конце концов, куда его тянет, Макс забросил кабаки и всех своих баб, выключился из выставок, как официальных, так и чердачных, года два только и делал, что бродил с «примитивкой» (так называл он свою любимую камеру), щелкал и колдовал в лаборатории. В конце концов отобралось чуть больше сотни снимков, и все как-то легко, в такой страннейшей композиции, что вызвало при первом же проглядывании некоторый морозец по коже.

Во всей коллекции, над всей щепой, доминировали два лица: сталинского какого-то ублюдка, вневозрастной и внеполовой сволочи, и послесталинского недоразвитого хмыря с вечно приоткрытым вследствие аденоидов ртом, задроченного «вечного юноши». Первый с весомостью члена Политбюро наблюдал за шахматной игрой пенсионеров на Тверском бульваре. Второй, в отчаянии и пьяный, объяснял что-то двум дружинникам и милиционеру на углу Литейного и Невского проспектов. Ни того, ни другого Макс не знал и никогда после снимков их не встречал, однако лица эти как бы в единоборстве присутствовали повсюду, то есть были там, где их не было, включая и чистейшие внеполитические сюжеты, пейзажи и натюрморты. «Беглец», например, угадывался в крутом повороте какой-то городской реки с пустынной набережной и маленьким каменным лионом в глубине кадра. «Охрана», например, наплывала

словно газовое облако из малоотчетливого рисунка отвисших обоев над натюрмортом вполне отвлеченного характера – тарелка хороших щей, бутылка французского коньяку, «рушничок» на спинке венского стула, штопор – «спутник агитатора».

Закончив альбомчик, Огородников, разумеется, походил немного в гениях. Во-первых, друзья, что видели «Щепки» – числом не более дюжины, – говорили: «Макс, ты гигант», а во-вторых, сам себя очень зауважал – какова персона, усы, очки, висловатый нос, а между тем – гений! Так, по сути дела, было всегда, после каждой новой коллекции, после всех предыдущих «сомнительных», так и сейчас случилось после первой по-настоящему «опасной». Впрочем, сейчас он ликовал дольше – опасность, как оказалось, прибавляет гениальности. Однако, прошла пара-другая месяцев, и радость без всяких причин потускнела, и, как обычно, гениальности малость поубавилось, точнее, она приблизилась к своему обычному уровню. Все же надо было «забросить штучку за бугор», и это оказалось делом не особенно сложным.

– Нас, конечно, прежде всего, Максим Петрович, интересуется, каким образом ваша работа попала за рубеж, – рысьи глазки продолжали калькировать Огородникова, показывая, что не поверят ни одному его слову, но все же не упуская и возможности неожиданного «раскола» с истечением мочи и слюны.

– За рубеж? Вот это новость, – Огородников на такие вопросы отвечал почти автоматически, потому что за последние три года немало его картинок выскакивало как будто случайно то в альбомах, то на выставках «за бугром», и в Союзе фотографов козлы из аппарата время от времени интересовались: как? за рубеж? Кроме служебного рвения, в таких вопросах чувствовалось и искреннее удивление, как будто почтового сообщения просто не существовало.

– А вот меня, товарищи, интересуется другое, – продолжил он. Тут он заметил новый мгновенный пере-

взгляд-перемиг гэфэушников, в перемиге на сей раз было что-то положительное, не исключено, что родимые «товарищи» так подействовали: все-таки употребляет же наших родимых «товарищей», а не «сударей» каких-нибудь, не «господ», может быть и не до конца еще потерянный человек.

– «Щепки» – штука внутренняя, сделанная для друзей, а вот как она к вам-то попала, товарищи?

– Только не подозревайте ваших друзей, Максим Петрович, – сказал Володя Сканцин и опять как-то кашлянул в стиле Юлиана Семенова, показывая, что уж что-что, а законы мужской дружбы «рыцарям революции» ведомы. – В вашей компании, Максим Петрович, немало ведь и стукачей вращается, – брезгливость вздула некоторый пузырь на молодом лице. – Если бы вы знали, сколько стукачей!

– А вот сейчас хорошо Володька работает, – подумал Планцин и улыбнулся.

– Уж если вы, Максим Петрович, недоумеваете, как за границу ваше произведение попало, позвольте уж и нам руками развести...

Он прав, подумал Огородников, давайте вместе недоумевать, товарищи. Неужели тот ярко-оранжевый фольксваген остался вами незамеченным? Мимо шли бесконечной чередой демоны грязи, московские пустые грузовики, была в расцвете дурная московская весна, он протянул свою папку в окошко фольксвагену, и тот сразу с тархтением отшвартовался, оставив его стоять поистине в недоумении: неужели вот таким образом «Щепки» в конце концов доедут до арт-агента нью-йоркского Шлемы и упокоятся в его сейфе?

Однако прежде всего надо было спросить их, а лучше самого себя: отчего такой пожар? Являться в генеральском составе по «Щепкину» душу? Ведь в самом деле не собирался публиковать, не решился, несмотря на внушительные суммы, предлагавшиеся из-за моря, а снимки-то в ящиках есть пострашнее и у Славки Герма-

на, и у Шуза, да у кого их сейчас нет. Может быть, просто на понт берут дорогие товарищи? Может быть, все же к «Изюму» подбираются, к «Новому фокусу»? Трудно все же предположить, что для них мой альбом пострашнее «коллективки». Во все века советской власти «коллективка» считалась самой большой крамолой и опасностью. Впрочем, что там гадать, да и хитрость с ними бессмысленна. Мне скрывать нечего, это им есть что скрывать, это они тайная шобла, а не мы.

– Ну и что же? – не без высокомерия, вроде как бы польский шляхтич, поинтересовался. – Стало быть, считаете мой альбом «антисоветским»?

Молодой Сканцин опять с некоторой досадой поморщился, опять, дескать, не поняты благие намерения. Старый Планцин тоже чуть скособочился в этом направлении, однако не без некоторого напоминания о «лучших временах».

– Это вы уже нас несколько примитивизируете. Кто не увидит в «Щепках» трагического разлома времен, оразившегося в творчестве противоречивого художника.

– Ого, – сказал Ого (так, между прочим, в прошлые времена дразнили его в школе). – Ого! Поздравляю! Звучит прямо как рецензия в «Иностранном фотоискусстве».

Генерал озлился. Он все же чина моего не знает, этот гад, явный гад. Надо ему все-таки дать понять, с кем разговаривает.

– В общем, чтобы было короче, Максим Петрович, мы публикации вашего альбома на Западе не допустим, в том смысле, что здесь, на родине, вам в западных гениях ходить не придется.

– Нельзя ли понятней? – спросил Огородников.

– Можно. Если «Щепки» появятся на Западе, у вас будет только две альтернативы...

– Как это понять? – пробормотал Огородников.

– Или покаяться, публично отказаться от этой работы...

– Чего вы, конечно, не сделаете, – вставил Вова Сканцин.

– «Ну, почему же?» – подумал Огородников.

– Либо хлопнуть дверью, – продолжил генерал.

– То есть? – спросил Огородников.

– То есть прощаться. Отправляться туда, где издаетесь, присоединяться к Эрнсту Неизвестному, Конскому, словом, тем, кто на родине оказался чужим. Откровенно говоря, нам бы не хотелось, чтобы советское искусство теряло такого профессионала...

Володя Сканцин снова вмешался как бы плачущим голосом.

– Вас ведь и у нас любят, Максим Петрович. Все слои общества, собственно говоря, вас ценят. Ведь вы у нас тут как бы символ всего передового...

– Что вы имеете в виду? – на этот раз Огородников был в серьезном замешательстве.

– Ну все ж таки, – как бы даже заныл молодой капитан, – ведь все ж таки оптимист же вы ж... ведь не скажешь же, что пессимист же ж...

– Что касается меня, – очень сухо, явно работая на контрасте с Володей, сказал старый генерал, – то лично для меня основное значение играют...

– «Значение не играют», – уныло подумал Огородников.

– Основную роль играют, – поправился генерал, – ваши корни. Славное революционное имя вашего отца, настоящие русские пролетарские традиции.

Упоминание «корней» всегда злило Огородникова, сейчас взбесило. Выброшенный опять из продавленности, он метнулся в неопределенном направлении, длинные руки и ноги под внимательнейшими взглядами чекистов будто бы произвели большое колесо. Пузыри негодования теперь вылетали изо рта, напоминая даже нечто сродни орлиному клекоту, образуя в то же время некоторую спасительную бессвязность, затемняющую

картину полной уже антисоветчины, белогвардейщины, которую он тут понес.

– Корни?! Прорастание в тридцать седьмое тридцать семь раз проклятое поле?! Прерываю цепь хамских взрастаний! Увольте, к подземной гнили никакого отношения! Гидропонический продукт! По трубкам фотографии соединяюсь с цивилизацией! Руки прочь! Мы от Туринской плащаницы, а не от языческой гнили. Постоянно навязывается пошлятина идей, мразь борьбы! Для меня «Щепки» – метафизика, метафотография, для вас, в лучшем случае, – какой-то трагический разлом времен, а по-настоящему – акция, передвижная фишка в вашей сраной идеологической борьбе. Чего пугаете? Я об этих «Щепках» и думать забыл, особенно с гидропонических событий, а тут берут на понт, тычут в нос большевицкое корневище...

Таково приблизительно было содержание огородниковского клекота или бульканья, если его очистить от междометий, включающих, увы, блямкающий звук «бля», а также от разных внеграмматических звуков. Высказавшись, он подумал: «ох, много лишнего наговорил», посмотрел в зеркало на офицеров и вдруг увидел на лицах непрощенных гостей некоторого рода просветление, спуск отходов производства.

– Можно ли это так понять, Максим Петрович, что вы не собираетесь печатать «Щепки» на Западе? – спросил Планцин.

– Да и не собирался никогда, – буркнул Огородников.

Вру или не вру? – подумал Огородников. Самому непонятно. Врет или не врет? – прикинул Планцин. Не очень-то было понятно. Чего это он про гидропонику загибал? – озадачен был Сканцин. Непонятно, но здорово. Надо будет по словарям ползать.

В этот, можно сказать, ответственный момент беседы в передней возникли посторонние звуки – поворот ключа в замке и постукивание каблуков. Появилась

Виктория Гурьевна, вторая бывшая жена Огородникова, которая помогала ему по хозяйству.

– Вичочка, познакомясь, – устало сказал он. – Товарищи из ГЭФЭУ.

Оба шевалье тут же привстали и познакомились путем рукопожатия. Володя всем внешним видом показал, что впечатлен. Валериан Кузьмич бросил на хозяйина слегка укоризненный взгляд – зачем же, дескать, так все раскрывать государственные секреты? С другой стороны, однако, он был как бы даже и доволен: вот, как ни странно, появилось у «Огорода» простое человеческое отношение к их нелегкой профессии – взял и представил второй бывшей жене Виктории Гурьевне Казаченковой, 1937 г. р., проживающей по адресу...

Последняя оказалась в этой сцене совсем на полной высоте.

– Я вам сейчас кофейку приготовлю, мальчики, – глубоко женским голосом проговорила она и, топая кавалерийскими сапогами, запросто отправилась на кухню.

Мальчики! От такой простоты даже бывалый чекист малость сбоку оплыл в некотором умилении, молодой же специалист выразил хорошие эмоции хлопком по колену – эхма!

– «Гребена платъ», – впадая в острейшее уныние, подумал Огородников.

Последняя экспрессия кажется нам уместной для того, чтобы именно здесь напомнить читателю, что в основном пласте повествования Макс Огородников все еще едет в такси по направлению к центру Москвы и в данный момент машина стоит в ожидании «стрелки» для поворота с Ленинградского проспекта на площадь Белорусского вокзала.

С повествовательным жанром, господа, происходят сплошь и рядом не подвластные литературной теории

метаморфозы. Связно и в хронологической последовательности изложенные воспоминания героя по ходу его передвижения в городском такси – по сути дела, чистейшая условность, т. е. литературный формализм. Ключеватый же, разорванный поток памяти и сознания, т. е. хрестоматийная примета формализма, гораздо ближе все же к реальности, ну, согласитесь же. Мы, однако, здесь используем более заезженного коня, жертвуем джигитовкой, до которой горазды, ради интересов читателя, ибо в этой повести и сюжет важен, не только словесные струи.

Так или иначе, но именно в ожидании стрелки для поворота вокруг памятника Горькому Макс Огородников вспомнил, как Вика, стуча кавалерийскими сапогами, пошла на кухню варить *им* кофе.

– Гребена плать, – вздохнул тогда Макс.

– Он прав, – подумал таксист.

Стрелка загорелась. Поехали дальше.

– Важнейшее решение вы сейчас принимаете, Максим Петрович, – говорил Планцин. – Отказ от публикации «Щепок» безусловно будет означать, что вы остаетесь в рядах сов... – тут произошла вдруг некоторая запинка, словно генералу вдруг почему-то не захотелось произнести любимое слово. – ... Ну, словом, в рядах отечественного искусства.

– Да я решений не принимал, просто и не собирался...

– Понимаю-понимаю. Словом, если по-джентльменски заключаем договор, если все будет о'кей, как сказал старик Мокей, – (пауза для веселой реакции на шутку, легчайшее продление паузы в расчете хотя бы на улыбку – все без толку, не прошибешь, с чувством юмора у нас всегда хромало), – в общем от нашей организации хлопот у вас тоже не будет. Все ваши публикации будут в порядке и заграничные поездки состоятся. Итак, лады?

– Ну, если угодно, лады.

Только уж как бы без рукопожатий, подумал Макс. Что ж, хватает все-таки такта не лезть с ладошкой. Все же можно найти в манерах даже что-то мужское – так говорят, как будто не соврут...

Что-то кажется появилось человеческое в этом хлыще, подумал Планцин. А вдруг и в самом деле удастся договориться?...

– Ну, вот и кофе, мальчики!

Вкатившая столик с кофеом Виктория Гурьевна застала в кабинете просветлевшую погоду, даже подобие улыбок, а мужские улыбки эту влиятельную театральную даму Москвы всегда грели, ибо воспитана она была на идеях Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Если бы парни всей земли!...

В. Сканцин с неммым вопросом обратился к В. К. Планцину, и тот кивнул. Из Володиного портфеля мигом вынырнула тут нераспечатанная британская льдина – джин Beefeater. Расчет опять оказался правильным – Огород пошел встречным курсом, вытащил из загашника бутылъ «Армении». Совсем не дурная получилась концовка матча.

– Со свиданьем, – вполне искренне произнес Вова и, хапнув рюмаха, улыбнулся своему клиенту, с которым, сказать по правде, успел уже сжиться. – Да вы не огорчайтесь, Максим Петрович...

– Да я и не огорчаюсь, – пожал плечами клиент.

– Однако ведь, художник всегда хочет...

– Хочет, – по-деловому поправила Виктория Гурьевна.

– Спасибо, – поблагодарил Володя. – Всегда же хочет свое детище показать интеллигенции. Или я не прав?

– Максим Петрович немножко нашу интеллигенцию переоценивает, – сказал генерал. – Эти-то с университетскими значочками – интеллигенция? Думаете, они аплодировать вам будут за «Щепки»? Нет, Максим

Петрович, не поймет вас интеллигенция, растерзает. Конечно, альбом ваш – выдающееся произведение искусства...

...«отнести ли это за счет джина с коньяком?...»

...и давайте, товарищи, не будем его окончательно хоронить. Будем ждать!

– Чего ждать? – вздрогнул Огородников.

– Как чего? – вздрогнул Планцин. – Ждать, когда созреет наша интеллигенция.

– О чем речь? – спросила тут Виктория Гурьевна.

– О фотоискусстве, – пояснил ей вполголоса Володя.

– А-га, – дама слегка отпала.

– Вот говоря о фотоискусстве, – Планцин, как бы сдувая пылинку, легчайше притронулся к мосластому колену, – как вы, Максим Петрович, оценили бы современное его у нас положение?

Макса вдруг словно острейшая тошнота поразила, такой пошлятиной вдруг вывернулась вся ситуация. В собственном доме пью с сыщиками; хитрю ли (?) трушу (?) дерзко ли блефую? Да неужели же никогда нам из-под них не выкарабкаться? Никогда? Под ними всегда? Под хеврой?

– Какое еще там искусство, – грубо сказал он. – О каком еще искусстве вы можете говорить? Какое может быть искусство, если им занимается тайная полиция?

Он встал и отошел к окну, давая понять, что время истекло. Не слишком ли спедалировал, спросил он тут же себя. Впрочем, их ведь еще паханок учил, что с талантом надо обращаться осторожно, как с красивой и глупой блядью.

Планцин сделал Володе знак – сворачиваться. Успех сегодня достигнут большой, диалог начался, дальше пока развивать не стоит, а то еще сорвется сом с крючка.

– Уж тоже вы скажете, Максим Петрович, – полиция... Где же вы тайную-то полицию увидели... ну,

ладно, спасибо за гостеприимство, как говорится, этому дому, пойдем к другому...

– Максик, пока! – точным приложением ладошки снимая зевок, сказала Виктория Гурьевна.

– Ой, Виктория Гурьевна, вы, должно быть, всех театральных знаменитостей знаете? – спросил ее по пути к лифту восторженно посапывающий Володя.

– Ну, как вам сказать, – Виктория Гурьевна начала тут что-то утробно напевать. Вся жизнь дамы прошла, как в Москве говорят, «на театре», последние пять-шесть лет вообще на высокой позиции в Центральной театральной кассе. Она, конечно, переспала со множеством знаменитостей и при упоминании какого-нибудь имени обычно начинала что-то с хорошим юмором утробно напевать.

– Как вам сказать? Всех ли? Всех ли?

– Товстоногова, Михаила Шатрова? – заглядывал ей в лицо молодой человек.

– Над Россиюю-ю-ю небо синее-уу-уу-...

Выйдя за «молодежь», Планцин уже возле лифта подумал, что слишком простенько все как-то получилось, как-то слегка не на уровне, что-то все-таки необходимо добавить к картине дня...

Лифт пошел вниз без него, а он вернулся к огородниковской двери. Она была еще не заперта. Генерал проник внутрь и увидел длинную спину с выпирающими лопатками. Запустив обе руки в разваливающиеся патлы, Огородников стоял у стены в прихожей и как бы подвывал; слышалось что-то вроде «па-а-адлы-ы-ы».

Генерал тоже прислонился к стене, только к противоположной, вынул портсигар, постучал папироской по крышке. Он видел свое отражение в каком-то зеркале в глубине квартиры и понимал, что Огородников заметил его возвращение, хотя и не поворачивается.

– Не мог уйти, не сообщив вам одну малоприятную штуку, Максим Петрович... коллеги наши... ну, за океаном... внимательно вами занимаются... разрабаты-

вают вас... после крушения диссидентов, там решили намывать новый слой оппозиции внутри нашего общества... из писателей и фотографов, работающих на грани лояльности...

– Бре-е-ед, – промычал Огородников, как бы вытаскивая голову из-под бормашины. – Кому я там нужен?

Генерал Планцин наблюдал за ним с отеческой симпатией. Немало он видел на своем веку подозрительных, но этот один из лучших.

– Как-то вы себя принижаете, Максим Петрович. За такого большого художника стоит побороться. Вот скажите, встречался ли вам в ваших странствиях некий такой Клиффорд Зусси?

– Встречался, – сказал Огородников, хотя, конечно, никогда не встречал человека с кошачьей фамилией Зусси.

– А Веронику Фрондаик знаете? – сощурился Планцин.

– Знаю, – сказал Огородников, хотя никогда ничего ближе Анели Торндаик, лауреата Ленинской премии имени Хрущева, к этому звукосочетанию даже и не слышал.

– А Грибовича Михаила Марковича?

– Наверняка встречал.

Макс оторвался, наконец, от стены, повернулся и как бы слегка навис над генералом.

– Прикажете понимать как допрос?

– Да что вы, Максим Петрович! – генерал широко развел руками, словно «трехрядку» растягивал. – О вашей же безопасности заботимся, вернее, о вашей репутации. Старайтесь, Максим Петрович, держаться в стороне от этой публики, что бы она ни сулила... Это просто мой вам *личный* совет... Ну, вот и все, Максим Петрович, вроде бы все, ах, нет, простите, вот еще... Личико-то там у вас в «Щепочках» запечатлено очень знакомое. Сталинский персонаж.

Между прочим, этот человек жив и по-прежнему работает у ... у нас ...

– Это не вы? – Огородникову показалось, что у него кожу свело на лице от напряжения.

– Нет, это не я, – глухо и мрачно сказал генерал, весь будто налился чугуном, охотно показывая свое настоящее чувство к фотохудожнику.

На этом они, наконец, расстались. Оба испытывали странное удовлетворение, ибо мрак и сдержанное рычание все же показали им обоим более естественными метеоусловиями для «концовки матча». Генерал отправился анализировать воровские пленки, а Огородников с бутылкой в кармане помчался к корешу Шузу Жеребятникову и, между стаканами, все ему выложил с деталями и в лицах.

– Шиздец, – сказал могучий, блатной и хиповый мужик Жеребятников, главное лицо «Нового фокуса», гордившийся тем, что у него, в отличие от остальных интеллигентиков-фокусников, был настоящий лагерный стаж – отбухал пятак уже после Сталина за попытку срыва выборов в Верховный Совет Молдавской ССР. – Шиздец, Огороша, запахло «фишкой», все окна открывай, не избавишься. Это как раз не коллеги заокеанские, а сама «фишка» взяла тебя в разработку, «коллегами» на понт берет, пужает – дескать, можем и шпионаж вжучить. Теперь, плять буду, они с тебя зенки не спустят ни на минуту и дрочить тебя будут повсеместно, а джентльменство ихнее сухой шандавошки не стоит.

В подвале у Жеребятникова, где шел этот разговор, у Макса отказали тормоза: и руки пошли ходуном, и кожа покрылась адреналиновой слизью. Куда, куда меня затягивает? Где моя фототехника, где мои женщины, была ведь когда-то жизнь чиста и немногословна.

Шуз, кажется, понял, что происходит с Максом, хотя обычно мало обращал внимания на окружающих, залепил ему леща под лопатку и одобрил любимым словечком «небздимо».

– Вспомни триаду классика, гребена платье: «не верь, не бойся, не проси!» Это ко всей «гебухе» относится, включая и нашу «фишку».

Невероятной ширины мужлан с седыми кудрями до плеч, на шее переплетение золотых цепочек, на правом кулаке пара массивных перстней с печатками, впору челюсти ломать такими перстнями; что за человек такой, всю жизнь не верит, не боится, не просит... Огородников ободрился – буду и я таким.

– Одного я только не секу, – сказал Шуз, – почему они про «Изюм» ничего не спросили? Не может быть, чтобы уже не пронюхали. Ладно, небздимо, Огороша!

Они отправились в «Росфото», сильно пили весь вечер и под конец увели, конечно, девушек. Хотелось, чтобы все было, как всегда, но все было уже по-другому, и даже с девушками в ту ночь спалось как-то плохо, мешала, конечно же, дурная мысль – а вдруг стукачки?

Какие все-таки падлы, какие крысы, как они прогрызают все это общество, как они растлевают всех и каждого... шестьдесят лет... деструкция такого масштаба... – думал Огородников.

Москва за грязными стеклами такси текла мутной массой. Возле Дома Кино мелькнуло скопление лиц.

Он прав, – думал шофер. – Этот кадр абсолютно прав. Хорошего кадра везу, это факт...

VI

После весеннего визита прошло уже полгода, и за это время все отличным образом проверилось. Шуз оказался прав: «фишкино» джентльменство тянуло как раз на названную им цену. Прежде всего они наглухо заблокировали все огородниковские выезды – одна за другой рухнули поездки в Нью-Йорк (по линии СФ СССР), в Милан (по линии Госкино СССР), в Париж (по линии

ОВИРа, просто детишек повидать от третьей бывшей жены Надин Шереметьефф), то есть по всем линиям. Объяснения всякий раз давались нелепейшие, или совсем никаких не давалось.

«Признано нецелесообразным», да и все тут. «Фишка» как будто не только не скрывала, но как бы даже демонстрировала свой почерк, а то и мордашку свою высывала, сморщенную в зловещем лукавстве.

Как-то махнул Огородников к своей нынешней законной супруге гляциологу Анастасии в университетский поселок под Эльбрусом. Всю ночь воспаряли, ликовали на высокогорный лад, а утром глянули из окна и сразу увидели пару нелепейших идиотов в одинаковых шляпенках. Они прохаживались по дощатому тротуару и посматривали на их окна с похабными улыбочками.

В другой раз как-то отправился Огородников в Шереметьевский аэропорт встречать заокеанскую знаменитость Александра Спендера с женой и дочкой. Вдруг, бац, какая неожиданность, в зале ожидания скромный рыцарь революции Вова Сканцин за чашечкой кофе. Присаживайтесь, Максим Петрович. Вот, в самом деле, как бывает: зайдешь кофейку принять и хорошего человека встретишь. Улетаете куда-нибудь за рубеж? Кисленькое молочко в глазах куратора то и дело сменялось хулиганской прохладцей. Спендера встречаете Александра? Хорошее дело. А что же этот мистер Спендер-то не из наших ли коллег будет, а, Максим Петрович?

У Огородникова даже челюсть затряслась в отвратительном чувстве. Как же это вы, Владимир, фотографией ведь все-таки занимаетесь и не знаете Александра Спендера?

К чести капитана Сканцина надо сказать – никогда не обижался он на критику невежества. Краснел, конечно, но делал соответствующие выводы. Спасибо, Максим Петрович, за критику, в дальнейшем учту.

Огородникову ясно стало, что только ради вопроса о «коллегах» и прикатил в аэропорт Сканцин. Шуз прав – разработка продолжается. Щупают, дают, шьют..

Однажды, в творческом блуждении с камерой, под Троицу, под московскими дождями он познакомился с милейшей задумчивой девушкой, ну прямо из французского кино. В постели она оказалась совсем чудесной: едва о чем-нибудь подумаешь, тут же это тебе представляется. Не был бы женат, женился бы, подумал Макс по своему обыкновению, засыпая. Проснувшись, девушки рядом не обнаружил, исчезла, как Золушка, экая прелесть, такой такт, как будто знала вперед, что у меня с утра настроение говенное. Вдруг услышал внизу под антресолями шорох и шепот. Подкатился к краю, посмотрел из-за перил. Девушка, пальто внакидку, листала тайные его альбомы и что-то нашептывала в телефон. Ах! Увидев свисающие меж перил усы и космы, пенсне на ниточке, ахнула в театральном ужасе. Застучали по лестнице каблуки. В окне за палисадом ждала ее серая «волга», молодчик в блейзере за рулем, если не Сканцин, то его молочный брат. Шпионочка подбежала, оглянулась на окно, хохотнула дерзостно и нырнула на заднее сидение. Еще один ход конем. Bravo, товарищ генерал!

В почтовом ящике однажды обнаружился занюханый конвертик с рисунком ко Дню Артиллерии – булыжное рыло воина и хвостатая сука – ракета. Внутри текстик на машинке:

«Жидовский подголосок Огородников! Имеешь ли ты право называться русским фотографом, обдывая свои грязные делишки с Фишером, Цукером, Златковским, Серебровским, Германом? Прекрати свою позорную стачку с жидами, иначе Родина покарает убудка!

Русские патриоты».

Огородников сначала лишь задыхался от ярости и ничего не соображал. Потом стал накручивать телефон, всей Москве зачитывал текст анонима, орал, что

сейчас же – в «Нью-Йорк таймс» и в агентство Рейтер, пусть все знают, как шантажируют, пусть записывают каждое слово, скрывать нечего, ненавижу эту падлу, вонючую Степаниду, моя Россия другая, она – не советская!

Макс, Макс, увещевали его, да что ты так распахивался, да таких писем сейчас полно, да брось ты его в сортир...

Вдруг резкий раздался в паузе характерный звоночек. В голосе генерала Планщина звучала металлическая ниточка сильной и верной дружбы:

– Можете быть уверены, Максим Петрович, авторы провокации будут найдены и понесут наказание.

Сбоку на линии подрабатывал Сканщин голосом обиженного теленка: – Да я эту шпану из-под земли достану, Максим Петрович! Куски говна, позорят нашу интернациональную идею...

Огородников тогда спросил пренеприятнейшим голосом:

– А что имели в виду авторы провокации, вы не можете мне объяснить? Может быть, «Новый фокус»? Может быть, наш коллективный альбом «Скажи изюм»? Как прикажете толковать «жидовскую стачку»?

В телефоне возникла и расширилась неопределенная пауза. Потом забормотал Сканщин: что-то я вас не особенно... о чем это вы... Новая пауза. Планщин: – В таком тоне как-то трудно с вами разговаривать, Максим Петрович. Отбой. Неназываемое было названо.

«Неназываемое», так сказать, то есть вот именно названный в том телефонном разговоре злокозненный альбомчик, за прошедшие шесть месяцев сильно продвинулся вперед и превратился уже в альбомище. Изготовлено было 12 копий размером с хорошую кладбищенскую плиту, и оформлено все было в соответствии с культивируемой Олехой Охотниковым «эстетикой бедности», то есть с завязками из ботиночных шнурков, с обложкой из рогажи, в общем красиво.

Двенадцать и не больше, господа, объяснял участникам альбома самый опытный их друг Григорий Автандилович Чавчавадзе. Советская конституция, господа, легкомысленно закрепляет у нас на территории свободу печати, однако вообразите, какое бы вышло свинство, если бы граждане следовали своей легкомысленной конституции. Граждане, однако, знают, что изготовление текстов или фотоальбомов числом более дюжины карается как нелегальная акция сродни самогоноварению. В Прокуратуре СССР именно такая существует для внутреннего пользования инструкция.

Собравшиеся поплодировали. А нам больше и не надо, чем двенадцать. Первое советское неподцензурное фотоиздание тиражом двенадцать экземпляров. Хотят этого или не хотят, а все равно будет вежа в истории. Так мы им и скажем с голубыми глазами: вот наше первое издание, хотите, издайте в типографии, не хотите – перебежмся.

Шуз Жеребятников тут «вставлял в ствол», по его выражению. Не исключаю, пацаны, что козлы наши примут «Изюм» к изданию. А что им остается делать, если не принять и не попытаться замусолить? Почему «фишка» только ходит за нами и нюхает? Почему не обратали нас с самого начала и весь наш тираж не разжужячили? Очень феровая для для них ситуёвина сложилась с «Новым фокусом». Конечно, меня замести им ничего не стоит, как и Цукера, как и Васюшку, даже и Веньку с Охотой заметут не дорого возьмут, а вот на Огороде обжечься можно, а Древеско как взять, а Эмму, а Григория Автандиловича, прости, кацо, с его иконостасом боевых наград? Шухер-то начнется же невероятный. По ходу дискуссий все общество, разумеется, «злоупотребляло» спиртные напитки и с каждой бутылкой все дальше отходило от тактических соображений, все ближе подходило, как говорил Олеха Охотников, к «нутрянному скотству».

– Что же нам, господа, с «фишкой», что ли, противоборствовать? – спрашивали они друг друга. – Низменная идея, не так ли? Это пусть литераторы со своей «лишкой» противоборствуют, потому что они все выдумывают, искажают нашу прекрасную действительность, а от них хотят, чтобы они поменьше или побольше выдумывали. А ведь мы, господа, ничего не выдумываем, правда? Наше дело – чикать, не так ли? Увидел какую-либо натуру, достойную быть увиденной, увидел на ней определенный свет, соответственные тени, говоришь натуре «внимание, сейчас вылетит птичка, скажи изюм» и – чик! Ведь если «фишка» хочет или хотит – как правильно? – чтобы фотография изменилась в их пользу, им надо просто натуру изменить в свою пользу, вот и все. Ну, а наши интимные отношения с эмульсией – это, в самом деле, никого не касается... Пусть лучше за своими фотоклассиками следят, которые постоянно большими пальцами в проявителе дробчат для сочетания реализма с романтикой, то есть для засирания природы...

Все идеи в «охотниковщине», то есть в незаконно занимаемой жилплощади кооператива «Советский кадр», высказывались громогласно, подчеркнуто с пренебрежением к слушачам «фишки», за исключением одной – заброски «Изюма» за бугор. Слабо надеясь на благоразумие «козлов», все имели в виду основную альтернативу – издание альбома в Париже, Милане, Нью-Йорке. Не говорилось, но подразумевалось, что «Ого» все устроит. Кому же еще, как не Максусу с его связями за занавеской, с его языками. И в самом деле, Огородников худо-бедно мог объясняться на всех основных европейских языках. Сподвижник Ильича по цюрихским кондитерским, его папаша обучал своих наследников языкам в расчете на продвижение мировой революции. С Октябрем расчет явно оправдался, а вот с Максимкой, увы, нарушился поступательный ход истории, можно было бы его знаниям найти лучшее применение. На

этом рассуждении и в умиленной тревоге за чехословацких товарищей Огородников-старший отбыл в отсутствующий мир иной, не дожил ни до очередной славной страницы в истории своей партии, ни до позорной страницы в жизни своего младшего сына.

А позорная страница уже разворачивалась в полную ширину. С привычным унынием чуть ли не каждое утро Максим смотрел из окна на серую «волгу» и двух хмырей в ней, как бы читающих газеты. В этот вечер, подъезжая к Арбатской площади, он подумал, что, по сути дела, впервые за долгое время остался без хвоста. Его вдруг охватила какая-то неадекватная дикая радость, как будто в Москве отсутствие «хвоста» открывает перед человеком большие приключенческие возможности.

– Останови возле «Праги», друг, – попросил он шофера и, выходя уже из машины, подмигнул сумрачному парню. – Вот такие дела, друг.

– Согласен на сто процентов, – сказал шофер. – Гнать надо поганой метлой всю эту лавочку.

Итак, поездка нашего героя на такси, начавшаяся возле Речного Вокзала и потребовавшаяся для того, чтобы информировать читателя о предшествовавших событиях, а также для того, чтобы убежать от соглядатаев, заканчивается на Арбате, возле ресторана «Прага», ибо больше она нам не нужна ни для той, ни для другой цели.

Можно было бы, конечно, перестать огород городить, махнуть рукой на всю эту фотографическую историю, последовать, в порядке экзистенциалистского эксперимента, подчиняясь одной лишь логике – логике хаоса, вслед за таксистом в его озлобленный против власти таксопарк, увы, профессионализм нас туда не пускает, напоминает о необходимости и дальше плести сюжет, имея перед собой основную задачу при писании авантюрных романов – начать и кончить.

Признаться, в эмигрантском отъединении от родного языка недурно было бы вспомнить ключевую фразу прежней жизни – «всего делов-то начать и кончить!»

.....

*В честь Александра Родченко
или
Баллада о брючной пуговице*

Он не любил снимать «от пуговицы»,
Но есть любил
Вкрутую сваренную луковицу
С горшком белил.
Друг приходил. Цилиндр и валенки.
Хрипя, как хряк,
На печке мазал пару голеньких
С цветком в кудрях.
Дыша духами и туманами
Орлами хезала Москва,
В социализм неугомонная
Мечта стремилась и молва.
Автомобиль, рыча, подваливал
И звал удрать,
Валила на диваньи валики
Клоповья рать.
Угарной жизни разноклочие
Иль марш-парад?
Чему служить вы предназначили
Ваш аппарат?
Хрусталь и сталь в молве расстелены.
Избавясь от богемных патл,
Кружил перед глазами Сталина
Летальный татлинский летатл.

Бурлит на кухне чайник яростно,
Певец коммун.
Коммуна поднимает ярусы
К одной из лун!
Куда двойная экспозиция
Вас приведет?
Поймет ли ваши экспликации
Простой народ?
Пролетарьят в России вспученной
Освободился от оков.
Утратив пуговицу брючную,
Сидел Сережа Третьяков.

Молитва дикого советского человека

Господь Создатель, Боже Правый,
и ты, Блаженный Николай,
провижу я, как встанут травы
над нашим пеплом и золой.
Ловил я мимолетный образ
и в этом, грешный, был ретив
и не заметил, что обобран
размахом рук, рычаньем ртов,
полетом ног, сдвиженьем чресел.
Увидев все, слетел с рессор,
как будто с бочек Красной Пресни
скатился сбитый комиссар.

Господи, правда ли, что в прохождении звездных путей
скрыт и проход в зазвездность?
Милостивый, поделись секретом темных пространств!
Место, которое мы здесь называем Россией,
нечто существенней, чем геологический шлак?

Детские вечера,
лепет сиреневых душ,
но принимать пора
таинств свирепых душ.
Юности тихий мед,
запахи крымских слив...
время шагнуть вперед
в грозных теорий слив.
Вечный птенячий писк,
краткий слоновий рев.
Время... монах Франциск
Тащится через ров.

Господи, просвети, где разместимся с друзьями в сонме
далеких душ?
Все эти комбинации, именуемые поколениями, правда ли
не случайны?
Господи милостивый, единый в трех образах Отца,
Сына и Духа Святого,
вспомни о малых своих посреди материализма!
Не дай предстать, Милосерд, перед Твоим отсутствием!
Господи, чудо яви и посрами атеизм!

НОВЫЕ СТИХИ

ВОЗВРАТ

Рахманинов играл, Шаляпин пел.
Какие титанические люди!
– За милых дам! За Мира передел!
И голова Крестителя на блюде.

Немая мысль не шевелила уст,
лишь поднимала пепельное веко:
о явной смертобойности искусств,
о Зле и о явлении человека.

И розовели зори и дела.
Но гибель предреклаась для полу-Мира.
Когда б рябиной Родина была,
то у корней лежала бы секира.

Шаляпин пел, Рахманинов играл...
Зачем их не заснял кинематограф, –
раскрытый зев певца во весь экран
и пальцы пианиста, прыть которых

враз искресала радугу из люстр,
за звуками всё зло заиллюзорив.
А бас, а Зороастра-златоуст,
то бархатно-лилов, а то лазорев,

свободно плыл по попрунным полям,
где топотно и потно убивали.
Разваленную тяжко пополам,
страну спасет ли ария? Едва ли.

И где он, горла певчего удел,
где своды, подпирающие нёбо?..
– Ираклий, шел бы к чёрту, надоел, –
несется осязаемо из гроба.

Ах, Франция: увидев, – умереть!
Усталому сладка твоя земля:
как на перине, в ней отрадно преть,
и прах супруги рядом пепелится.

Здесь тиховейно спи наверняка,
знай, тлей себе в могильной тайне, в Бозе,
покойся, забывайся на века.
И что властей? Смертей уже не бойся.

Как бы не так! И вдруг: туда: труба!
– А ну, вставай, проклятьем заклеянный,
проклятьем славы и клеймом раба,
принадлежи отныне миллионам.

Бери свой прах, но выбрось прах жены.
Ты не воскрес, довольствуйся субботой,
зато ошибки будут прощены.
Работай, труп. А ну, живей работай!

Ты – наш, и не поможет флажолет.
Мы – до скончанья времени. Ты тоже.
Французской пломбой скалится скелет,
а будущее близко и дотошно.

май 85

НА РАСКОПЕ

Вознячук откопал Студенец.
Погляди – аллохтонная гиттия...
Как удачно старатель и спец
отвалил на картон эти вскрытия.

Только слух на словах подкачал.
Выручает просодией озеро,
где – по просеке, и – на причал:
плоскодонно, журчливо, берёзово...

Нарочь, я же не ворог, не тать!
Костерок попридавлен корягою...
Никогда не бывал. Не бывать –
на ладони судьбой накарябано.

А деревня манит: Близники.
Чем? Да той же неблизостью чаемой.
Ночевать бы у Нарочь-реки
да под самый урез изучаемый

вдрызг нарезать с кодлой-братвой
(позабыл ее имя и отчество).
И главней позабыл: я не твой,
я ведь вправду не твой, и не хочется.

Но порой признаюсь: я готов
наслоения жизни и опыта
отложить в намываемый торф.
И гадать: что добыто, что пропито.

май 85

ФИЗИОНОМИИ

Как, однако, вожди некрасивы,
если даже и льстит аппарат.
Сколько тучной набыченной силы
выставляют они наперед.

Ни на гран, что мы ценим и любим
в собеседнике, в друге, в другом:
чистоумной открытости людям,
искры юмора, – нет ни в дугу.

Но за тяжкими их орденами,
за буграми напыщенных лиц
до чего же они ординарны!
– Как бы с нами единая власть.

Оттого мудрецы и безумцы,
те, что были бы солью земли,
либо там на запечьи трясутся,
либо всяк на свободе замлел.

Кто-то скажет: – А так нам и надо,
знал бы всё, не перечил бы впредь,
и – обратно бы в теплое стадо
потереться боками, попреть.

Перестань: все равно, все равно ведь
не втемяшиться в общий кулеш.
Ты уже не похож. Остановят.
Сам побрезгуешь, ложки не съешь.

А братва? А былая дружина,
что случалась роднее родных?
Да ничем она не дорожила,
всем давала сразмаху подвздох.

Вот о ней-то горячего сраму
обобраться ли? Не оберешь.
Как чужую вчерашнюю даму
стыдно вспомнить.

А помнишь – и что ж!

окт. 84

ТРОЦКИЙ В МЕКСИКЕ

Дворцы и хижины, свинцовый глаз начальства
и головная боль, особенно с утра, –
всё нудит революцию начаться.
– Она и началась, но дохлая жара...

В жару, что ни растет, от недостатка вянет;
в сосудах кровяных – ущербный чёс и сверб.
Коричнево повис в голубизне стервятник –
эмблема адская, живосмертельный герб.

То – днем. А по ночам – поповский бред сугубый:
толпа загубленных, и всяк – в него перстом.
Сползают с потолков инкубы и суккубы
и мозг его сосут губато и гуртом.

Опять напиток вдрызг? Пойти убить индейца?
Повеситься, но как? Ведь пальмы без ветвей.
Да из дому куда? А – никуда не деться:
поместье обложил засадами злодей.

Те – тоже хороши. Боялись термидора,
а бонапартишка – исподтишка, как раз, –
(как дико голова, и нет пирамидона)...
Французу – Корсика, что русскому – Кавказ.

Но какво страну, яря сословья,
блиндируваным поездом ожечь;
не слаще ль этот рык, чем пение соловье –
рев скотской головы пред тем, как с плеч!

Мятеж, кронштадтский лед, скорлупчатое темя
...Боль на белый свет!.. Молнийный поток.
– Чтó это, чтó?.. А – всё. Мерцающая темень.
Жизнь кончена. В затылке – альпеншток.

дек. 84

СВЕТЛА...

Узлистое семя тирана,
кремлёвский воробушек, дочь,
спросонок, босота Светлана
порхнула из форточки прочь.

И – в мир, и – в миры, в измеренья!
В иное и новое, вон
Туда – за моря, в замиранья
себя – за собою вдогон.

Но там, на Луне, в деревенской
комфортно-стеклянной глуши
в подушку уж не дореветься
до ближней 100-вёрстной души...

...О нем голодается остро,
друзей не хватает до слез.
А эти глядят, как на монстра
опасного, но не всерьез.

Ах, как бы они лебезили,
когда бы им – бешеный кнут,
чтоб знали! И – выблеск бессилья:
был папа оправданно крут.

Секомые знают и помнят,
мимически полно молчат...
Назад – в это логово комнат
до жарких и душных волчат

своих, чтоб вихры теревить им
(дадут ли, седые, теперь?).
В кремлевскую мать-обитель
взахлоп для воробушка дверь.

Для рыси орлецкой, для тигра
ужель не найдется угла?
Пока свой конец не настигла
царевна в опале, Светла...

2 февр. 85

Международная издательская кооперация ТМА

приглашает к сотрудничеству.
За подробностями обращайтесь по адресу:

S. Vangnoo (ТМА)
postlagernd/Postamt
D-2358 Kaltenkirchen

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ или «ШАГИ КОМАНДОРА»

Трагедия в пяти актах

Сочинение ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА

ДОСТОЧТИМЫЙ МУР!

Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: «Вальпургиева ночь» (или, если угодно, «Шаги Командора»). Трагедия в пяти актах. Она должна составить вторую часть триптиха «Драй Нэхте».

Первая ночь, «Ночь на Ивана Купала» (или проще «Диссиденты») сделана пока только на одну четверть и обещает быть самой веселой и самой губительной для всех ее персонажей. Тоже трагедия, и тоже в пяти актах. Третью – «Ночь перед Рождеством» – намерен кончить к началу этой зимы.

Все Буаловские каноны во всех трех «Ночах» будут неукоснительно соблюдены:

Эрсте Нахт – приемный пункт винной посуды;

Цвайте Нахт – 31-е отделение психбольницы;

Дритте Нахт – православный храм, от паперти до трапезной. И время: вечер – ночь – рассвет.

Если «Вальпургиева ночь» придется тебе не по вкусу – я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев. А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает.

Венедикт Ер.
Весна 85 г.

В ТРАГЕДИИ УЧАСТВУЮТ:

Врач приемного покоя психбольницы.

Две его ассистентки-консультантши. Одна – в очках, поджарая и дробненькая. И больше секретарша, чем ассистентка. Другая – **ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА**, багровая и безмерная.

Старший врач **ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ РАНИНСОН**.

ПРОХОРОВ – староста 3-й палаты и диктатор 2-й.

ГУРЕВИЧ

АЛЕХА по кличке Диссидент, оруженосец Прохорова.

ОВОА – меланхолический старичок из деревни.

СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ – тихоня и прожектор.

ВИТЯ

СТАСИК – декламатор и цветовод.

КОЛЯ

Комсорг 3-й палаты **ПАШКА ЕРЕМИН**.

Контр-адмирал **МИХАЛЫЧ**

Медсестра **ЛЮСИ**

Медсестра **НАТАЛИ**

Медсестра-санитарка **ТАМАРОЧКА**

Медбрат **БОРЕНЬКА**, по кличке Мордоворот.

ХОХУЛЯ

Толстые санитары с носилками, в последнем акте уносящие трупы.

(Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета.)

ПЕРВЫЙ АКТ

Он же Пролог. Приемный покой. Слева от зрителя – жюри: старший врач приемного покоя, смахивающий на композитора Георгия Свиридова, с почти квадратной физией и в совершенно квадратных очках. По обе стороны от него – две дамы в белых халатах: занимающая почти пол-авансцены Зинаида Николаевна и сутуловатая, **НА ВСЁ ОТСУТСТВУЮЩАЯ**, в очках и с бумагами, Валентина. Позади них мерно прохаживается санитар и медбрат Боренька, он же Мордоворот, и о нем речь впереди.

По другую сторону стола – только что доставленный «чумовозом» (скорой помощью) Л. И. Гуревич.

ДОКТОР: Ваша фамилия, больной?

ГУРЕВИЧ: Гуревич.

ДОКТОР: Значит, Гуревич. А чем вы можете подтвердить, что вы Гуревич, а не... Документы какие-нибудь есть при себе?

ГУРЕВИЧ: Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что...

ДОКТОР (*поправляя очки*): Имя-отчество?

ГУРЕВИЧ: Кого? Декарта?..

ДОКТОР: Нет, нет, больной, ваше имя-отчество!

ГУРЕВИЧ: Лев Исакович.

ДОКТОР (*из-под очков, в сторону очкастой Валентины*): Отметьте.

ВАЛЕНТИНА: Что отметить, простите?

ДОКТОР: **Все! Все** отметить!.. Родители живы?.. И зачем вам лгать, Гуревич?.. если вы совсем не Гуревич... Так, я еще раз повторяю: ваши родители живы?..

ГУРЕВИЧ: Оба живы, и обоих зовут...

ДОКТОР: Интересно, как их зовут.

ГУРЕВИЧ: Исаак Гуревич. А маму – Розалия Павловна...

ДОКТОР: Она тоже Гуревич?

ГУРЕВИЧ: Да. Но она русская.

ДОКТОР: Ну, а как обстоит дело с вашей матерью?

ГУРЕВИЧ: Вы бестактны, доктор. Что значит «как обстоит дело с матерью?» А с вашей, если вы не сирота, как обстоит?

ДОКТОР: Обратите внимание, больной, я не раздражаюсь. Того же прошу от вас... И кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем не маловажно.

ГУРЕВИЧ: Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт...

ДОКТОР (*очкастой Валентине*): Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, чем русскую маму... А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не изме-

няют познания в географии, – ведь это **еще** не наша территория...

ГУРЕВИЧ: Ну, это как сказать. Вся территория – наша. Вернее, будет нашей. Но нам не дают туда погулять – видимо, из миротворческих соображений: чтобы мы довольствовались шестой частью обитаемой суши.

ДОКТОР: А...очень широк, этот Геллеспонт?..

ГУРЕВИЧ: Несколько Босфоров.

ДОКТОР: Это вы что же – расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло, больной, вашим соседом по палате будет человек, он измеряет время тумбочками и табуретками. Вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?

ГУРЕВИЧ: Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно 670 моих шагов – а, по Брокгаузу, это точная ширина Босфора.

ДОКТОР: Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливались?

ГУРЕВИЧ: Когда как. Другие – чаще. ...Но я – в отличие от них – без всякого фарсу и забубенности. Я – только когда печален...

ДОКТОР: Ну, печаль печалью. А на какие средства вы...каждый день переходили этот ваш Босфор? Это очень важно...

ГУРЕВИЧ: Так ведь мне все равно, какая работа, я на все готов – массовый сев гречихи и проса... или наоборот... Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА: И сколько вам платят?

ГУРЕВИЧ: Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня и спросила: «Лева, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить». – Я бы сказал: «Все хорошо, Родина, отвязись, у тебя у самой ни х... нету».

ДОКТОР (*из соображений авантажности*): Я понял, что вы больше вольный мореплаватель, а не татарин из хозмага. Встаньте. Сдвиньте ноги. Зажмурьте глаза. Протяните руки вперед.

ГУРЕВИЧ (*делает то, что предписывают*): Я могу сесть?

ДОКТОР: Можете, можете. Довольно. Нам уже по существу все понятно. Вот – одна еще деталь: о том, женаты вы или нет, я не спрашиваю: но есть ли у вас женщина, к которой расположено ваше сердце, та, что сопровождает вас в жизни?

ГУРЕВИЧ: Конечно, есть. Вернее, конечно, была. Когда мы вместе с нею переплывали Гиндукуш... она разбила свою прекрасную голову... о скалы Британского Самоа. В эту минуту (*Гуревич почти плачет*) ...и вот в эту минуту – судьба выбила палочку из рук маэстро. Я утонул, но выплыл – вы рады, что я выплыл?

ДОКТОР: Из Гиндукуша?

ГУРЕВИЧ: Из Гиндукуша. А чего стоит выплыть из Гиндукуша, если прежде человеку покорялись Дарданеллы?..

ДОКТОР: Вот-вот. Для нас такой пациент – большая редкость, я рад, что вы не утонули. А вот когда вы плавали – вы брали с собой бутылку?

ГУРЕВИЧ: Еще бы! И какую бронебойную! Уксуснокислого аммония – акулы его не выносят. Как только появляется акула – выливаешь на голову себе и своей подруге немножко уксуснокислого аммония, – и всё, акулы кучевряжатся, вконец теряют свои пустые головы, ну... на прощанье лизнут икры моей подруги... но ведь смешно было бы в такой ситуации быть ревнивым... А когда уже дело доходило до Каракорума...

ДОКТОР: ...А какое сегодня число на дворе? год? месяц?

ГУРЕВИЧ: Какая разница?.. Да и все это для России мелковато – дни, тысячелетья...

ДОКТОР: Понятно. Скажите, больной: случаются ли у вас какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса..?

ГУРЕВИЧ: Вот этим обрадовать вас не могу, не случилось. Но...

ДОКТОР: Что все-таки «но»..?

ГУРЕВИЧ: Да вот я о химерах... Ну для ради чего, например, я изъездил весь свет, пересекал все Куэнь-луни, взбирался на вершины Кон-Тики, – и узнал из всего этого только одно – что в городе Архангельске пустую винную посуду лучше всего сдавать на улице Розы Люксембург!

ДОКТОР: А еще какие странности?

ГУРЕВИЧ: Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий. И чтобы меня – под этими Волопасами – лишили бы чего-нибудь: чего-нибудь существенного, но не самого дорогого.

(Доктор и медсестры нервничают. За их спинами безмятежно прогуливается Мордovorот Боренька.)

ГУРЕВИЧ *(продолжает)*: Но что мне до Волопасов и Плеяд, когда я стал замечать в себе вот какую странность: я обнаружил, что, подняв левую ногу, я не могу одновременно поднять и правую. Это меня подкосило. Я поделился моим недоумением с князем Голицыным...

(Доктор дает знак левым глазом – с тем чтоб Валентина записывала. Она лениво наклоняет конопатую голову.)

ГУРЕВИЧ: ...и вот мы с ним пили, пили, пили... чтобы привести мысли в ясность... И я спросил его шепотом – не потревожить бы кого, – да и кого, собственно, было тревожить, мы же были одни – кроме нас, никого... так вот, значит, я, чтоб никого не потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он всмотрелся в меня, в часы, а

потом говорит: «Да по тебе и незаметно, да и выпили, вроде, немного... но только и у меня пошли в обратную».

ДОКТОР: Пить вам вредно, Лев Исакыч...

ГУРЕВИЧ: Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас – все равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что **потрясенному содеянным**, – сказать, что сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие асфиксии.

ДОКТОР: Достаточно, по-моему... Значит, с князем Голицыным... А с виконтами, графьями, маркизами – не приходилось водку хлестать?..

ГУРЕВИЧ: Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой...

ДОКТОР: Лев?

ГУРЕВИЧ: Да отчего же непременно Лев! Если граф – то непременно Лев! Я вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва – и говорит, что у него на столе две бутылки имбирной, а на закуску нет ничего, кроме двух анекдотов о Чапае...

ДОКТОР: И далеко живет, этот граф Толстой?

ГУРЕВИЧ: Совсем недалеко. Метро «Новокузнецкая», а там совсем рядом. Если вы давно не пили имбирной...

ДОКТОР: А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла... этой... как вы ее называете... бормотухи..?

ГУРЕВИЧ: Охотно. Но чтобы под этим забором были заросли бересклета... И – неплохо бы – анемоны... Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали...

ДОКТОР: Анемоны?

ГУРЕВИЧ: Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут. А зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится – так это запрет на скитальчество. И... неуважение к Слову. А во всем остальном...

ДОКТОР (*полномочный тон его переходит в чрезвычайный*): Ну, а если с нашей Родиной стряется беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут только одной мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно... Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках. (*Обращаясь к Зинаиде Николаевне.*) Сколько у нас в России народностей, языков, племен..?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА: А чёрт их знает... Полтыщи есть, наверняка.

ДОКТОР: Вот видите: полтыщи. И как вы думаете, больной, в случае **обстоятельств** – перед лицом противника – какое племя окажется самым надежным? Вы – человек грамотный, знаете толк в бересклетах и анемонах – и знаете, что они от нас почему-то убегают... И вот – гроза разразилась – в каком вы строю, Лев Исаакович?

ГУРЕВИЧ: Вообще-то я противник всякой войны. Война портит солдат, разрушает шеренгу и пачкает мундиры. Великий Князь Константин Павлович. Но это ничего не значит. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы...

ДОКТОР (*в сторону Валентины*): Запишите и это.

ГУРЕВИЧ: Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы, когда Она скажет: «Лева! брось пить, вставай и выходи из небытия» – тогда...

(Оживление в зале. Стук каблучков справа – и в приемный покой стремительно, но без суеты влывает медсестра Натали. Глаза занимают почти половину улыбчатой физиогномии. Ямка на щеке. Волосы на затылке, совершенно черные, скреплены немыслимой заколкой. Всё отдает славянским покоем, кротостью, но и Андалузией – тоже.)

ДОКТОР: Вы очень кстати, Наталья Алексеевна (*обычный обмен приветствиями между дамами, и все такое. Натали усаживается рядом с Зинаидой*).

НАТАЛИ: Новичок... Гуревич?! Сколько лет, сколько...

ДОКТОР: Мы уже, по существу, заканчиваем беседу с больным. Не отвлекать внимания, Наталья Алексеевна, и никаких сепаратностей... Осталось выяснить только несколько обстоятельств – и в палату...

ГУРЕВИЧ (*одушевленный присутствием Натали, продолжает*): Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше... (*смех в зале*). Каждый нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета. (*Вдохновенно цитирует из Хераскова*):

Готовы защищать отечество любезно,
Мы рады с целою вселенной воевать.

Но только вот какое соображение сдерживает меня: за такую Родину, такую Родину, я, нравственно плюгавый хмырь, просто недостойн сражаться.

ДОКТОР: Ну, почему же? Мы вас тут подлечим... и...

ГУРЕВИЧ: Ну так что ж, что подлечите?.. Я все равно ни за что не разберу, какой танк и куда идет. Я готов, конечно, броситься под любой танк, со связкою гранат или даже без связки...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА: Да без связки-то зачем?

ГУРЕВИЧ: Неприятель взлетает на воздух, если даже под него кидаются вообще без ничего... Мой вам совет: больше читайте... Ну уж, если не окажется ни одного танка поблизости – тогда уж амбразура найдется точно. Чья – не важно. Я, не мешкая, падаю на нее грудью – и лежу на ней, лежу, пока наш алый стяг не взвьется над Капитолием.

ДОКТОР: Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убедитесь, их, скоморохов, у нас пруд-пруди. Как вы оцениваете ваше общее состояние?

Или вы считаете – серьезно – свой мозг неповрежденным?

ГУРЕВИЧ (*пока зануда-доктор синематографически и дедуктивно пощелкивает пальцами по столу*): А вы – свой?

ДОКТОР (*желчно*): Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы, на ваши я буду отвечать, когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим состоянием, на ваш взгляд?

ГУРЕВИЧ: ...Мне это трудно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-не-погруженность, ...ничем-не-взволнованность, ...ни-к-кому-не-расположенность... И как будто ты с кем-то помолвлен... а вот с кем, когда и зачем – уму непостижимо... Как будто ты оккупирован, и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревоженность, но и ни-на-чем-не-распятость... ни-из-чего-неизблеванность. Короче, ощущаешь себя внутри благодати – и все-таки совсем не там... ну... как во чреве мачехи... (*аплодисменты*).

ДОКТОР: Вам кажется, больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство с вас пошибут. Я надеюсь, что вы, при всей вашей склонности к цинизму и фанфаронству, – уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать.

ГУРЕВИЧ (*чуть взглянув на Натали, оправляющую свой белый халатик*):

Мой папа говорил когда-то: «Лев,
Ты подрастешь – и станешь бонвиваном!»
Я им не стал. От юности своей
Стяжал я навык: всем повиноваться,
Кто этого, конечно, стоит. Да,
Я родился в смирительной рубашке.
А что касается...

ДОКТОР (*нахмурясь, прерывает его*): Я, по-моему, уже не раз просил вас, не паясничать. Вы не на сцене, а в приемном покое... Можно ведь говорить и людским языком, без этих... этих...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*подсказывает*):
...шекспировских ямбов...

ДОКТОР: Вот-вот, без ямбов, у нас и без того много мороки...

ГУРЕВИЧ: Хорошо, я больше не буду... вы говорили о нашей медицине, что ли я ее? Чту – слово слишком нудно, по правде, и... плоскоступно...

Но я – но я влюблен в нее – и это
Без всякого фиглярства и гримас. –
Во все ее подъямы и паденья,
Во все ее потуги врачеванья
И немощей телесных, и душевных,
В ее первенство во Вселенной, в Разум
Немеркнуций, а – стало быть – и в очи,
И в хвост ее, и в гриву, и в уста,
И в...

(В протяжении этой тирады Боренька Мордоворот тихонько, сзади, подходит к декламатору, ожидая знака, когда брать за загровок и волочь.)

ДОКТОР: Ну-ну-ну-ну, довольно, пациент. В дурдоме не умничают... Вы можете точно ответить, когда вас привозили сюда последний раз?

ГУРЕВИЧ: Конечно. Но только – видите ли? – я несколько иначе измеряю время. Само собой, не Фаренгейтами, не тумбочками, не Реомюрами. Но все-таки чуть-чуть иначе... Мне важно, например, какое расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия или... там... летнего солнцеворота... или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, например. Мы вот – большинство – не знаем даже, если ветер норд-ост, то куда он, собственно, дует: с северо-востока или на се-

веро-восток, нам на все наплевать... А Микенский царь Агамемнон – так он клал под жертвенный нож свою любимую, младшую дочурку, Ифигению, – и только затем, чтоб ветер был зюйд-вест, а не какой-нибудь другой...

ДОКТОР (*заметив взволнованность больного, дает знак всем остальным*): Да... но вы отклонились от заданного вопроса, вас унесло норд-остом (*все смеются, кроме Натали*) – так когда же вас последний раз сюда доставляли?

ГУРЕВИЧ: Не помню... не помню точно... И даже ветров... Вот только помню: в тот день шейх Кувейта Абдаллах-ас-Салем-ас-Сабах утвердил новое правительство во главе с наследным принцем Сабах-ас-Салемом-ас-Сабахом... 84 дня от летнего солнцестояния... Да, да, чтоб уж совсем быть точным: в тот день случилось событие, которое врезалось в память миллионов на целых пять лет: та самая, пустая винная посуда, которая до того стоила 12 или 17 копеек – смотря какая емкость, – так вот, в этот день она вся стала стоить 20.

ДОКТОР (*смирив взглядом прыскающих дам*): Так вы считаете, что в истории Советской России за минувшие пять лет не произошло события более знаменательного?

ГУРЕВИЧ: Да нет, пожалуй... Не припомню... Не было.

ДОКТОР: Вот и память начинает вам изменять, и не только память. В прошлый раз вашим диагнозом было: граничащая с полиневритом острая алкогольная интоксикация... Теперь будет обстоять сложнее. С полгодика вам полежать придется...

ГУРЕВИЧ (*вскакивая, и все остальные вскакивают*): С полгодика!!

(Боренька тренированными руками опускает Гуревича в кресло.)

ДОКТОР: А почему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по сек-

рету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого – на поверхностный взгляд – нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способностях этих больных к произвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации...

ГУРЕВИЧ (*в восторге*): Ну, здорово!.. Нет,
я все-таки влюблен

И в поступь медицины, и в триумфы
Ее широкой поступи – плевков
В глаза всем изумленным континентам.
В самодостаточность ее, и в наглватость,
И в хвост ее опять же, и в...

ДОКТОР (*титулованный голос его переходит в вельможный*): Об этих... ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. А заодно и все сарказмы. А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи. Вы – немножко поэт?

ГУРЕВИЧ: А у вас и от этого лечат?

ДОКТОР: Ну, зачем же так?.. И под кого вы пишете? Кто ваш любимец?

ГУРЕВИЧ: Мартынов, конечно...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА: Леонид Мартынов?

ГУРЕВИЧ: Да нет же, – Николай Мартынов... И Жорж Дантес.

НАТАЛИ (*пользуясь всеобщим оживлением*): Так ты, Лева, теперь чешешь под Дантеса?

ГУРЕВИЧ: Нет-нет, прежде я писал в своей манере, но она выдохлась. Еще месяц тому назад я кропал по десятку стихотворений в сутки – и, как правило, штук девять из них были незабываемыми, штук пять-шесть эпохальными, а два-три – бессмертными... А теперь – нет. Теперь я решил импровизировать под Николая Некрасова. Хотите про соцсоревнование?..

ДОКТОР: Ну, почему же нельзя? Соцсоревнование – ведь это...

ГУРЕВИЧ: Я очень коротко. Семь мужиков сходятся и спорят: сколько можно выжать яиц из каждой курицы-несушки. Люди из райцентра и петухи, разумеется, ни о чем не подозревают. Кругом зеленая масса на силос, свиноматки, вымпела – и вот мужики заспорили:

Роман сказал: 170.

Демьян сказал: 180.

Лука сказал: пятьсот.

Две тысячи сто семьдесят, –

Сказали братья Губины,

Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился

И молвил, в землю глядячи:

131 тысяча 414.

А Пров сказал: Мульон.

Может быть, продолжить?

ДОКТОР (*отмахиваясь*): Нет-нет, не надо... Борис Анатольевич, Наталья Алексеевна, будьте добры, проводите больного до 4-й палаты. И немедленно в ванную. (*Гуревичу*): До... водобоязни, надеюсь, у вас дело еще не дошло?

ГУРЕВИЧ: Не замечал. Если не считать, что с ванной у меня – куча самых кровавых ассоциаций. Вот тот самый микенский царь Агамемнон, о котором я вам упоминал, – так вот, его, по возвращении из Пергама, в ванной зарубили тесаком. А великого трибуна революции Мара...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (не слушая его, обращаясь к доктору): А почему все-таки в 4-ю? Там одни вонючие охломоны... Там он зачахнет, и у него появятся суицидальные мысли. По-моему, лучше в третью. Там Прохоров, Еремин, там его прищучат...

ДОКТОР: «Суицидальные мысли», вы говорите... (к Гуревичу): Еще вам, последний вопрос. Когда-нибудь, пусть даже в самой глубокой тайне, не являлось ли у вас мысли истребить себя... или кого-нибудь из своих ближних?.. Потому что 4-я палата это не 3-я, и нам приходится подчас держать ухо востро...

ГУРЕВИЧ: Положа руку на сердце, я уже отправил одного человека туда – мне было тогда лет... не помню, сколько лет, очень мало, но это все случилось дня за три до новолуния... так мне был тогда больше всего неприятен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик притащил яду, он сказал, что яд безотказен и замедленного воздействия. Я влил все это дядюшке в куриный бульон – и что ж вы думаете? – ровно через 26 лет он издох в страшных мучениях...

ДОКТОР: Мм-дда... Шут с ним, с вашим дядюшкой... А на себя самого – ни разу в жизни не было влечения наложить руки?..

ГУРЕВИЧ: Случалось, и только позавчера, во время Потопа...

ДОКТОР: Всемирного?..

ГУРЕВИЧ: Ничуть не всемирного. Все началось с проливных дождей в Орехово-Зуеве... У нас в последнее время в России началась полоса странных, локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам грудные ребятишки, бульдозеры, и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. Примерно так же обстояло в Орехово-Зуеве: дожди хлестали семь дней и семь ночей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небесными...

ДОКТОР: А какие черти занесли вас в Орехово-Зуево?!. Татарина из московского хозмага..?

ГУРЕВИЧ: О, грустно быть татаринoм – до гроба!

Пришлось подзарабатывать в глуши:
И конформистом, и нонконформистом,
И узурпатором. Антропофагом,
На должности японского шпиона
При институте Вечной Мерзлоты...

Короче, когда на город обрушилась стихия, при мне был челн и на нем двенадцать удалых гребцов-аборигенов. Кроме нас, никого и ничего не было над поверхностью волн... И вот – не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота – вода начала спадать, и показался из воды шпиль горкома комсомола... Мы причалили... Но потом – какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушенных зданий... Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль...

ДОКТОР (*охватив голову, дает понять Борису и Натали, чтоб больного поскорее отвели в палату*).

ГУРЕВИЧ: Еще мгновение, ребята!.. И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие – под моим горлом, – вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, загадал мне загадку: «Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?» Вот тут я понял, что теряю рассудок. И вот – я у вас. (*Приподымается с кресла, ему подчеркнуто учтиво помогает Мордovorот.*) И с того дня – мешанина в голове, ...нахт унд нэбель... все путается, теленки, поросенки, Мамаев курган, Малахов курган...

НАТАЛИ: У тебя не кружится в голове, Лев? Иди тихонько, тихонько. (*Натали ведет его под левую руку, Боренька под правую.*) Все сейчас пройдет, тебя уложат в постель...

ГУРЕВИЧ (*покорно идет*): Но все отчего-то мешается, путается, поросенки, курганы... Генри Форд и Эрнст Резерфорд... Рембрандт и Вилли Брандт.

ДОКТОР (*вслед им*): В 3-ю палату. Глюкоза, пирацетам.

ГУРЕВИЧ (*удаляется с сопровождающими, и голос его все приглушеннее*): Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэрролл... Вера Марецкая и Майя Плисецкая... Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах... (*уже едва слышно*)... Виктор Боков и Владимир Набоков... Энрико Карузо и Робинзон Крузо...

ЗАНАВЕС

ВТОРОЙ АКТ

Ему предшествуют до поднятия занавеса – пять минут тяжелой и нехорошей музыки. С поднятием занавеса зритель видит третью палату, с зарешеченными окнами, и арочный вход в смежную, 2-ю палату. Чтоб избежать междупалатной диффузии, обмена информацией и пр. – арочный переход занят раскладушкой, на ней лежит ВИТЯ, с непомерным животом, который он, чему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с улыбкой ужасающей и застенчивой. Строго диагонально, изогнув шею снизу-слева вверх-направо, по палате мечется просветленный СТАСИК. Иногда декламирует что-то, иногда застывает в неожиданной позе – с рукой, например, отдающей пионерский салют, – и тогда декламации прекращаются. Но никто не знает, на сколько.

СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ, еще вполне юный, сидит на койке почти недвижимо, иногда сползая вниз, постоянно держится за сердце. В волосах и в лишайнике, со странным искривлением губ. На соседней койке КОЛЯ и кроткий старичок ВОВА держат друг друга за руку и покуда молчат. КОЛЯ то и дело пускает слюну, ВОВА ему ее утирает. Пока еще лежит, с головой накрытый простыней, в ожидании **трибунала**, комсорг палаты ПАШКА ЕРЕМИН. На койке справа – ХОХУЛЯ, не поднимающий век, сексуальный мистик и сатанист.

Но самое главное, конечно, – в центре: неутомимый староста 3-й палаты, самодержавный и прыщавый ПРОХОРОВ и его оруженосец АЛЕХА, по прозвищу ДИССИДЕНТ, – вершат (вернее, уже завершают) судебный процесс по делу контр-адмирала МИХАЛЫЧА.

ПРОХОРОВ: Если б ты, Михалыч, был просто змея – тогда еще ничего, ну, змея как змея. Но ты же черная мамба, есть такая южноафриканская змея – черная мамба! – от ее укуса человек издыхает за 30 секунд до ее укуса! На середку, падла!..

(Толстый оруженосец Алеха полотенцем скручивает руки за спиной контр-адмиралу. Поверженный на колени, тот уже не рассчитывает ни на какие пощады.)

ПРОХОРОВ: Как тебе повезло, засранец, дослужиться до такого неслыханного звания: контр-адмирал КГБ? Может, ты все-таки боцман КГБ, а не контр-адмирал?

АЛЕХА: Мичман он, мичман, я по харе вижу, что мичман!..

ПРОХОРОВ: Так вот, мичман, мы тут с Алехой подсчитали все твои деяния. Было бы достаточно и одного... Первого сентября минувшего года ты сидел за баранкой южнокорейского лайнера?.. Результат налицо – Херсонес и Ковентри в руинах... Удивляет только изощренность этой акции: от всех его напалмов пострадали только старики, женщины и дети! А все остальные... – а все остальные – как будто этот хуй над ними и не пролетал!.. Так вот, боцман: к тебе вопиют седины всех этих старцев, слезы всех сирот, потроха всех вдов – к тебе вопиют! Алеха!

АЛЕХА: Да, я тут.

ПРОХОРОВ: Так скажи мне и всему русскому народу: когда этот душегуб был схвачен с поличным, за продажей на Преображенском рынке наших Курил?

АЛЕХА: Позавчера.

КОНТР-АДМИРАЛ (мычит): Неправда это все,

позавчера я был здесь, никуда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня пшенной кашей с подливкой...

ПРОХОРОВ: Это ничего не значит. Сумел же ты, говнюк, за день до этого, не выходя из палаты, осуществлять электронный шпионаж за бассейном Ледовитого Океана. Материалы предварительного следствия лгать не умеют. Сам посуди, сучонок, вообрази, что ты не адмирал, а страница сто семь материалов предварительного следствия, – мог бы ты солгать?

КОНТР-АДМИРАЛ: Ни... никогда.

ПРОХОРОВ: Итак, мы в клубе знатоков: что? где? почему? Так почему нынче Курильские острова? Итуруп – за бутылку андроповки и в рассрочку? Кунашир – почти совсем за просто так... А может быть, эти дельцы от политики – за все это просто подкидывали тебе пиздянки?..

КОНТР-АДМИРАЛ (*напрасно пытается что-то в свое оправдание мычать*).

ПРОХОРОВ: Мало того, этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза. И попутно – нашу синеглазую сестру Белоруссию – расчленил и отдал на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...

СТАСИК (*фланируя мимо, как обычно*): Да. За такие вещи по таким головкам не гладят. Я предлагаю, снять с него штаны и пальнуть из мортиры...

ПРОХОРОВ: Стоп. Я еще не все сказал. У этого пса-мичмана было еще вот какое намерение, поскольку продавать ему было уже нечего – он сумел за одну неделю пропить и ум, и честь, и совесть нашей эпохи, – он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен. Все уже было приготовлено к сделке, но только вот этот наш двурушник немножко ошибся в своих клиентах с Манхеттена. Когда с одним из них он спустился в метрополитен, чтоб накинуть нуж-

ную цену, – этот бестолковый коммерсант-янки решил, что перед ним – балет. А когда тот привел его в балет... *(Всеобщий гул осуждения.)* Гриша! Комсорг! *(Комсорг Пашка Еремин откликается только тогда, когда его называют Гришей.)* Сбрось с себя простыню, не бойсь, сегодня судят не тебя. Скажи свое слово, товарищ!..

ПАШКА ЕРЕМИН: Да очень просто: почему этого удава наша Держава должна еще бесплатно лечить? **Его надо убивать вниз головой!..**

КОЛЯ: Да, так поступали восточные деспоты со всеми агарянами: они запрокидывали им головы и заливали глотку расплавленным свинцом... или холодным вермутом.

СТАСИК: Нет, лучше все-таки стрелнуть в него из арбалета...

КОЛЯ: Из аркебузы... с расстояния в два с половиной поприща...

СТАСИК: Да откуда мы здесь достанем аркебузу?.. А мортиру можно из чего-нибудь сплести. У медсестрички мыла можно выпросить хозяйственного и немножко аксельбантов...

АЛЕХА: Ха-ха, ты еще позументов у нее попроси... По-моему, отдать этого изверга на съедение Витеньке!..

(Возгласы одобрения. Все оборачиваются в сторону Вити. Однако Витя, не переставая улыбаться и поглаживать пузо, делает отвергающее движение розовой своей головой.)

ПРОХОРОВ: Молись, Михалыч! В последний раз молись, адмирал!

МИХАЛЫЧ *(уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то бормотать, приблизительно такое):* За Москву-мать не страшно умирать, Москва – всем столицам голова, в Кремле побывать – ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР – всему миру пример, Москва – Родины украшение, врагам устрашение...

ПРОХОРОВ: Так-так-так-так...

МИХАЛЫЧ (*трясаясь, продолжает, и все так же нехстати*): Кто в Москве не бывал – красоты не видал, за коммунистами пойдешь – дорогу в жизни найдешь, Советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов...

ПРОХОРОВ: Довольно, мичман!.. блестящий молитвослов... По-моему, никаких арбалетов не нужно, а просто растворить его в каком-нибудь химическом реактиве, чтоб он к вечеру состоял из одной протоплазмы... Только – для чего в нашем отделении лишняя протоплазма, от нее уже и так дышать нельзя. Лучше – под трибунал!.. Коля, утрите свои слюни. Как вы считаете, Коля, – много в нашем отделении протоплазмы?

КОЛЯ: Очень много... я уже не могу...

ПРОХОРОВ: Ясно. Трибунал. Конечно, сейчас он жалок, этот антипартийный руководитель, этот антигосударственный деятель, **антинародный** герой, ветеран трех контрреволюций, он беспомощен и сир, понятное дело, на скромные ассигнования ФБР долго не протянешь... Но все его бормотания и молитвы – это привычное кривляние наших извечных недругов. Это **извечное** кривляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших кривляк. (*Прохоров вдохновенно прохаживается.*) Такие вот антикремлевские мечтатели рассчитывают на наше с вами снисхождение. Но мы живем в такие суровые времена, когда слова типа «снисхождение» разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутят. Трибунал. Именем народа, боцман Михалыч, ядреный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заточению во все крепости России – разом! (*Почти всеобщие аплодисменты.*) А пока – за неимением инвентаря – потуже прикрутите его к кровати. Пусть обдумает свое последнее слово.

(Алеха и Пашка опрокидывают адмирала в постель и – простынями и полотенцами – прикручивают, так чтоб тот не мог шевельнуть ни одним своим суставом и членом.)

МЕДСЕСТРИЧКА ЛЮСИ (*врывается в палату, привлеченная кряхтением палачей и оглушительным рычанием жертвы*): Что здесь происходит, мальчишки?.. Оставьте его в покое... Что ни день у вас – то суд и расправа. Где тут лишняя койка? (*Открывает шкаф и вынимает комплект чистого белья, бойко швыряет на порожний матрас.*) Скоро – обход. Ти-ши-на..!

АЛЕХА (*тихо берет за плечи крохотулю Люси и, выпятив одновременно пузо и глаза-фурункулы, выделяет вокруг нее томные, танцевальные движения, а потом поет свою коронную, предварительно ударив себя в пузо и тряхнув головой*):

Мне долго-долго будет сниться
Моя веселая больница,
А еще дольше будет сниться
Твоя шальная поясница.

ПРОХОРОВ: Алеха! Припев!

АЛЕХА: Алеха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Ал-лех-ха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум! (*по животу*)
Обязательно,
Обязательно
Я на рыженькой женюсь!
Пум-пум-пум-пум!
Отстегнула все застежки,
Распахнула все одежды,
И едва дыханье жизни
Из ноздрей не улетело.

В трюме мичман обо...ся,
Боцман палубу грызет!
Хо-хо-хо-хо!

ПРОХОРОВ: Припев, Алеха!

АЛЕХА: Аль-лехха жарит на гитаре,
Но у него не выйдет ничего!
Пум-пум-пум-пум!
Да ну и пусть он жарит на гитаре –
Ведь все равно не выйдет ничего!
А я... (*осклабляясь*) А я... –
Обязательно,
Обязательно...

(Привычно фыркая, Люси ускользает к дверям. И наталкивается на входящего в палату ГУРЕВИЧА, в желтой робе, как у всех, и в мокрых волосах. На лице не заметно следов побоя – но общая побитость очень даже заметна, да и всем понятна: Боренька, санпропускник...)

ЛЮСИ: Ой, новенький... Ваша койка первая слева... стелите свою постельку, я могу вам помочь, если что не так...

ГУРЕВИЧ (*яростно*): Сам! Сам! Провались, девка!..

(Люси исчезает. Пение на время прерывается. Гуревич комкает все белье и швыряет его в угол кровати, потом смотрит направо: розовый Витя с аппетитом на него смотрит, поглаживает живот все любовнее и облизываясь, иногда отворачиваясь в подушку, чтоб подавить в себе смешок, ему одному ведомый. Гуревич с полминуты его разглядывает, ему становится не совсем вмоготу, – он смотрит на соседа слева: оплетенный со всех сторон, контр-адмирал все еще что-то шепчет, с лицом скудеющим и окаянным. Над ним наклонен Стасик.)

СТАСИК: Сейчас по всему миру все могильщики социализма – все исповедуются и причащаются... А ты почему, дедушка, не хочешь?..

ПРОХОРОВ (подступая. Следом за ним – *Алеха-Диссидент, как Елисей за Илиею. К Стасику*): Цыц, моя радость! Дай потолковать с человеком...

СТАСИК: Нет-нет, ему нужна минута самоуглубления... ..Вы плохо знакомы с Востоком... Ты погружаешься в воды, ну... или тебя погружают, но ты ощущаешь: канули в вечность те времена, когда тебя не существовало, – тебя омывают, следовательно ты есть... Когда купается наложница китайского императора в Бассейне Сплетающихся Орхидей – он так и называется: бассейн сплетающихся орхидей, – так в него добавляют 12 эссенций и 17 ароматов...

КОЛЯ (подступая сзади): ...Но кто после этого облекается в желтое одеяло, не зная истины и самоограничения, – тот не достоин желтого одеяла. Ты можешь мне разъяснить эту дхарму?!

ПРОХОРОВ: Шел бы ты под хуй со своими дхармами!.. Человеку только что в ванной навешали пиздюлей! причем тут дхармы? Продолжай, Стас...

СТАСИК: И вот. Я перехожу из ванной с орхидеями, минуя все залы дхарм (*взгляд в сторону паршивца Коли*) – перехожу из бассейна в зал Благовоний, а из зала Благовоний – в зал Песнопений. Те, кто по пути мне встречаются, говорят мне: «Благословенный, не ходи в манговую рощу». А я иду, мне говорят три девушки, одна такая лунная-лунная, а другая – пасторальная вся, в венце из одуванчиков, конечно, а уж на третью я и не смотрю. Я разрываю все узы, постигаю все дхармы и не стремлюсь ни к одной из услад, я перешагиваю через третью, патетическую, даму – и ухожу из зала Песнопений – в манговую рощу. 80 тысяч гималайских слонов следуют за мною, они мне говорят о тщетности печали...

ПРОХОРОВ: Ты знаешь чего, Стас, ты хоть на несколько минут – уябывай в свои манговые рощи, дай поговорить с евреем... Ты по какому делу и как звать?

ГУРЕВИЧ: Гуревич.

ПРОХОРОВ: Я так и думал, что Гуревич... А – случайно – не по этому..? (*Делает известный по горлу щелчок.*)

ГУРЕВИЧ: Ну... в том числе...

ПРОХОРОВ: Я так и думал. Евреи иногда очень даже любят выпить... в особенности за спиной арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей – спокойствия как не бывало, и начинается гибельный сюжет. Мне рассказывал мой покойный дед: у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо. Как их там? косулей – невпроворот. И пруд был весь в лебедях белых, а на берегу пруда цвел родо-ден-дрон. И вот в деревню эту приехал лекарь, по имени Густав... Ну уж не знаю, насколько он был Густав, но жид – это точно. И что же из этого вышло? – не я рассказываю, рассказывает дед. До появления этого Густава – зайцев было столько в округе, что буквально спотыкаешься об них, по ним скользишь и падаешь... Так исчезли для начала все зайцы, потом косули – нет, он в них не стрелял, они пропадали сами собой. (*Алехе*): Позови старичка Вову.

ОВОА (*подходит. Взглянув сначала на Витю, потом на контр-адмирала, подрагивая, ждет подвоха...*)

ПРОХОРОВ: Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что ты на берегу пруда... произрастаешь... тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда – жид, сидит и на тебя смотрит..?

ОВОА: Нет, не могу... что вот произрастаю и...

ПРОХОРОВ: Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, Вова: ты – белая лебедь и сидишь на берегу пруда – а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя...

ОВОА: Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу... могу представить, что я стая белых лебедей...

ПРОХОРОВ: Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей, на берегу пруда, – а напротив...

ВОВА: Ну, я, конечно, разлетаюсь... кто куда... страшно...

ПРОХОРОВ: Алеха, уведи Вовочку... Вот видишь, Гуревич?

ГУРЕВИЧ (с трудом улыбается): Ну, ладно. (Стревогой взглядывает в сторону Вити, потом наблюдает, как сосед адмирал делает вздорные попытки вырваться из пут.) А этого за что?

ПРОХОРОВ: Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит. Все бы ничего, но мы тут как-то стояли в туалете, зашла речь о спирте, о его жуткой калорийности, – так этот вот говноед ляпнул примерно такое: из всех поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности, – весьма примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил за ногу вниз – а этаж все-таки четвертый – и так держал, пока он не отрекся от своих еретических доктрин... Сегодня он, решением Бога и Народа, приговорен к вышке... Я не очень верю, что вначале было Слово, но хоть какое-то задрипанное – оно должно быть в конце, так что пусть этот пиздобол лежит и размышляет...

ГУРЕВИЧ: А скажи мне, Прохоров, тебя облекли полномочиями... э-э-э... в одной только этой палате или..?

ПРОХОРОВ: Да, конечно, нет! Всё, что по ту сторону Вити (оба взглядывают туда, Гуревич отворачивается), – это всё мои подмандатные территории, но тебе повезло: завтрашний процесс будет внутрипалатным, да еще уголовным, к тому же. **Гриша!!!** Сними с себя простыню! Это Пашка Еремин, комсорг, так вроде ничего, подонок как подонок, но дело серьезное – членовредительство в семье Клейнмихель!

СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ (заслыша свою фамилию, встает и подползает в сторону Прохорова): Запи-

шите: у мамы только одна нога осталась на месте... все другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете... А крестная в это время ушла за бубликами...

ГУРЕВИЧ: Мдаа... в самом деле... Крестная ушла за бубликами – какой смысл кричать?

СТАСИК (как всегда проходя мимо): У всех у нас крестные за бубликами поразошлись: кричи-кричи – ни до кого не докричишься...

СЕРЕЖА: Да нет же... При чем тут бублики?... Ну как вы не понимаете? Ведь он сначала оторвал ей голову, а уж потом...

ПРОХОРОВ: До завтра, до завтра все это. До завтра, Сережа, уползи. Так вот, слушай меня, Гуревич; как видишь, у нас случаются мелкие бытовые несообразности. А так – у нас жить можно. Недели две-три тебя поколют, потом таблетки, потом пинка под жопу – и катись. У нас даже цветной телевизор есть. Кенор с канарейкой. Они только сегодня помалкивают – поскольку завтра Первомай. А так – поют. Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать, – а это ли не высшая аттестация для вокалиста, а, Гуревич? А вон там, повыше, с самого верху – попугай, родом, говорят, из Хиндустана. ...А может быть, и в самом деле из Хиндустана, наверняка оттуда, потому что молчит целые сутки. Молчит, молчит. Но как только пробьет шесть тридцать утра, – вот ты увидишь, – он начинает, не гнусава, не металлически, а как-то еще в тыщу раз попугаевее: «Влади-мир Сергеич! ...Влади-мир Сергеич! на работу – на работу – на работу – на хуй – на хуй – на хуй – на хуй». А потом – потом чуток помолчит, для куражу, и снова: «Влади-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу (все учащеннее) на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй...» И все это ровно в 6. 30, можно даже не справляться по курантам и рубиновым звездам... А вот от шашек и домино ничего не осталось – всё слопал Витя, одну за другой. Чудом уце-

дела шесть-шесть, Хохуля спрятал ее под подушку и сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выигрывал. А дня через три – небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается. Все кончается тем, что Хохуля впадает еще в какую-то прострацию, глохнет и становится сексуальным мистиком... А Витя тем временем берет за шахматы...

ГУРЕВИЧ (*рассматривает: на тумбочке в центре палаты лежит пустая шахматная доска, и на ней – белый ферзь*).

СТАСИК (*подскакивая*): И ведь всё умял! почему только жалеет до сих пор белую королеву? Он ведь у нас такой бедовый: и тайм-аут съел, и ферзевый гамбит, и сицилианскую защиту...

ПРОХОРОВ: Вот что, Витя (*присаживается к Вите на постель*), Витя. Ты скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их скушал просто из нравственных соображений, да? Они показались тебе слишком азартными? Здесь рядом со мной доктор из центра (*показывает на Гуревича*). О! Это **такой** доктор! (*палец вверх*). Он любопытствует: отчего ты так много кушаешь! Тебе не хватает фуражу-провианту?..

ВИТЯ (*не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыдливо прикрывается рукавом*): Вкусно...

ПРОХОРОВ: А белого ферзя почему пожалел? а?

ВИТЯ: Жалко... Он такой одинокий...

ПРОХОРОВ: Понимаю... А скажи мне, Витенька, – тебе и во сне одна только жратва снится?..

ВИТЯ: Нет, нет... Царевна...

ПРОХОРОВ: Царевна? ...Мертвая?

ВИТЯ: Да нет, живая царевна... И вся из себя такая и с голубым бантиком. Как золушка... а вокруг нее все принц ходит... и все бьет ее по голове хрустальным башмачком...

ПРОХОРОВ: А ты бы съел ...этот хрустальный башмачок? *(показывает: Ав-Ав!)*

СТАСИК: Его не Витя надо называть. Его надо называть Нина. Чав-чав-адзе...

ВИТЯ: А башмачок съел бы... чтоб он только ее не бил.

ГУРЕВИЧ: Ну, а если уж царевна мертвая, ну, то есть, он ее добил? До смерти. Ты съел бы мертвую царевну?

ВИТЯ *(улыбается)*: Да...

ГУРЕВИЧ: А если бы 7 богатырей при ней – то как же?

ВИТЯ: И семь богатырей бы тоже...

ГУРЕВИЧ: Ну, а тридцать три богатыря..?

ВИТЯ: Да... если б медсестрички не торопили... конечно...

ГУРЕВИЧ: А... послушай-ка... А двадцать восемь героев-панфиловцев?

ВИТЯ *(с той же беззаботной и страшной улыбкой)*: Да... *(мечтает)*.

ГУРЕВИЧ *(упорно)*: А... двадцать шесть бакинских комиссаров – неужели тоже?..

ПРОХОРОВ *(врывается в беседу)*: Ну, всё: завтра мы тебе и комсорга Пашку. Какая тебе разница? От адмирала ты отказался – я тебя понимаю. Адмиралы – они хрустят на зубах, а вот настоящие комсорги – никогда не хрустят... Сережа! Клейнмихель! Подойди сюда... скажи... Замечал ли ты на лице преступника следы хоть малого раскаяния?

СЕРЕЖА: Нет, не замечал... И мама моя покойная в тот день мне моргнула: понаблюдай, мол, за Пашкой – будет ли ему хоть немножко стыдно, что он со мной так поозоровал, – нет, ему не было стыдно, он весь вечер после того водку пьянствовал и дисциплину хулиганил... И запрещал мне форточку проветривать, чтоб в доме мамой не пахло...

СТАСИК (*проходя мимо, как всегда*): Приятно все-таки жить в эпоху всеобщего распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека лимфатических желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, – это еще ладно. И то, что лишили дынь, – чепуха, можно прожить и без дынь. И плебисцитов нам не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы...

(Покуда витийствовал Стасик, растворились обе двери 3-й палаты, и на пороге – медбрат Боренька и медсестра Тамарочка. Оба они не смотрят на больных, а **харкают** в них глазами. Оба понимают, что одним своим появлением вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь – которой много и без того.)

ПРОХОРОВ: Встать! Всем встать! Обход!

(Все медленно встают, кроме Хохули, старичка Вовы и Гуревича.)

БОРЯ-МОРДОВОРОТ (*у него из-под халата – ухоженный шоколадный костюм и, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом обличии его редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой медбрат в Первوماйскую ночь. Шутейно подступает к Стасику, который застыл в позе «с рукой под козырек»*): Так тебе, блядина, значит: не хватает каких-то там желез?..

ТАМАРА: Не бздюмо, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте.

БОРЯ (*играя и молниеносно бьет Стасика в поддых, тот в корчах опускается на пол*).

ТАМАРА (*указывая пальцем на Вову*) А этот засратый сморчок – почему не встает, **вопреки приказу?**

БОРЯ: А это мы спросим у него самого... Вовочка, есть какие жалобы?

ОВОА: Нет... на здоровье жалоб никаких... Только я домой очень хочу ... Там сейчас медуницы цветут... конец апреля... Там у меня, как сойдешь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними...

МЕДБРАТ БОРЯ (*поправляя галстук*): Ннну... я житель городской, в гробу видал все твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?

ВОВА: Ну, как сказать?... синенькие они, лазоревые... ну, как в конце апреля небо после заката...

МЕДБРАТ БОРЯ (*под смех Тamarочки – ногтями впивается в кончик Вовиноного носа и делает несколько вращательных движений. Вовин нос становится под цвет апрельской медуницы. Вова плачет*).

БОРЯ (*продолжает обход*): Как дышим, Хохуля? Минут через пять к тебе придет Игорь Львович, с веселым инструментом, придется немножко покорячить... А тебе что, Коленька?

КОЛЯ: У меня жалоба. Я в этой палате уже который год. Потому мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит... Но ведь я давно уже не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат и держат...

ТАМАРОЧКА (*тем временем, привлеченная зрелищем справа: Сережа Клейнмихель, отвернувшись к окошку, тихонько молится*): А! Ты опять за свое, припизднутый! (*Раздувая сизые щеки, направляется к нему.*) Сколько раз тебя можно учить! Сначала – к правому плечу, а уж потом – к левому. Вот, смотри! (*Хватает его за шиворот и, сплюнув ему в лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потом – с размаху – в правое плечо, потом в левое, потом под ребра.*) Повторить еще раз? (*Повторяет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым удалством.*) Говно на лопате! еще раз увижу, что крестишься, – утоплю в помойном ведре!..

БОРЯ: Да брось ты, Томочка, руки марать. Подика лучше сюда. (*Отшвырнув Колю, движется в сторону адмирала, Вити и Гуревича. За ним – свита: староста Прохоров, Алеха-Диссидент и Тamarочка.*)

ПРОХОРОВ: Товарищ контр-адмирал, как видите, не может стать перед вами во фронт. Наказан за буйство и растленную агентурность. Вернее, за агентурную растленность и буйство.

БОРЯ: Понятно, понятно... (Краем глаза скользнув по Гуревичу, вдумчиво грызущему ногти, – проходит к Вите. Витя, с розовой улыбкой, покоится в раскладушке, разбросанный как гран-пасьянс.)

ТАМАРОЧКА: Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце... (Широкой ладонью, смаху, шлепает Витю по животу. У Вити исчезает улыбка.) Как обстоит дело с нашим пищеварением, Витюнчик?

ВИТЯ: Больно...

БОРЯ (хохочет вместе с Тamarочкой): А остальным нашим уважаемым пациентам – разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой – а почему, Витюша? Очень просто: ты доставил им боль, ты лишил их интеллектуальных развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что вот: давай договоримся, сегодня же...

ТАМАРОЧКА: ...сегодня же, когда пойдешь насчет по...ать, – чтобы все настольные игры были на месте. Иначе – придется начинать вскрытие. А ты сам знаешь, голубок, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы...

ПРОХОРОВ (между тем, с тревогой следит за Алей-Диссидентом. Но об этом речь чуть пониже).

МЕДБРАТ БОРЯ (расставив ноги в шоколадных штанах и скрестив руки, застывает над сидящим Гуревичем): Встать.

ТАМАРОЧКА: А почему у этого жиденка до сих пор постель не убра́та?..

БОРЯ (все так же негромко): Встать. (Гуревич остается погруженным в себя самого. Всеобщая тишина.)

БОРЯ (одним пальчиком приподымая подбородок Гуревича): **Встать!!!**

ГУРЕВИЧ (тихонько подымается и – врасплох для всех – с коротким выкриком – вонзает кулак в челюсть Бореньки. Несколько секунд тишины, если не принимать в расчет Тamarочкина взвизга. Боренька, не изме-

нившись ни в чем, хладнокровно, хватает Гуревича, подымает его в воздух и со всею силою обрушивает об пол. С таким расчетом, чтобы тот боком угодил о край железной кровати. Потом – два-три пинка в район печенки, просто из пижонства).

БОРЯ (к Тamarочке): Больному приготовить сульфу, укол буду делать сам.

ПРОХОРОВ: Что ж поделаешь, Борис... Новичок... Бред правдоискательства, чувство ложно понятой чести и прочие атавизмы...

МЕДБРАТ БОРЯ: А тебе бы лучше помолчать. Жопа. (Люди в белых халатах удаляются.)

ПРОХОРОВ: Алеха!

АЛЕХА: Да, я тут.

ПРОХОРОВ: Первую помощь всем пострадавшим от налета!.. Стасик, подымайся, ничего страшного, они упиздюхали. Ничего экстраординарного. Все лучшее – еще впереди. Сначала – к Гуревичу...

(Прохоров и Алеха, со слабой помощью Коли, втаскивают на кровать почти не дышащего Гуревича, накрывают его одеялами, обсаживают.)

ПРОХОРОВ: Всем хороши эти люди, евреи. Но только вот беда – **жить** они совсем не умеют. Ведь они его теперь вконец ухайдакают... это точно. (Шепотом): Гу-ре-вич...

ГУРЕВИЧ (немножко стонет, и говорить трудно): Ничего... не ухайдакают... Я тоже... готовлю им ...подарок...

ПРОХОРОВ (в восторге от того, что Гуревич жив и мобилен): Первомайский подарок, это славно. Только ведь сначала они тебе его сделают, минут через пять... Рассмешить тебя, Гуревич, в ожидании маленькой пытки? За тебя расплатится мой верный наперсник, Алеха. Ты знаешь, как он стал диссидентом? Сейчас расскажу. Ты ведь знаешь: в каждом российском селении есть при-

дурок... Какое же это русское селение, если в нем ни одного придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до сих пор нет ни одной Конституции... Так вот: Алеха в Павлово-Посаде ходил в таких **задвинутых**. На вокзальной площади что-нибудь подметет, поможет погрузить... но была в нем пламенная страсть, и до сих пор осталась... Алеха ведь у нас исполин по части физиогномизма, – ему стоит только взглянуть на мордасы – и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот ублюдок. Безошибочным раздражителем вот что для него было: отутюженность и **галстух**. И что он делал? – он ничего не делал, он незаметно приближался к своей жертве, сжимая ноздрю – издали – и – вот то, что надо, уже висит на галстук. Весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординаций... Два месяца назад его приволокли сюда.

ГУРЕВИЧ: Чудесно... Сколько я приглядывался к нации... чего она хочет... именно такие сейчас ей нужны... без всех остальных... она обойдется...

ПРОХОРОВ: А четкость! четкость, Гуревич! Великий Леонардо, ходят слухи, был не дура по части баллистики. Но что он против Алехи! Ал-ле-ха!

АЛЕХА: Я все время тут.

ПРОХОРОВ: Ну вот и отлично. А ты не находишь, Алеха, что твоя метода борьбы с мировым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы все понимаем, дело в белых перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых... италяшек всяких...

АЛЕХА: Упаси Господь, я читаю только маршала Василевского... и то говорят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на восток...

ПРОХОРОВ (*пробуя еще хоть чуть-чуть развеселить Гуревича перед пыткой*): Современное диссидентство, в лице Алехи, упускает из виду то, что во-первых надо выдирать с корнем – а уж потом выдерется с тем же поганым корнем и все остальное, – надо менять наши улицы и площадь: ну, посудите сами, у них Мост Любковых Вздохов, переулок святой Женевьевы, Бульвар Неясного Томления и все такое... а у нас – ну, перечислите улицы своей округи, – душа зачахнет. Для начала надо так: Столичная – посередке, конечно, параллельно – Юбилейная, в бюстиках и тополях. Всё пересекает и всё затмевает Московская Особая. В испуге от ее красот от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская Степная, Старорусская, Полынная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие. И какие через все это переброшены мосты: Белый Крепкий, Розовый Крепленный – какая разница? – а у их подножия – отели: «Бенедиктин», «Шартрез» – высятся вдоль набережной – а под ними гуляют кавалеры и дамы, кавалеры будут смотреть на дам и на облака, а дамы – на облака и на кавалеров. А все вместе будут пускать пыль в глаза народам Европы. А в это время народы Европы, отряхнув пыль...

Снова распахиваются двери палаты. Старший врач больницы Игорь Львович Ранинсон. За ним – медбрат Боря, со шприцем в руке. Шприц никого не удивляет – все рассматривают диковинный чемодан в руках Ранинсона.

БОРЯ: Вон туда (*показывает Ранинсону в сторону Хохули. Ранинсон – непроницаем. Хохуля – тоже. Ранинсон, раскладывая свой ящик с электрошнурами, брезгливо осматривает пациента. Пациент Хохуля вообще не смотрит на доктора, у него своих мыслей довольно.*)

БОРЯ (*приближаясь к постели Гуревича*): Ну-с... Прохоров, переверните больного, оголите ему ягодицу.

ГУРЕВИЧ: Я... сссам (со стоном переворачивается на живот, *Алеха и Прохоров ему помогают*).

МЕДБРАТ БОРЯ (без всякого злорадства, но и не без демонстрации всесилия, стоит с вертикально поднятым шприцом, чуть-чуть им попрыскивая. Потом наклоняется и всаживает укол): Накройте его.

ПРОХОРОВ: Ему бы надо второе одеяло, температура подскочит за ночь выше сорока, я ведь знаю...

БОРЯ: Никаких одеял. Не положено. А если будет слишком жарко – пусть гуляет, дышит... Если сумеет шевельнуть хоть одной левой... Гуревич! Если ты вечером не загнешься от сульфазина, – прошу жаловать ко мне на ужин. Вернее, на маевку. Слабость твоя, Наталья Алексеевна, сама будет стол сервировать... Ну, как?..

ГУРЕВИЧ (с большим трудом): Я... буду...

БОРЯ (хохочет, но совсем упускает из виду, что с одним пальцем на ноздре к нему приближается диссидент *Алеха*): А мы сегодня – гостеприимны... Я – в особенности. Угостим тебя по-свойски, инкрустируем тебя самоцветами...

ГУРЕВИЧ: Я же... я же... сказал, что буду... Приду...

АЛЕХА (действительно, со знанием дела, выстреливает правой ноздрей. Палата оглушается криком, никем в палате пока еще не слышанным: дело в том, что доктор *Ранинсон* сделал свое высоковольтное дело с бедолагой *Хохулей*).

БОРЯ (хватая за горло диссидента *Алеху*): А с тобой – с тобой потом... Знаешь, что, *Алешенька*, – *Игорь Львович* здесь... Как только он уйдет – мы с тобой отсморкаемся, хорошо? (*Носовым платком оттирая галстук.*)

РАНИНСОН (проходя через палату с дьявольским своим сундучком, озирает больных: на всех физиономиях, кроме *прохоровской* и *алехиной*, лежит печать вечности – но вовсе не той Вечности, которой мы все ожи-

даем): С наступающим праздником международной солидарности трудящихся всех вас, товарищи больные. Пойдемте со мной, Борис Анатольевич, вы мне нужны. (Уходят.)

ПРОХОРОВ (как только скрываются белые халаты, повисает на шее Алехи-диссидента): Алеха! да ты же – гиперборей! Алкивиад! смарагд! да ты же Мюрат, на белом коне вступающий на Арбат! Ты Фарабундо Марти! Нет, русский народ не скудеет подвижниками, и никогда не оскудеет! Судите сами: не успел окачуриться яснополянский граф – пожалуйста, уже в пеленках лежит товарищ Кокинаки... и уже воскрылился у него за плечами! В 21-м году отдает концы Александр Блок, – ничего не поделаешь, все мы смертны, даже Блок, – и что же? Ровно через полтора года рождается Космодемьянская Зоя!.. Бессмертная!..

ГУРЕВИЧ (одобрительно приподымается на локте): Совершенно верно, староста.

АЛЕХА (окрыленный): Надо было и в Игоря Львовича пальнуть чуток...

ПРОХОРОВ: Ну ты, витязь, даешь..! Вот это было бы излишне... Не будем усложнять сюжет происходящей драмы... мелкими побочными интригами... Правильно я говорю, Гуревич?.. Человечество больше не нуждается в дюдюктивностях, человечеству дурно от острых фабул...

ГУРЕВИЧ: Еще как дурно... Да еще – зачем затевать эти фабулы с ними? Ведь ...их же, в сущности, нет... Мы же психи... а эти, фантазмагории, в белом, являются нам временами... Тошнит, конечно, но что же делать? Ну, являются... ну, исчезают... ставят из себя полнокровных жизнелюбцев...

ПРОХОРОВ: Верно, верно, и Боря с Тamarочкой хохочут и обжимаются, чтоб нас уверить в своей всамделишности... что они вовсе не наши химеры и бреды, – а взаправдашние...

ГУРЕВИЧ: Поди-ка ко мне. Прохоров... к вопросу о химерах... Вот это вот (*показывая на укол*) – это долго будет болеть?

ПРОХОРОВ: Болеть? ха-ха. «Болеть» – не то слово. Начнется у тебя через час-полтора. А дня через три-четыре ты, пожалуй, сможешь передвигать свои ножки. Ничего, Гуревич, рассосется... Я тебя развлеку, как сумею: буду петь тебе детские песенки товарища Раухвергера... или там Оскара Фельдмана, Френкеля, Льва Книппера и Даниила Покрасс... короче, все, что на слова Симеона Лазаревича Шульмана, Инны Гофф и Соломона Фогельсона...

ГУРЕВИЧ: Прохоров... умоляю...

ПРОХОРОВ: И не умоляй, Гуревич... Мы с Алехой на руках оттащим тебя к цветному телевизору. Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Хейфиц и Ромм, Эрмлер, Столпер и Файнциммер. Суламифь Моисеевна Цыбульник. Одним словом, боли в тазобедренном суставе у тебя поуважатся. А если не поуважатся – к твоим услугам Волькенштейн, Кригер, Гребнер, Крепс – всем хорош парень, но зачем он начал работать в соавторстве с Гендельптейном?..

ГУРЕВИЧ: А скажи, Прохоров, есть какое-нибудь, от этого укола «сульфы», в самом деле облегчающее средство? Кроме Файнциммера и Суламифи Моисеевны Цыбульник?

ПРОХОРОВ: Ничего нет проще. Хороший стопарь водяры. А чистый спирт – и того лучше... (*шепчет на ухо Гуревичу нечто*).

ГУРЕВИЧ: И это – точно?

ПРОХОРОВ: Во всяком случае, Натали сегодня заменяет и дежурную хозяйку. Все ключи у нее, Гуревич. Она их не доверяет даже своему бэль-ами, Бореньке Мордвороту...

ГУРЕВИЧ (*цепенеет, пробует встать*): Вот оно что... (*и снова цепенеет от такой неслыханности*). У меня есть мысль.

ПРОХОРОВ: Я догадываюсь, что это за мысль.

ГУРЕВИЧ: Нет-нет, гораздо дерзновеннее, чем ты думаешь... Я их взорву сегодня ночью!

(За дверью голос медсестрички Люси: «Мальчики, на укольчики!» «Мальчики! в процедурный кабинет, на укольчики!» В 3-й палате никто не вмешивается. Один только Гуревич делает пробные шаги.)

ГУРЕВИЧ (*еще шепчет что-то Прохорову. Потом*):

Так я вернусь. Минут через пятнадцать,
Увенчанный или увечный. Все равно.

ПРОХОРОВ: Bravo! да ты поэт, Гуревич!

ГУРЕВИЧ: Еще бы! пожелай удачи... Буду
Иль на щите и с фонарем под глазом
фьолетовым, но... но всего скорей,
И со щитом. И – и без фонарей.

ЗАНАВЕС

ТРЕТИЙ АКТ

Лирическое интермеццо. Процедурный кабинет. Натали. Сидя в пухлом кресле, кропает какие-то бумаги. В соседнем, аминазиновом, кабинете – его отделяет от процедурного какое-то подобие ширмы – молчаливая очередь за уколами. И голос оттуда – исключительно Тмарочкин. И голос – примерно такой: «Ну, сколько я давала тебе в жопу уколов! – а ты все дурак и дурак!.. Следующий!! Больно? Уж так я тебе и поверила! уж не пизди, маманя!.. А ты – чего пристал ко мне со своим аспирином? Фон-барон какой! Аспирин ему понадобился! Тихонечко и так подохнешь! без всякого аспирина. Кому ты вообще нужен, разъебай?.. Следующий!..»

Натали настолько с этим свыклась, что и не морщится, да и не слушает. Она вся в своих отчетных писульках. Стук в дверь.

ГУРЕВИЧ (*устало*): Натали?..

НАТАЛИ: Я так и знала, ты придешь, Гуревич. Но – что с тобой?..

ГУРЕВИЧ: Немножечко побит.
Но – снова Тасс у ног Елеоноры!..

НАТАЛИ: А почему хромает этот Тасс?

ГУРЕВИЧ: Неужто непонятно?.. Твой болван
Мордovorот совсем и не забыл...
Как только ты вошла в покой приемной,
Я сразу ведь заметил, что он сразу
Заметил, что...

НАТАЛИ: Какой болван? Какой Мордovorот?
Причем тут Борька? Что тебе сказали?
Как много можно наплести придурку
Всего за два часа!.. Гуревич, милый,
Иди сюда, дурашка...

(И наконец, объятия. С оглядкой на входную дверь.)

НАТАЛИ: Ты сколько лет здесь не был, охломон?

ГУРЕВИЧ: Ты знаешь ведь, как измеряют время
И я, и мне чумоподобные... (*нежно*): Наталья...

НАТАЛИ: Ну, что, глупыш?.. Тебя и не узнать.
Сознайся, ты ведь пил по страшной силе...

ГУРЕВИЧ: Да нет же... так... слегка... по време-
нам...

НАТАЛИ: А ручки, Лева, отчего дрожат?

ГУРЕВИЧ: О милая, как ты не понимаешь?!

Рука дрожит – и пусть ее дрожит.
Причем же здесь водяра? Дрожь в руках
Бывает от бездомности души,

(тычет себя в грудь)

От вдохновенности, недоеданья, гнева
И утомленья сердца,
Роковых предчувствий.
От губельных страстей, алканной встречи

(Натали чуть улыбается)

И от любви к отчизне, наконец.
Да нет, не «наконец»! Всего важнее –
Присутствие такого божества,
Где ямочка, и бюст, и...

НАТАЛИ (*закрывает ему рот ладошкой*): Ну, понес, балаболка, понес... Дай-ка лучше я тебе немножко глюкозы волью... Ты же весь иссох, почернел...

ГУРЕВИЧ: Не по тебе ли, Натали?

НАТАЛИ: Ха-ха! Так я тебе и поверила. (*Встает, из правого кармана халатика достает связку ключей, открывает шкаф. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами. Гуревич, кусая ногти по обыкновению, не отрывает взгляда ни от ключей, ни от колдовских телодвижений Натали.*)

ГУРЕВИЧ: Вот пишут: у маленькой морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно то же самое... Но две остальные трети меня сегодня почему-то больше тревожат. Да еще эта победоносная заколка в волосах.

Ты – чистая, как прибыль. Как роса
На лепестках чего-то там такого.
Как...

НАТАЛИ: Помолчал бы уж... (*подходит к нему со шприцом*) Не бойся, Лев, я сделаю совсем-совсем не больно, ты даже не заметишь.

Начинает процедуру, глюкоза потихоньку вливается. Она и он смотрят друг на дружку.

Голос ТАМАРОЧКИ (*по ту сторону ширмы*): «Ну чего, чего ты орешь, как резаный? Перед тобой – колола человека, – так ему хоть бы хуй по деревне... Следующий! Чего-чего? Какую еще наволочку сменить? Заебешься пыль глотать, братишка... Ты! хуй неумытый! Видел у пищеблока кучу отходов? так вот завтра мы таких умников, как ты, закопаем туда и вывезем на грузовиках... Следующий!»

НАТАЛИ: Ты о чем задумался, Гуревич? Ты ее не слушай, ты смотри на меня.

ГУРЕВИЧ: Так я так и делаю. Только я подумал: как все-таки стремглав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамар – до этой вот Тamarочки. От Франсиско Гойи – до его соплеменника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря – к Цезарю Кюи, – а от него уж совсем – к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко – до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? – если от Иммануила Канта – до «Степного музыканта». А от Витуса Беринга – к Герману Герингу. А от псалмопевца Давида – к Давиду Тухманову. А от...

НАТАЛИ *(на ту же иглу накручивает какую-то новую хреновину и продолжает вливать еще что-то)*: А ты-то, Лев, ты – лучше прежних Львов? Как ты считаешь?..

ГУРЕВИЧ: Не лучше, но *иначе* прежних Львов. Со мной была история – вот какая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали – Бог весть, чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное: у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта – да еще бы, при таком-то морозе! А у меня вот – нет. И они это заметили. Они спросили: «Почему такой мороз, а у тебя пар не идет ниоткуда? Ну-ка, еще раз, выдохни!» Я выдохнул – опять никакого пару. Все трое сказали: «Тут что-то не то, надо сообщить куда следует».

НАТАЛИ *(прыскает)*: И сообщили?

ГУРЕВИЧ: Еще как сообщили. Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали только один вопрос: «По какой причине у вас пар?» Я им говорю: «Да ведь как раз пара-то у меня и нет». А они: «Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар..?» Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я – сказал: отвезите меня в 126-е отделение милиции. У меня есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле. И меня повезли...

НАТАЛИ: Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они чего-нибудь поняли?..

ГУРЕВИЧ: Ничего не поняли, но привезли в 126-е. Спросили: «Вы Гуревич?» – «Да, – говорю, – Гуревич.

Я здесь по подозрению в суперменстве.
Вы правы до каких-то степеней:
Да, да. Сверхчеловек я, и ничто
Сверхчеловеческое мне не чуждо.
Как Бонапарт, я не умею плавать.
Я не расчесываюсь, как Бетховен,
И языков не знаю, как Чапай.
Я малопродуктивен, как Веспуччи
Или Коперник: сорок-сорок восемь
Страниц за весь свой агромадный век.
Я, как святой Антоний Падуанский,
По месяцам не мою ног. И не стригу
Ногтей, как Гёльдерлин, поэт германский.
По несколько недель – да нет же – лет
Рубашек не меняю, как вот эта
Эрцгерцогиня Изабелла, мать ети,
Жена Альбрехта Австрийского. Но
Она то совершила по обету:
До полного Ост-Индского триумфа.
И я не стану переодеваться
И тоже по обету: не напялю
Ни рубашонки до тех пор, пока
Последний антибольшевик на Запад
Не умыльнет и не очистит воздух!
Итак, сродни я всем великим. Но,
В отличие от Филиппа номер два
Гишпанского, – чесоткой не владею.
Да, это правда. *(Со вздохом.)* Не имею вшей,
Которыми в достатке оделен был
Корнелий Сулла, повелитель Рима.
Могу я быть свободен?..

«Можете, – мне сказали, – конечно, можете. Сейчас мы вас отвезем домой на собственной машине...» И привезли сюда.

НАТАЛИ: А как же шпиль горкома комсомола?

ГУРЕВИЧ: Ну... это я для отвода глаз... и чтобы тебе там, в приемной, не было так грустно.

НАТАЛИ: Слушай, Лев, ты выпить немножко хочешь? Только – тссс!..

ГУРЕВИЧ: О Натали! Всем существом взыскую!
Для воскрешенья. Не для куражу.

Пока Натали что-то наливает и разбавляет водой из-под крана, из-за ширмы продолжается: «Перебзди, приятель, ничего страшного!.. Будь мужчиной, пиздюк малосольный!.. Следующий!.. А штанов-то, штанов сколько на себя нацепил! ведь все мудя сопреют и отвалятся!.. Давай-давай! А ты – отъебись, не мешай работать... Следующий... Ничего, старина, у тебя все идет на поправку, походишь вот так, в раскорячку еще неделки две и – хуй на ны! – от нас до морга всего триста метров!.. Следующий!..»

НАТАЛИ (*подносит стакан. Гуревич медленно тянет – потом благодарно прикикает губами к руке Натали*).

ГУРЕВИЧ: Она имеет грубую психею.

Так Гераклит Эфесский говорил.

НАТАЛИ: Это ты о ком?

ГУРЕВИЧ: Да я все об этой Тамарочке, сестре милосердия. Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принципы. Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, – русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел»... А теперь, в этом же случае: «Где-то милиционер издох!..» «Гром не прогремит – мужик не перекрестится», вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в жопу не клюнет...» Или помнишь? – «Любви все возрасты покорны». А теперь всего-навсего: «Х... ровесников не ищет». Хо-хо. Или, вот еще: ведь как было трогательно: «Для милого семь верст –

не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля – сто километров не круг». (Натали смеется.) А это вот – еще чище. Старая русская пословица: «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться» – она преобразилась вот каким манером: «Не ссы в компот – там повар ноги моет».

НАТАЛИ (смеется уже так, что раздвигается ширма и сквозь нее просовывается физиономия сестры милосердия Тamarочки).

ТАМАРОЧКА: Ого! Что ни день, то новый кавалер у Натали Алексеевны! А сегодня – краще всех прежних. И жидяра, и псих – два угодя в нем.

НАТАЛИ (смирная ласкою бунтующего Гуревича, – строго к Тamarочке): После смены, Тамара Макаровна, мы с вами побеседуем. А сейчас у меня дела...

ТАМАРОЧКА (скрывается и там возобновляется все прежнее: «Как же! Снотворного ему подай – получишь ты от хуя уши... Перестань дрожать! и попробуй только пискни, разъебай!..») И пр.)

НАТАЛИ: Лева, милый, успокойся (целует его, целует) – еще не то будет, вот увидишь. И все равно не надо бесноваться. Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на оскорбление. И уж – Боже упаси – ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейролептиками, за один только плач... Тебе приходилось, Лев, хоть когда-нибудь поплакать?

ГУРЕВИЧ: Хо! Бывало время – я этим зарабатывал на жизнь.

НАТАЛИ: Слезами зарабатывал на жизнь? Ничего не понимаю.

ГУРЕВИЧ: А очень даже просто. В студенческие годы, например... – ой, не могу, опять приступаю к ямбам.

Ты знаешь, Натали, как я ревел?
Совсем ни от чего. А по заказу.
Все признали, что это я могу.

Мне скажут, например: реви, Гуревич! –
– Среди вакхических и прочих дел:
«Реву, Гуревич, в тридцать три ручья».
И я реву. А за ручей – полтинник.
И ты – ты понимаешь, Натали? –
В любой момент! По всякому заказу!
И слезы – подлинные! И с надрывом.
Я, громкий отрок, не подозревал,
Что есть людское, жидовское горе.
И горе титаническое. Так что
Об остальных слезах – не говорю...

НАТАЛИ: И знаешь, что еще, Гуревич: пятистопными ямбами говорить избегай – с врачами особенно – сочтут за издевательство над ними. Начнут лечение сульфазиним или чем-нибудь еще похлеще... Ну, пожалуйста... ради меня... не надо...

ГУРЕВИЧ: Боже! Так зачем же я здесь?! – вот я чего не понимаю. Да и остальные пациенты – тоже – зачем?

Они же все нормальны, ваши люди,
Головоногие моллюски, дети,
Они чуточек впали в забытье.
Никто из них себя не воображает
Ни лампочкой в сто ватт, ни тротуаром,
Ни оттепелью в первых числах марта,
Ни муэдзином, ни Пизанской башней
И ни поправкой Джексона-Фульбрайта
К решениям Конгресса. И ни даже
Кометой Швассман-Вахмана-один.
Зачем я здесь, коли здоров, как бык?

НАТАЛИ: Послушай-ка, Фульбрайт, ты жив пока,
Пока что не болеешь, – а потом?... –
Чего ж тут непонятного, Гуревич?
Бациллы, вирусы – все на тебя глядят
И, морщась, отворачиваются.

ГУРЕВИЧ:

Браво.

Полна чудес могучая природа
Как говорил товарищ Берендей.

Но только я отлично обошелся бы и без вас. Кроме тебя, конечно, Натали. Ведь посуди сама: я сам себе роскошный лазарет, я сам себе – укол пирацетама в попу. Я сам себе – легавый, да и свисток в зубах его – я тоже. Я и пожар, но я же и брандмейстер.

НАТАЛИ: Гуревич, милый, ты все-таки немножко опустился...

ГУРЕВИЧ: Что это значит? Ну, допустим. Но в сравнении с тем, сколько я прожил и сколько **протек**, – как мало я опустился! Наша великая национальная река Волга течет 3700 км, чтоб опуститься при этом всего на 221 метр. Брокгауз. Я – весь в нее. Только я немножко не доглядел – и невзначай испепелил в себе кучу разных разностей. А вовсе не опустился. Каждое тело, даже небесное тело (*значительно оглядывает всю Натали*) – так вот, даже небесное тело имеет свои собственные вихри. Рене Декарт. А я – сколько я истребил в себе собственных вихрей, сколько чистых и кротких порывов? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько попридушил бледнеющих дездемон?! А сколько утопил в себе Муму и Чапаёв!..

НАТАЛИ: Какой ты экстренный, однако, баламут!

ГУРЕВИЧ: Не экстренный. Я просто – интенсивный.

И я сегодня ... да почти сейчас...

Не опускаться – падать начинаю.

Я нынче ночью разорву в клочки

Трагедию, где под запретом ямбы.

Короче, я взрываю этот дом!

Тем более – я ведь совсем и забыл. – Сегодня же ночь с 30 апреля на 1-е мая. Ночь Вальпургии, сестры святого Ведекинда. А эта ночь, с конца восьмого века начиная, всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чу-

додейственным. И с участием Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что-нибудь да состоится!..

НАТАЛИ: Ты уж, Левушка, меня не пугай – мне сегодня дежурить всю ночь.

ГУРЕВИЧ: С любезным другом Боренькой на пару? С Мордворотом?

НАТАЛИ: Да, представь себе.

С любезным другом. И с чистейшим спиртом.

И с тортами – я делала сама, –

И с песнями Иосифа Кобзона.

Вот так-то вот, экс-миленький экс-мой!

ГУРЕВИЧ: Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев... Но я, если хочешь, лучше тебя воспою – в манере Николая Некрасова, конечно.

НАТАЛИ: Давай, воспевай, глупыш.

ГУРЕВИЧ: Под Николая Некрасова!

Роман сказал: глазастая!

Демьян сказал: сисястая!

Лука сказал: сойдет.

И попочка добротная, –

Сказали братья Губины

Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился

И молвил, в землю глядячи:

Далась вам эта попочка!

Была б душа хорошая.

А Пров сказал: Хо-хо!

НАТАЛИ (*аплодирует*).

ГУРЕВИЧ: А, между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я бы сейчас тебя – так охотно ущипнул бы...

НАТАЛИ: Ну, так и ущипни, пожалуйста. Только не говори пошлостей. И тихонечко, дурачок.

ГУРЕВИЧ: Какие ж это пошлости? Когда человек хочет убедиться, что он уже не спит, а проснулся, – он, пошляк, должен ущипнуть...

НАТАЛИ: Конечно, должен ущипнуть. Но ведь себя. А не стоящую вплотную даму...

ГУРЕВИЧ: Какая разница?... Ах, ты стоишь вплотную... Мучительница, Натали... Когда ты, просто так, зыблешь талией, – я не могу, мне хочется так охватить тебя сзади, чтоб у тебя спереди посыпались искры...

НАТАЛИ: Фи, балбес. Так возьми – и охвати!..

ГУРЕВИЧ *(так и делает. Натали с запрокинутой головой. Нескончаемое лобзание)*: О Натали! Дай дух перевести!.. Я очень даже помню – три года назад ты была в таком актуальном платице... И зачем только меня поперло в эти Куэнь-Луни?... Я стал философом. Я вообразил, что черная похоть перестала быть, наконец, моей жизненной доминантой... Теперь я знаю доподлинно: нет черной похоти! нет черного греха! Один только жребий человеческий бывает черен!

НАТАЛИ: Почему это, Гуревич, ты так много пьешь, а все-все знаешь?..

ГУРЕВИЧ: Натали!..

НАТАЛИ: Я слушаю тебя, дурашка... Ну, что тебе еще, несмышленьш?..

ГУРЕВИЧ: Натали... *(неистово ее обнимает и впирается в нее. Тем временем руки его – от страстей, разумеется, – конвульсивно блуждают по Натальиным бедрам и лонным сочленениям. Зрителю видно, как связка ключей с желтой цепочкою – переходит из кармашка белого халатика Натали – в больничную робу Гуревича. А поцелуй все длится)*.

НАТАЛИ *(чуть позже)*: Я по тебе соскучилась, Гуревич...*(лукаво)*: А как твоя Люси?

ГУРЕВИЧ: Я от нее ушел, Наталья. И что такое, в сущности, – Люси? Я говорил ей: «Не родись сварли-

вой». Она мне: «Проваливай, несчастный триумvir!»
Почему «триумvir», до сих пор не знаю. А потом, уже
мне вдогонку и вслед: «Поганым будет твой конец, Гуре-
вич! сопьешься с круга, как Коллонтай в Стокгольме!
Умрешь под забором, как Клим Ворошилов!»

НАТАЛИ (*смеется*): А что сначала?

ГУРЕВИЧ: Ну, что сначала? И не вспоминай.

О Натали! она меня дразнила.

Я с неохотой на нее возлег.

Так на осеннее и скошенное поле

Ложится луч прохладного светила.

Так на тяжелое раздумие чело

Ложится. Тьфу! – раздумье на чело...

Брось о Люси... Так, говоришь – скучала?

А речь об этой плюшке завела,

Чтоб легализовать Мордоворота?..

НАТАЛИ: Опять! Ну, как тебе не стыдно, Лев?

ГУРЕВИЧ: Нет, я начитанный, ты в этом убедилась.

Так вот, сегодня, первомайской ночью

Я к вам зайду... грамм 200 пропустить...

Не дуриком. И не без приглашенья:

Твой Боренька меня позвал, и я

Сказал, что буду. Головой кивнул.

НАТАЛИ: Но ты ведь – представляешь?!.

ГУРЕВИЧ: Представляю.

Нашел с Кем дон-хуанствовать, стервец!

Мордоворот и ты – невыносимо.

О, этот Боров нынче же, к рассвету,

Услышит Командоровы шаги!..

НАТАЛИ: Гуревич, милый, ты с ума сошел...

ГУРЕВИЧ: Пока – нисколько. Впрочем, как ты
хочешь:

Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,

Коль ты попросишь...

(*подумав*)

...Если и попросишь –

Я буду пламенеть, как небосклон!

Пока что я с ума еще не сбрендил, –
А в пятом акте – **будем посмотреть...**

Наталья, милая...

НАТАЛИ: Что, дуралей?

ГУРЕВИЧ: Будь на тебе хоть сорок тысяч платьев,
Будь только крестик промежду грудей
И больше ничего, – я все равно...

НАТАЛИ (*в который уже раз ладошкой зажимая ему рот. Нежно*): А! ты и это помнишь, противный!..

(Кто-то прокашливается за дверью.)

ГУРЕВИЧ: Антильская жемчужина... Королева обеих Сицилий... Неужто тебе приходится спать на этом дырявом диванчике?..

НАТАЛИ: Что же делать, Лев? Если уж ночное дежурство...

ГУРЕВИЧ: И ты... ты спишь на этой вот тахте!

Ты, Натали! Которую с тахты

На музыку переложить бы надо!..

НАТАЛИ: Застрекотал опять, застрекотал...

(За дверью снова покашливание.)

ГУРЕВИЧ: «Самцы большинства прямокрылых способны стрекотать, тогда как самки лишены этой способности». Учебник общей энтомологии. (*Снова тянутся друг к другу.*)

ПРОХОРОВ (*показывается в дверях с ведром и шваброю*): Всё процедуры... процеду-уры... (*Обменивается взглядом с Гуревичем. Во взгляде у Прохорова: «Ну, как?» У Гуревича: «Все путем».*) Наталья Алексеевна, наш новый пациент, вопреки всему, крепчает час от часу. А я только что проходил – у дверей хозотдела линолеум у нас запущен – спасу нет. А новичок... Ну, чтоб не забывался, куда попал, – пусть там повкалывает с полчаса. А я – наблюдаю...

ГУРЕВИЧ: Ну, что ж... *(В последний раз взглянув на Натали, с ведром и шваброю удаляется, стратегически покусывая губы.)*

ПРОХОРОВ: Все честь по чести. Я на то поставлен. Ты, Алексевна, опекай его. Он – с припиздью. Но это ничего.

ЗАНАВЕС

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Снова третья палата, но слишком слабо заселена: одни еще не вернулись с ужина, другие – с аминазиновых уколов. Комсорг Пашка Еремин все под той же простыней, в ожидании все того же трибунала. Старик Хохуля, после электрошока, – недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витя спит, контр-адмирал тоже. Стасик онемел посреди палаты с выброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говорит только дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.

ВОВА: Фу ты, а в деревне-то как сейчас славно! Утром, как просыпаешься, ...первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь... стыдно... и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловушки так и заливаются: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот, надеваешь телогрейку, берешь с собой доку́менты, и вот так, в чем мать родила, идешь в степь, стрелять окуней... Идешь убогий, босой и с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь – целуешь все одуванчики, что тебе попадаются на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую выцветшую, выдавшую виды, прошедшую с тобой от Берлина до Техаса...

В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, Сережа Клейнмихель и Коля. Потирают на запахах свои уколы, обсаживают Вову, слушают.

ВОВА: И вот так идешь... ветры дуют поперек... Сверху – голубо, снизу – майские росы-изумруды... А впереди – что-то черненькое белеется ... Думаешь: может, просто куст боярышника?.. да нет. Может быть, армянин?.. Да нет, откуда в хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти, – а он уже все различает; каждую травинку от каждой былинки, и каждую пичужку изучает по внутренностям...

КОЛЯ: А я вот ничего не сумею отличить. Я все время в палате. Липу от клена я еще смогу отличить. А вот уж клен от липы...

СТАСИК (снова дует по палате из угла в угол): Да! ничего на свете нету важнее! спасение **дерев!** Придет оккупант – а где наша интимная защита? Интимная защита ученого партизана! А в чем она заключается? – а вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!

ВОВА: А мой сосед Николай Семенович...

СТАСИК (неудержимо): Господь создал свет, да, да! А твой Николай Семеныч отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом...

КОЛЯ: И с вермутом...

СТАСИК: Нет, без вермута. Причем здесь вермут?! И до каких пор меня будут прерывать? делать торными тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще – когда эти поляки перестанут нам мозга ебать?! Ведь жизнь и без того – так коротка...

ВОВА: А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет...

СТАСИК: Хо-хо! нашел кому советовать! Да ты поди, взгляни в мою оранжерею. Жизнь коротка, – а как посмотришь на мою оранжерею – так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои былинки и лютики – ну их, они повсюду. А у меня вот что есть – сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он: пузантик-самовздутыш-дармоед, с вогнутыми листьями. И ведь как цветет! – хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет – что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего!.. А еще – а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» – это потому, что с началом цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая вдумчивая» – лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Фу-ты ну-ты». Обормотик желтый! Нытик двулетний! Это уже для тех, кого выносят ногами вперед. Мыпра краснознаменная! Чапай лохматый! Хуеплётник недолговечный! Все, что душе угодно...

ВОВА: И все это ты имел в своем саду, браток?..

СТАСИК: Как то есть имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?..

ВОВА: Нету у меня панталон...

СТАСИК: Ну, нет, так будут... И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад – и всё твое. Презумция жеманная, она же Зиночка сдобная пальпированная! – да и как Зиночке не быть пальпированной, если она такая сдобная! Мудозвончики смекалистые! ОБХ-ЭС ненаглядный! Гольфштрим чечено-ингушский! Пленум придукроватый! – его так называли за его дымчатые вуали, невзначай и совсем не остроумно. Дважды орденоносная игуменья незамысловатая, лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горлонос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». Генсек бульбоносный! пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром

победы, раздавайся», «Крейсер Варяг» и «Сиськи набок». А если...

ВОВА: А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам, – все смотрю: нет ли синеньких...

СТАСИК: Ну, как не быть синеньким! Чтоб у меня – да не было синеньких! Вот – носопырочки одухотворенные, носопырочки расквашенные, синекудрые слюнявчики «Гутен-морген»! Занзибар опизденевший – выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хау-ду-ю-ду», «Уйди без слез и навсегда»...

Стасик, на словах «без слез и навсегда», снова деревенеет у окна палаты, с выкинутым вертикально вверх кулаком «Рот фронт».

ВОВА: Д-даа... хорошие цветочки... А я ведь помню тяжелые времена... когда все цветочки исчезли из помину... и плохие и хорошие... кругом нашей деревни одни только эскарпы и янычары, траншеи, каски, руки, ноги – над Москвой только царь-пушки гремели, и царь-колокола... Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного радио Юрий Левитан, – и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверелых заокеанских орд. И снова расцвели медуницы...

Все глядят на Вовин носик. У Коли опять чего-то текет, Вова бережно утирает. Почти никто не замечает, как староста Прохоров то вторгается в помещение, взглядывает на часы – ему одному во всей палате дозволено носить часы, – то снова исчезает из помещения. Музыка при этом – тревожнее всех тревожных.

КОЛЯ: Так ведь и осенью в деревне хорошо... Ведь правда, Вова?

ВОВА: Осенью немножко хуже, с потолка капает... Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив – висят два портрета, я их обоих люблю, толь-

ко вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше... Лермонтов – он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки. А я ему говорю: А зачем мне ботинки? Череповец – он у-у-у как далеко... Получу я ботинки в Череповце – а куда я дальше пойду в ботинках? нет, я уж лучше без ботинок... А товарищ Пельше тихо мне говорит, под капель, – «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?» – А я говорю: нет, никто не виновен в моей печали. А тут еще теленочек за перегородкой – чертыхается и просить чего-то начинает, – а я его век не кормил, и откуда он взялся, этот теленочек, у меня и коровки-то никогда не бывало. Надо бы спросить у внука Сергунчика – так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит... Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей – для ежиков. Сумерки опускаются. Вот уже и миска загремела – значит, пришли все-таки ежики, с обыском... Листья кружатся в воздухе, кружатся и – садятся на скамью... Некоторые еще взвываются – и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму – все попересажены... А ветер все гонит облака, все гонит – на север, на северо-восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головою все чаще: кап-кап-кап, и ветер все сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч...

КОЛЯ: Как хорошо... А у нас в деревне – в апреле тоже тридцать дней или дня три-четыре накинули?..

ОВОА: Да нет пока...

КОЛЯ: Ну, вот и зря... Надо бы немножко накинуть... У нас все должно быть покрупнее, чем у них... Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная... Байкал, телебашня, Каспийское озеро... А тут получается обидно: и у них в апреле тридцать дней, и у нас тридцать. (Пускает слюну. Вова вы-

тирает.) А равняться на Европу, как мне кажется, – это значит безнадежно отставать от нее... Конечно, мы не ищем для себя односторонних преимуществ, но никогда и не допустим, чтобы...

ПРОХОРОВ (врывается в палату с озаренным лицом): **Обход! Обход!** (Но странно: вместо привычного «*Всем встать!*» – староста отдает приказ ни на что не похожий): Немедленно лечь на пол! Всем! Мордами вниз! Кто шевельнет глазами туда-сюда – стреляю из всех Лепажевых стволов! Стас, прекрати свои рот-фронты! (Подходит к Стасику, но рука его кататонически не выходит из состояния Рот-фронт.) Ну ладно, отвернись только к стенке, но пасаран, пассионарий! вессеремус!

ГУРЕВИЧ (входит с помойным ведром, поверх ведра накинута холщовая мокрая тряпка. Швабру оставляет у входа. Подойдя к своей тумбочке, второпях снимает тряпку, из ведра достает почти ведерной емкости бутылку и устанавливает ее, прикрыв тряпьем. Глубочайший выдох): Ну вот. Теперь как будто бы **виктория!**

АЛЕХА (с порога): Всем подняться – отряхнуться! Обход закончен!

ПРОХОРОВ: Всем лечь по своим постелям. Замечайте, психи: обходы становятся все короче. Значит, скоро они совсем прекратятся. Вставайте, вставайте, – и по постелькам... Так, так... А что вы тут делали? – пока **високосные** люди нашей планеты достигали невозможного – чем в это время занимались вы, летаргический народ?..

ВОВА: Нам Стасик говорил о своих цветочках... Он их сам выращивает...

ПРОХОРОВ: Эка важность! Цветочки – они внутри нас. Ты согласишься со мной, Гуревич, ну, чего стоят цветочки, которые снаружи?

ГУРЕВИЧ: Мне скорее надо пропустить, Прохоров, а уж потом... И без того внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до

края инфлюэнцы и рюматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног... В глазах – протуберанцы...

ПРОХОРОВ: Налей шестьдесят пять граммов, Гуревич, и скорее опрокинуть. Потом поговорим о цветочках. Ал-леха!

АЛЕХА: Я здесь...

ПРОХОРОВ: Немедленно: стакан холодной воды. У Хохули в чемодане – лимоны, вытаскивай их все...

АЛЕХА: Все..?!

ПРОХОРОВ: **Все**, мать твою ёбп!

ГУРЕВИЧ *(в сущности, начиная Вальпургиеву ночь. Наливает рюмаху. Внюхивается, до отказа морщится, проглатывает)*.

ПРОХОРОВ *(в ожидании своей дозы)*: Я думал о тебе хуже, Гуревич. И обо всех вас думал хуже: вы терзали нас в газовых камерах, вы гноили нас в эшафотах. Оказывается, ничего подобного. Я думал вот как: с вами надо блюсти дистанцию! Дистанцию **погромного** размера... Но ты же ведь – Алкивиад! – тьфу, Алкивиад уже был, – ты граф Калиостро! Ты – Канова, которого изваял Казанова, или наоборот, наплевать! Ты – Лев! Правда, Исаакович, но все-таки Лев! Гней Помпей и маршал Маннергейм! Выше этих похвал я пока что не нахожу... а вот если бы мне шестьдесят пять...

АЛЕХА: Может, проверить, – горит?

ГУРЕВИЧ: Это можно... *(На край тумбочки проливает немножко из своего остатка, зажигает спичку и подносит: тишина, покуда не меркнет синее пламя.)*

ПРОХОРОВ *(он даже не разводит свои семьдесят граммов, он держит наготове хохулин лимон. Опрокидывает. Страстно внюхивается в лимон. Пауза самоуглубленности)*: Итак. Кончились беззвездные часы человечества! Скажи мне, Гуревич, из какого мрамора тебя лучше всего высечь?..

ГУРЕВИЧ: Это как то есть «высечь»?

ПРОХОРОВ: Нет-нет. Я не то хотел сказать. Я вот что хотел сказать: с этой минуты, если в палате номер три или в любой из вассальных наших палат какой-нибудь неумный псих усомнится в богодухновенности **этого** (*втыкая палец в Гуревича*) народа, тот будет немедля произведен мною в контр-адмиралы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями... Они открывают миру **все**, мы только успеваем прикрывать. Что говорить о Старом Свете?.. Из какого племени явился Христофор Колумбо – это, наконец, известно поголовно всем. Но мало кто знает, что первым человеком, из состава Колумбовой экспедиции, первым, ступившим на Новую Землю, – был иудей-марран Луис де Торрес! (*Впадая в раж*) А **Исаак** Ньютон! А – **Авраам** Линкольн!.. А кто первый увидел Ниагарский водопад? – **Давид** Ливингстон!..

ГУРЕВИЧ: Помаленьку, помаленьку, староста. Иначе ты вызовешь переполох в слабых душах... А ты не подумал о том, что Алкивиад тоже вожделеет? Ты вот уже немножко порфиноносен. А взгляни на Алаху...

ПРОХОРОВ: Ал-леха!..

АЛЕХА: Я тут. (*Пока Гуревич чародействует со спиртом и водою, – не выдерживает. Делает лицо. Тренькает себе по животу, как бы аккомпанируя на гитаре. Начинает внезапно и анданте*):

А мне на свете – все равно.

Мне все равно, что я говно,

Что пью паскудное вино

Без примеси чего другого.

Я рад, что я дегенерат,

Я рад, что пью денатурат,

Я очень рад, что я давно

Гудка не слышал заводского...

(*Вливает в себя все ему налитое. Исполинский выдох. Пробует лихо продолжить свое традиционное*):

Обязательно,
Обязательно,
Я на рыженькой женюсь!
Пум-пум-пум-пум!
(по собственной пузени, разумеется)
Об-язательно...

ГУРЕВИЧ: Стоп, Алеха. Не до песнопений. Кругом нас алчут малые народы. А мы, тем временем, сверх-державы, – пробуем на вкус то, что вообще-то говоря, делает наши души автономными, но может те же самые души и на что-нибудь обречь. Приобщить этих сирых?

ПРОХОРОВ: Еще как приобщить! Ал-леха!

АЛЕХА: Я здесь. *(Машинально подставляет пустой стакан.)*

ГУРЕВИЧ: Болван. Ты понимаешь, что такое – сирость?

АЛЕХА: Еще бы не понять. Сережа Клейнмихель, – у него на глазах Паша Еремин, комсорг, оторвал у мамы почти все. И он теперь все кропает и пишет, кропает и пишет... Позвать его?

ГУРЕВИЧ: Позвать, позвать... *(Наливает полстакана.)*

ПРОХОРОВ: Клейнмихель! На ковер.

ГУРЕВИЧ *(к подошедшему Сереже)*: Так о чем тебе моргнула перед смертью твоя мама?

СЕРЕЖА *(всплакнув, конечно)*: Она все знала. Мамы – они всегда все знают. Что меня не допустят и не дадут начальство снимать картину фильма про маму и Михаила Буденного, и как они крепко целовали друг друга перед решающей битвой. А свою нечистую руку приложил к этому Пашка Еремин, еврейский **шапион**...

ГУРЕВИЧ: Не торопись. Выпей. *(Сережа, выпив, прижимает руку к сердцу, не то в знак благодарности, не то всерьез желая уйти из этого мира.)*

СЕРЕЖА: Я знаю, что такое еврейский **шапион**. Первый признак – звать его Паша. А фамилия его –

Еремин. Других доказательств и не надо. Он не дает мне ночью рисовать стихи и планы всего будущего...

ГУРЕВИЧ: У тебя это что в руках, Буденный?..

СЕРЕЖА: Это что я прячу от предателя Павлика. Это все, что я построю, когда меня выпустят. А если я чего-нибудь построю – Павлик, злодей, все подожжет. Я вам сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали...

ПРОХОРОВ: Давай, я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет баритона... Так-так... Проект будущих торжествований. Номер один: дом больницы разбитых космонавтов. Номер два: дом любви и здоровья больных космонавтов. Номер три: дом Любви к своей маме как можно лучше и хорошо. Номер четыре: дом, где не гуляют до двенадцати ночи, а живут с родными никогда и вообще. Номер пять: Дом Коммунизма. Там приучают не бегать с топором, и не пропивать ребят и космонавтов. Номер шесть: Культурный стадион космонавтов, чтобы метать их в цель...

ГУРЕВИЧ: И долго еще будет эта тягомотина?.. Сереже больше не давать...

ПРОХОРОВ: Сейчас-сейчас... *(продолжает)*: Номер семь: Книжная фабрика культурных летчиков, с гипноседативным эффектом. Номер восемь: Дом и культурная дорога для спортивных татар. Номер девять: Аэродром культуры для татар и космонавтов. Десятое: Вокзал Поездов. Чтобы девушки в коротких юбках стояли на подножке. И махали проходящими поездами вслед уходящим поездам.

АЛЕХА *(фыркает)*.

ПРОХОРОВ: *(продолжает)*: Спортивный Внимательный институт. Спортивный внимательный светорфор для татар и космонавтов. Спортивный внимательный Энтернат для всех аэродромов Космуса. Номер четырнадцать и предпоследний: Детский Мир на спортивной реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие – всплывают для дачи больших и ложных показаний. Но-

мер пятнадцать и последний: Космическая выставка веселой любви и тайных радостей всех веселых космонавтов веселого Космуса...

ГУРЕВИЧ: М-м-мда... Тебя все-таки дурно воспитывали, Клейнмихель... Может быть, и прав комсорг Еремин, расчленив твою маму?..

СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ: Нет, он был глубоко не прав. Когда она была в целости, она была намного красивше... Вам бы только посмеяться, а ведь смеяться то не от чего... У меня еще есть один проект, чтобы в России было поменьше смеху; Трубопровод из Франкфурта-на-Майне, через Уренгой, Помары, Ужгород, – на Смоленск и Новополоцк. Трубопровод для поставок в Россию слезоточивого газа. На взаимовыгодных основаниях...

ГУРЕВИЧ: Bravo, Клейнмихель!.. Староста, налей ему еще немножко.

Староста наливает. Погладив Сережу по головке, подносит.

СЕРЕЖА (*тронутый похвалою, пропустив и крикнув*): А еще я люблю, когда поет Людмила Зыкина. Когда она поет – у меня все разрывается, даже вот только что купленные носки – и те разрываются. Даже рубаха под мышками – разрывается. И сопли текут, и слезы, и всё о Родине, о расцветах наших неоглядных полей...

ГУРЕВИЧ: Прекрасно, Серж, утешайся хоть тем, что заклятому врагу твоему, комсоргу, не будет ни граммульки. Он, к сожалению, принадлежит к тем, кто составляет поголовье нации. Мудак, с тяжелой формой легкомыслия, весь переполненный пустотами. В нем нет ни сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной ублюдочности. На мой взгляд, уж лучше дать полную амнистию узникам совести... То есть, предварительно шлепнув, развязать контр-адмирала?

ПРОХОРОВ: Ну, конечно. Тем более, он уже давно проснулся, ядерный заложник Пентагона. (*Поти-*

рает руки, наливает поочередно Гуревичу, себе, Алексе.) Вставай, флотоводец. Непотопляемый авианосец НАТО. Я сейчас тебя развяжу, – признайся, Нельсон, все-таки приятно жить в мире высшей справедливости?

КОНТР-АДМИРАЛ МИХАЛЫЧ (*его понемножку освобождают от пут*): Выпить хочу...

ПРОХОРОВ: Да это ж совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово. (*Михалыч вздрагивает.*) Да нет, ты просто принеси извинения оскорбленной великой нации, и так, чтобы тебя услышали твои прежние друзья-приятели из Северо-атлантического Пакта. Ну, какую-нибудь там молитву...

КОНТР-АДМИРАЛ МИХАЛЫЧ (*быстро-быстро, косясь на Прохорова, наливающего заранее*): Москва – город затейный: что ни дом, то питейный. Хворого пост и трезвого молитва – до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру. Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Пить – горе, а не пить вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво и плясать хочется...

ПРОХОРОВ (*намного одушевленное, чем во втором акте*): Так-так-так...

МИХАЛЫЧ: Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Справа немцы, слева турки, ебануть бы политурки. Что-то стало холодать, не пора ли...

ГУРЕВИЧ: Пора, мой друг, пора... (*Адмирал выпивает – и вытаращивает глаза от крепости напитка и перемен земного жребия.*) По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин имеет право выпучивать глаза, но не до отказа... Вова!!

ОВОА (*приходит покорно, но почему-то держа за руку бледного Колю*).

ГУРЕВИЧ: Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. (*К Прохорову*): А почему они, собственно, здесь, – а не там?

ПРОХОРОВ: Ну, ты же сам слышал... эстонец... голова болит... разве этого недостаточно?.. А что касается Вовы, – так он просто так... подозревается в уникальности...

ГУРЕВИЧ: Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мною на свободе. У тебя есть мечта?..

ОВОА: Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку – она называется гамбузия. Так вот, эта рыбка – гамбузия – поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все ляблии. Потому, что, стоит человеку проглотить вместе с водой одну только ляблию, как она, сама по себе, порождает другую ляблию, а третья ляблия, родившись от сочетания первых двух ляблий...

ГУРЕВИЧ: И сколько этих вот самых ляблий может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?

ОВОА: Она может схавать зараз семьдесят пять штук.

ГУРЕВИЧ: И – не поперхнуться?

ОВОА: И не поперхнуться.

ГУРЕВИЧ: Отлично. Вот ровно столько граммов ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордворот сегодня же ночью расплатится за то, что сделал тебе на носу эту «модус-вивэнди»...

ОВОА (*единым залпом выпив, – то, как травка, зеленеет, то, как солнышко, блестит*): А самое главное, чем хороша гамбузия, – так от нее ни одного комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик...

ПРОХОРОВ: А что это за Эдик?..

ОВОА: Никто не знает. Но, как только в небеса подымается Веспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак: пора расходиться. Ничего не поделаешь... Сергунчик, мой внук, не послушался – и вот вам результат: ветры унесли его неведомо куда... по заказу Гостелерадио...

ГУРЕВИЧ: Удивительная все-таки страна – Россия! Ну, с какой стати Эдик? На каком основании – Эдик?.. (Обращается к Коле): Коля! ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?

КОЛЯ: Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. (Простирая к публике руку): Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего. Десертным вермутом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его, – напрасно, его уж нет, молодой певец нашел безвременный конец. Особой водки он просил, и взор являл живую муку, – и кто-то вермут положил в его протянутую руку!..

ГУРЕВИЧ: Здорово!.. Налейте поэту мушкателейнвейну!

КОЛЯ (выпивая свою долю мушкателейнвейна): А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?

ПРОХОРОВ: Всё оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит взялось. И при этом, кроме чести, не потеряно ничего. Если явятся вопросы еще, обратись к Вите.

ГУРЕВИЧ: Да, да. Если кому чего неясно, – пусть обращается к нашему незабвенному гроссмейстеру. Какая честь – еще при жизни называться незабвенным! **Ви-тя!!** Корчной! Что новенького-шизофреновенького?

Все смотрят на Витю. Не совсем понятно, спит он или проснулся, потому что улыбка его, оставаясь дежурной за время сна, становится, по пробуждении, сардонической. Сейчас на нем ничего этого нет.

ГУРЕВИЧ: Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет – стало быть, спит и не проснется **вовсеки...**

ВИТЯ: Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.

ПРОХОРОВ (*поднося Вите*): Теперь ты понимаешь, гроссмейстер, что мы живем не то что в мире высшей справедливости, а в мире такой справедливости, которая даже чуть выше, в сравнении с наивысшей?..

ВИТЯ (*приподымая большую, розовую голову*): А я не умру?

ГУРЕВИЧ: Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения.. Во всей происходящей драме – до тебя – никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали. Счастье человека – в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть – так смерть. Смерть – это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.

ВИТЯ (*пьет и – встает. Всех обнимая своей улыбкой – и не стыдясь живота своего, – почему-то отправляется к выходу*).

ПРОХОРОВ: Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной – Витя – хочет пройтись в сторону клозета... Стасик! Прекрати свои рот-фронты. Иди сюда...

ГУРЕВИЧ (*спохватившись*): Да, да. Никакие рот-фронты и но-пасараны уже не пройдут. Над всей Гишпанией – ясное небо. Франсиско Франко. По этому поводу – опусти свою глупую руку – и подойди. Твоя неистовая Долорес – в соседнем отделении. Пропусти для храбрости сто двадцать, и мы соединим вас, недоумков...

СТАСИК: Так она еще не умерла?..

ГУРЕВИЧ: Давно уже подохла. Но, как только услышала о тебе, о предстоящем свидании, она вытрянула землю из глазных своих впадин и сказала: пусть придет ко мне, я люблю молодых и растленных. Но прежде, – сказала она, – но прежде я должна привести себя в порядок, я ведь так долго пролежала в сырой земле...

СТАСИК: Я понимаю... Женщина всегда есть женщина, если даже пассионария. У нас есть о чем побеседовать: массирующее давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И – вдобавок ко всему – на-

сильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чон-ду-Хван, он всё мечтает стереть советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть то, у кого так много-много земли – и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость, этих Чон-ду-Хванов...

ГУРЕВИЧ: Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил... Боже мой, Витя!..

ВИТЯ (с улыбкой, обаятельнее которой не было от Сотворения): Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой... (Ставит на стол посреди палаты – еще один белый ферзь. Два белых ферзя рядом – это уже слишком. Многие теряют и остатки своих убогих рассудков.)

ПРОХОРОВ: С шахматами мы потом разберемся... А шашки – где?.. Чемпион мира по русским шашкам Виктор Куперман... (Улыбка – в сторону Гуревича, вопрос адресован Вите)... Так вот, шашек нет. Сейчас растерянно смотрит на мир наш русский товарищ Куперман. И вот он, молодой и здоровый, крутится в своем гробу. Не путать с Долорес Ибаррури... Он крутится в своем гробу, хотя он молод и здоров...

КОЛЯ (прерывает старосту, чего с ним никогда не бывало): А кто вообще автор желудочно-кишечного тракта?..

ГУРЕВИЧ: Неужели и теперь тебе не понятно, кто?.. (присаживается к Вите):

Скажи мне, Витя, ну, а если б ты...

Ну... двадцать шесть бакинских комиссаров...

Чудовищно подумать!.. Что б тогда

Принес толпе из всех своих глубин?

Шпинозу? Группенфурера СС?

Ударный финиш юбилейной вахты?

Рене Декарта?..

(За дверью слышны каблучки. Это – Натали с последним обходом. И, слава Богу, она уже слегка первомайски-поддатая. Иначе – она уловила бы в палате спиртной дух.)

ПРОХОРОВ: Тишина!.. Все – по местам! Накрыться с головой!

НАТАЛИ (*входит, всем желает спокойных ночей. Поправляет одеяло – у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовья Гуревича. Никому не слышные – а может быть, слышные всем, – шепоты и нежности*).

НАТАЛИ (*полушепотом*): Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо.

ГУРЕВИЧ (*пробует что-то сказать. Натали прикладывает пальчик к губам*): Тсс... Все дрыхнут. В коридоре ни души. Адьё. Спокойной ночи, алкаши. (*Натали проплывает к выходу, тихо-тихо прикрывает за собой дверь. Стук удаляющихся каблучков.*)

Все пациенты разом сбрасывают с себя одеяла, приподымаются в постелях и заворуженно глядят на два белых фёрзя посреди палаты.

ЗАНАВЕС

ПЯТЫЙ АКТ

Между четвертым и пятым актом – 5-7 минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафе-шантаных танцев начала века, дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского, кан-канов и кэк-уоков, российских балаганных плясов и самых бравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии.

Подымается занавес.

Все та же третья палата, несколько часов спустя: всё выглядит настолько иначе, что глупо и говорить об этом.

ПРОХОРОВ: Рас-светает!.. Аль-лёха!!

АЛЕХА: Да, я тут.

ПРОХОРОВ: Вдарь что-нибудь на своей гитаре, диссидент! Вдарь по сердцам наших просветленных узников!

АЛЕХА: Пум – пум – пум – пум.

(Представление начинается. В нем принимают участие все, даже комсорг Пашка Ерёмин – откуда только он успел нализаться – непонятно – ведь ему было отказано даже в граммалечке.)

Пум – пум – пум – пум!

Пум – пум – пум – пум!

Я надену платье бело

И весеннее пальто.

Никого я не боюсь:

Председатель – мой отец.

ВОВА: Председатель к нам спешит,

«Не кручиньтесь, – говорит, –

Не кручиньтесь, не тужите,

Удобренье положите».

КОНТР-АДМИРАЛ МИХАЛЫЧ: Дети в школу
собирались.

Мылись, брились, похмелялись.

Эх, в бога-душу-мать,

Дайте курочку!

КОЛЯ: Ему уж 20 лет, –

А он такой дурак!

Ему уж 30 лет, –

А он такой дурак!

Ему уж 40 лет, –

А он такой дурак!

Ему уж...

АЛЕХА (*прерывает его*): Коля водит самолеты –

Это очень хорошо.

Вова лопает компоты –

Это очень хорошо!

ПРОХОРОВ: А агент из Миннесоты –

Тоже очень хорошо.

(Это, разумеется, выпад в сторону Михалыча, который в это самое время пробует, как сен-сановская плисецкая лебедь, – делать ручками фокусы-покусы.)

Сей агент, агент прекрасный,

Опрокинув свой бокал,

На груди ее атласной
Безмятежно засыпал.
Хо-хо!

АЛЕХА: Пум – пум – пум – пум!
Вся страна лежит во мраке –
Огонек горит в Кремле!
Пум!
Обожаю нежности
В области промежности!

ВИТЯ (*со всем своим пузом, вступает в пляс, повязав наволочку вместо косынки*).

АЛЕХА (*подтанцовывает к Вите*):
Ай-ай! Ох-ох!
Всё готово. Бобик сдох.
Что с тобою приключилось,
Манечка?

ВИТЯ (*не без кокетства*):
Совершенно ничего.
Ровным счетом ничего,
Ничего не приключилось
С Манечкой.
Просто – слишком завертелась,
Просто – очень захотелось
Съездить в будущем году
В Пизу или Катманду!
Оп-пля!!

ПРОХОРОВ: Кудри вьются,
Кудри вьются,
Кудри вьются у блядей,
Почему они не вьются
У порядочных людей?

ВИТЯ: Хе! Хе!
Потому они не вьются –
Денег нет на бегудей!

АЛЕХА: (*поправляя Витю*): Потому что у блядей
денег есть на бегудей,
А у порядочных людей – денег только на блядей.

ГУРЕВИЧ: *(между тем с тревогой всматривается в полусонного Хохулю. Очень заметно, как тот, и выпив-то всего-навсего грамм 115, – клонится к закату. Гуревич подходит к нему, тормошит):* Хохуля! Для оживления психеи хочешь еще немножко дернуть? Ты меня не слышишь?... Не слышит... Передаю по буквам, Хохуля... дернуть... Д – движение неприсоединения, Дуайт Эйзенхауэр, девичьи грезы, дивные бедра, День поминовения усопших ...Д. Следующая – ё ... Только вот как передать ему «ё»?.. Подлец Карамзин – придумал же такую букву «Ё». Ведь у Кирилла и Мефодия были уже и Б, и Х, и Ж... Так нет же. Эстету Карамзину этого показалось мало ... Стоп, ребятишки!! – Хохуля – не дышит!..

(Одни обступают мертвеца; другие – продолжают беззаботное буйство).

ПРОХОРОВ: Вот к чему приводит лечение электрошоком! Вот вам блестящее подтверждение несостоятельности нашей медицины!

СТАСИК *(становится у трупа, оттянув подбородок, в позе стерегущего Мавзолей).*

ГУРЕВИЧ: Ничего. Ничего неожиданного. Следует вполне полагаться на судьбу и твердо верить, что самое скверное еще впереди.

ПРОХОРОВ *(добавляет):* Рене Декарт. И да не будет никто омрачен! Мы отмечаем сегодня вальпургиево празднество силы, красоты и грации! А Первомай пусть отмечают нормальные люди, то есть не нормальные люди, а **нас** обслуживающий персонал! Ха-ха! **Танцуют все!** Белый танец! Алеха!

АЛЕХА: Пум – пум – пум – пум!
Пум – пум – пум – пум!
А я вот все люблю,
А я вот всех люблю:
Дюдюктивные романы,
Альбионские туманы,

И гавайские гитары,
И гаванские сигары,
И сионских мудрецов,
И сиамских близнецов...
Уй – уй – уй – ууууй!

(на мотив Петра Чайковского)

Не ходи пощипывать,
Не ходи просма-атривать,
Не ходи прощу-упывать
Икры наши де-е-евичьи-и...

ВИТЯ *(под Кальмана, играя пузенью):*

За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?

КОЛЯ *(под советскую детскую песенку):*

У меня водчонки нет,
Даже вермутишки нет...

ПРОХОРОВ *(подхватывает):*

Только пиво, только воды!
Только воды, только пиво!
И никто у нас не пьян!
Лейте, лейте, сумасброды.
Одуряющее диво
В торжествующий стакан!
Пиф-паф!

(Подходит к баклаге со спиртом, наливает, в себя опрокидывает. То же самое хотели бы сделать и другие. Но Гуревич их останавливает.)

ГУРЕВИЧ: Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить тебе отраду: твоя мама – не умерла! Она жива. Пашка ее не убивал! *(Наливает ему.)*

СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ *(прижимая налитое к сердцу):* Ура! Моя мама жива!

ПАШКА: Ура! я ее не убивал! *(Мгновенно выхватывает кружку из рук Сережи и залпом выпивает.)*

ГУРЕВИЧ: Ты ловок, Паша, как я погляжу.

Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий.

А вот по морде смажут – это точно –
«Приватно и в партикулярной форме».

ПРОХОРОВ: Рене Декарт?.. (К Паше):

Короче, друг любезный, –

Ступай в манду по утренней росе!

КОМСОРГ ПАША (получив от старосты пощечину и икнув, присоединяется к пляшущим).

ГУРЕВИЧ: Нет, ты только посмотри, староста, на это вот итоговое и рвотное. Значит, всё – всё было не напрасно, все революции, религиозные распри, взлеты и провалы династий, Распятие и Воскресение, варфоломеевские ночи и волочаевские дни, – всё это, в конечном счете, только для того, чтобы комсорг Еремин мог беззаветно плясать казачок... Нет, тут что-то не так... Подойди, Сережа, я тебе еще чуточек налью...

СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ (перекрестившись, выпивает).

ГУРЕВИЧ: Ну, как поживают твои веселые космонавты Космуса?

СЕРЕЖА (одушевленный пятью глотками – приплясывает в такт остальным):

Космонавты и татары,

Космонавты и татары –

Всё неправда. Всё говно.

Уносить свои гитары

Им придется все равно.

Эй-я!

ГУРЕВИЧ: Вот это да – ... А Вова? Где Вова? Что с Вовой?

ОВОА (сидит в постели, затылком опершись о подоконник, без движения, и почему-то с совершенно открытым ртом).

ГУРЕВИЧ: Поди-ка взгляни, Прохоров, что с ним?

ПРОХОРОВ: Дышит! Вовочка дышит! (Напевает ему из Грига: «Идем же в лес, друг милый мой, где

нас фиалки ждут. Идем же в лес, в зеленый лес, где нас фиалки ждут...»)

ВОВА (не откликается ни звуком. Рот по-прежнему открыт. А головку его уже обдувает Господь).

ГУРЕВИЧ: Однако!.. Там (кивает в ту сторону, где происходит маевка медперсонала). Там веселятся совсем иначе. Ну, что же... Мы – подкидыши, и пока еще не найденыши. Но их – окружают сплетни, а нас – легенды. Мы – игровые, они – документальные. Они – дельные, а мы – беспредельные. Они – бывалый народ. Мы – народ небывалый. Они – лающие, мы – пылающие. У них – позывы...

ПРОХОРОВ: А у нас – порывы, само собой... Верно говоришь! У них – жисть – жистянка, а у нас – житиё! У нас всё как поют! а у них – какие-нибудь там Ротару и Кобзоны... А я бы эту прекрасную Софию Ротару утопил бы – вот только не знаю, где лучше, в говне или проруби. А прекрасного Иосифа Кобзона за чекушку продал бы в Египет... Хо-хо! только и делов! (Сепаратно выпивают по совсем махонькой. Остальные, томительно облизываясь, стоят в стороне.)

ПРОХОРОВ: И вообще – в России пора приступать к коренной ломке всего самого коренного!.. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов – утопил. Теперь уже пора бы...

ГУРЕВИЧ: Да, да. Теперь уже пора бы менять этикетки. А то – ну, что за преснятина? Юбилейная, Стрелецкая, Столичная... Когда я это вижу, у меня с души воротит. Водяра должна быть как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим, так: Девичья Горючая – пять рублей 20 копеек. Мужская Скупая – семь рублей. Беспризорная Мутная – 4. 20. Вдовья Безутешная – тоже не очень дорого: 4. 40. Сиротская Горькая – шесть рублей. Krokodilova importa – червонец. Ну, и так далее. ... Но только – прежде чем ломать Россию, на глазах изумленного человечества, надо вначале ее просветить...

ПРОХОРОВ: Вот-вот. Просветить. Наша запущенность во всех отраслях знания ... подумать страшно. Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь себе – никто не знает. Из 145-ти опрошенных только один ответил правильно, и то невзначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эру Просвещения?..

ГУРЕВИЧ: Так мы уже ее начали. Пока – в пределах 3-й палаты. А там, смотришь... Ну, чем был русский народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком – никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве – и говорить не приходится. Когда я, будучи на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус...

ПРОХОРОВ (патетически): Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть **заколдованность**. Я чувствую это по себе, а сегодня ночью – особенно...

ГУРЕВИЧ: Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недорезанность, – так это тоже легко поправимо...

Тем временем Алеха, Витя, Коля, Сережа и Михалыч медленно приближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разной степенью обожания.

ПРОХОРОВ: Алеха!?

АЛЕХА: Мы все тут.

ПРОХОРОВ: И хорошо, что все.

ГУРЕВИЧ: Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже **все** только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкой. Ватикан им выдает эту похлебку или еще кто – не знаю, – но они глядят при

этом в сторону России и думают ... о чем уж они там думают, я тоже не знаю... но, как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы – готовите себя – к подвигу?

ВИТЯ ТОЛСТОПУЗЫЙ: Еще как готовим!

ГУРЕВИЧ: Ну, вот и прекрасно. (*Обносит напитком всех поочередно. Продолжает при этом*): В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремса в очереди – но ведь не за жалкой ватиканской похлебкой, а за предметом высшей категории! Это тоже надо понимать!.. И потом – они разобщены: у каждого **свой** трепет, **свое** урчание в животе. У нас – один трепет и одно урчание!

АЛЕХА: Ура!

ПРОХОРОВ: Это ты к чему, дурак, крикнул «Ура!»?

АЛЕХА: А потому, что они разобщены. И мы их передушим, как котенков!

ПРОХОРОВ: Как ты думаешь, Гуревич: передушим?

ГУРЕВИЧ: Да душить-то пока зачем? Так уж сразу и – душить! Миротворнее нас – нет среди народов. Но если **они** и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем **они** и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной – **что нам за дело, родной?** Глазки скорее сомкни». И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»... Нет, мы не такovy. Чужая беда – это и наша беда. Нам дело есть до любого вздоха, и спать нам некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха, тяжелого вздоха за стеной, – но и вообще вдоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!

ПРОХОРОВ: Я понял так, что все-таки душиТЬ. Только вот не знаю, с кого начать. Наверно, все-таки с фрицев.

ГУРЕВИЧ: Помилосердствуй, Прохоров! Каких еще фрицев? Для того, чтобы фриц не дышал, нам не понадобится даже качнуть левой ногой! Да фриц уже, по существу, и не дышит!

ВИТЯ: Я бы голландцев наказал, за их летучесть...

МИХАЛЫЧ: Тогда уж и жидов, за их вечность...

ПРОХОРОВ: Тссс!.. Я предлагаю, Гуревич, лишить адмирала следующей порции напитка. И заодно разжаловать его в юнги. За вульгаризм...

ГУРЕВИЧ: Мы, пожалуй, так и сделаем.

АЛЕХА: А меня вот лично интересуют Британские острова...

ГУРЕВИЧ: Ну, с Британией нечего и сюсюкать. Уже Геродот не верил в ее существование. А почему мы должны быть лучше или хуже Геродота? Надо, чтобы все достоверно убедились, что ее и в самом деле не существует, – а для этого приложить одно, самое незначительное усилие...

ПРОХОРОВ: А янки в это время пусть чуточек потрепещут. Пусть у них будут поганые, бессонные ночи, нечего с ними гудбайничать...

КОЛЯ: Но вот... если мне прикажут душиТЬ скандинавов... так за что мне их душиТЬ? Они ведь такие белокурые-белокурые, такие нивчем-невиноватые-нивчемневиноватые...

ГУРЕВИЧ: Ты ошибаешься, Коля. Их надо пропесочить, для начала, за то, что своих зловонных викингов и конунгов они считают пращурами наших великих князей. И потом – за Квислинга и вообще за то, что они мореплаватели...

ПРОХОРОВ (*подхватывает*): ...и за то, что они вольно разгуливают по обоим, нашим, исконно русским полюсам. Стервецы они, а никакие не мореплаватели... К ногтю! – я так считаю...

МИХАЛЫЧ: До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте Настеньке. Всё. *(Как простреленный навывлет, валится у обочины постели и храпит навеки.)*

ГУРЕВИЧ: Что это с ним? Шутит он?.. или..?

ПРОХОРОВ: Юнгу просто немножко укачало нашими штормами. Это ничего... С итальяшками, например, мы и без него управимся. Пустее племени Господь от веку не сотворял. Им бы только все время обниматься, и ничего другого у них нету. Взять хотя бы этих... Сакко и Ванцетти. Вообще-то обниматься пусть обнимаются. Сакко прекрасен и телом и душой. У Ванцетти – души и в помине нет, зато какие формы! Что спереди, что сзади! Но формы-то формами, а зачем бросать в еловый костер, как головешку, нашего партийного товарища Джордано Бруно? Да будь я итальянец, как бы я осмелился взглянуть в русские глаза после этого!..

АЛЕХА: Эх, разбередил ты меня этими... формами прекрасной Ванцетти! Полячку бы мне!..

ПРОХОРОВ: Не будет полячек!!

ВИТЯ: А их-то за что? За Тараса Бульбу?..

ГУРЕВИЧ: Плевать в твою Бульбу!.. За то, что они опередили нас и в географической приближенности к Европе, и ...

ПРОХОРОВ: И в исторической ненависти к жидам...

АЛЕХА *(в подражание своему патрону)*: У меня есть предложение: разжаловать товарища Прохорова в мои ординарцы, за вульгаризм, и лишить предстоящей рюмахи...

ГУРЕВИЧ: Ну, это уж слишком! Шутнику надо просто дать немножко по шеям...

ПРОХОРОВ *(подходит к Алексе и слегка дает ему «по шеям»)*.

ГУРЕВИЧ: Боже! Они опять всё перепутали!.. Ну, да ладно. Скажите-ка мне лучше, вы, готовые к подвигу: а кто из вас любит французики?

ВСЕ: Все!

ГУРЕВИЧ (*саркастично*): Все?

ВСЕ (*опомнившись*): Никто!

ГУРЕВИЧ: Ну, то-то же. Тут уж слишком обильный криминал: и правый бок Багратиона, и живот Александра Пушкина, и левый глаз Кутузова, и ...

КОЛЯ (*пьяненький*): Но это же турки!.. глаз у Кутузова...

ПРОХОРОВ: Причем здесь турки? Какие еще турки?! Всех турок уже давно перестрелял из ружья наш болгарский товарищ Антонов, на площади святого Петра в Риме. А я – лично, видел хорошую картину: на ней изображен Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами...

ГУРЕВИЧ: В том-то все и дело. Русский не должен быть одноглазым. Вот **они** – они могут себе позволить эту роскошь, все эти адмиралы Нельсоны-Рокфеллеры. А мы – нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас смотреть **в оба**. Да. (*Аплодисменты.*)

КОЛЯ: Но... Лиссабон... наш такой красивый Лиссабон!..

ПРОХОРОВ: А это еще что за Лиссабон? Что такое вообще – Лиссабон? Облить его водой со всех сторон и никого не выпускать! Вот так. Или – поджечь его со всех сторон и никого не выпускать!..

ГУРЕВИЧ: Одно только слово «Лиссабон» – мне уже противно слушать. У меня разливается желчь, когда при мне говорят «Лиссабон». А разве должна разливаться желчь у человека? Нет, она разливаться не должна... Значит, и Лиссабона быть не должно! (*Аплодисменты.*) Тебе, Коля, нужен Лиссабон?

КОЛЯ: Не-а...

ГУРЕВИЧ: А тебе, Витя?

ВИТЯ: Нисколечко.

ГУРЕВИЧ: Вот видите: на свете существуют вещи, решительно никому не нужные, – цветут, благоухают и

существуют. Тогда как человечеству не хватает самого насущного. Короче, Лиссабона не будет... Но при этом – могу я рассчитывать на своих стратегических союзников?

ВСЕ (*вразнойбой*): Можешь, можешь, Гуревич! Давай еще шлепнем по маленькой!..

ГУРЕВИЧ: Самое время! (*Шлепают по маленькой*).

СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ: Добрый день, быть может вечер, я знать, конечно, не могу, привет от чистого сердечка я передать тебе спешу. Здравствуй, покойная мама, с приветом к тебе твой сын Федя. (*И вдруг захохотал – необычайно – ведь его никто не видел даже улыбающимся. Похохотав и закрутившись волчком, падает на пол, бьется в странных пароксизмах.*)

ВСЕ (*на время немеют. Музыка*).

ГУРЕВИЧ (*нахмурившись*): Ну, что ж... Мама оказалась жива – и он от этого оказался мертв... В истории уже бывали случаи смерти от внезапно доставленного радостного известия. Мишель Монтень.

СТАСИК (*сбрасывает с себя позу мавзолейного часового и снова начинает пульсировать из угла в угол палаты*): Рожденные под знаком качества пути не помнят своего. Но мы – отребье человечества – забыть не в силах! Расслабьтесь, люди, потрясите кистями. И, пожалуйста, не убивайте друг друга, – это доставит мне огорчение. Бог мудрее человеков! Держитесь за ризу Христову! (*И снова окаменевает: на этот раз в колено-преклоненной и молитвенной позе.*)

ГУРЕВИЧ (*вдохновенно продолжает*): А если нет Лиссабона – понятное дело, остальные континенты проваливаются сами собой... Начиная с азиатского Востока. Это пагубное и зловещее скопление нечистот – не имеет права **быть!** Вот вам восточная надпись на камне, надгробная, – и ведь Евангельских времен! – «Всеобщий любимец, он был полон очарования. Не щадя никого, истреблял он всех без остатка». (*Смех в зале.*) Ну, что

прикажете делать с такими народами? А ничего не делать! Они издохнут сами по себе. У них то и дело грохочут демографические взрывы, фурункулезы, хиросимы, напалмы, нагасаки, и вообще жрать нечего. Сами по себе – тихо вымрут, для очищения земли и небес! А все остальное довершит клещевой энцефалит, грызня марксистских диктатур и манчжурская лихорадка. Ближятся сроки Воздаяния! Выпьем по махонькой, дорогие собратья, чтобы приблизить эти сроки!..

АЛЕХА: Я, например, – за манчжурскую лихорадку! *(Первым выпивает, крикает и пробует возобновить представление):*

Пум – пум – пум – пум.
Пум – пум – пум – пум.
Вот он, вот он, конец света!
Завтра встанем в неглиже,
Встанем-вскочим: свету нету,
Правды нету,
Денег нету,
Ничего святого нету, –
Рейган в Сирии уже!

ХОР *(уже успевших выпить и прокрякаться):*

Ничего на свете нету! –
Рейган в Вологде уже!

ПРОХОРОВ *(зычно):* Этот день победы!!

ХОР: Прохором пропа-ах!
Это счастье с беленою на устах!
Это радость с пятаками на глазах!
День победы!..

ГУРЕВИЧ: Ша! Пьяная бестолочь! вы, оказываете-ся, ничего не поняли из моих вдохновенных прозрений! вы всё перенапутали...

ПРОХОРОВ: Мы всё отлично поняли, Гуревич. Но только ты забыл про то, что он есть ООН и Перес де Куэльяр... И когда начнут проваливаться континенты...

ГУРЕВИЧ: Ха-ха! Перес де Куэльяр, конечно, схватится за свою перуанскую голову. Вы видели когда-

нибудь людей с перуанскими головами? А вот у него – перуанская голова, и он-таки за нее схватится. Ну, и пусть. Все равно ведь, никто за нас не будет спасать зачумленный мир! И вы, все, – пируя, не забывайте о чуме! Пир – это хорошо, но есть вещи поважнее, чем пир. Генерал Хейг. И веруйте в конечное русское торжество, поскольку с **ними** – крестная сила, и ничего больше. С **нами** – все остальное!..

(Звук вначале непонятный. Будто кто-то с размаху затворил за собою дверь на щеколду. Все поворачиваются. А это – Вова. А это – Вовин рот, раскрытый в продолжении всего пятого акта, – захлопывается навсегда. Почти в это же время обрываются храпы комсорга Еремина под белой простыней. За сценой – «Липа вековая».)

КОЛЯ (*шатаясь, подходит к Вове и прикладывает ухо к его сердцу*): Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!.. Не уходи. В лесу-то ведь сейчас: как хорошо! и дух такой духовитый... (*по-ребячески плачет*) ... гамбузии плещутся в пруду... расцвели медуницы...

ОВОА (*не откликается*).

ПРОХОРОВ: Ну, почему бы действительно не отпустить человека в деревню?.. Ведь просился же, каждый день просился, – и всякий раз отказывали. Вот и зачах человек от тоски по лесным пространствам...

ГУРЕВИЧ: За упокой... (*четверо оставшихся, под все длящуюся «Липу вековую», выпивают за упокой*).

ПРОХОРОВ (*в упор смотрит на Гуревича*): И чем же все-таки кончится?.. Вся эта серия наших побед над зачумленным миром?

ГУРЕВИЧ: О! Вначале – конечно – русская нация будет чувствовать себя счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухою. Но потом... Подцепив у победенных все их недуги, они захиреют, и ничего не останется от их бывшего исполинства, они рассеются пылью по лицу земли. Вернее, их будет заносить – муссонами со стороны Яффы – их будет заносить все дальше и дальше на север, в сторону безжизненных просторов... все дальше на север, где дни еще облачнее, еще короче и,

следовательно, где умирать еще безболезненнее и легче. Франческа Петрарка. И вот – пока русские летят в назначенную им бездну – народ Иеговы...

ПРОХОРОВ: Наконец-то! Народ Иеговы! Мы с Алехой уже занимаем израильские позиции. То есть, единственно разумные. То есть, предварительно даже выбивая из этих позиций самих израильтян!..

ГУРЕВИЧ: Лихо!.. Бахрейн, Кувейт и эмираты, известное дело, обрекут нас на нефтяной голод...

ПРОХОРОВ: Но ведь их к тому времени не будет: ни Бахрейна, ни Кувейта...

ГУРЕВИЧ: Ну так что ж, что не будет. Ты плохо знаешь арабов. Даже когда их самих уже и нет, – их упорствующий фанатизм и бестолковость все равно – остаются. Так вот, они обрекают нас на нефтяной голод. А нам – наплевать. Зачем она, собственно, нам нужна, эта нефть? Может, тебе, Витя, она нужна?

ВИТЯ: В гробу я ее видал.

ГУРЕВИЧ: Даже Вите она не нужна. Мы ее заменим чем-нибудь, эту поганую нефть. Вермутом, например, правда, Коля?..

КОЛЯ *(продолжает плакать, все тише, тише, и не отвечает ничего. «Липа вековая» продолжает-ся)*.

ГУРЕВИЧ: Итак, я поведу вас тропею грома и мечты! и шестиконечная звезда Давида будет нам путеводительной и судьбоносной!.. Говорят, звезда его беспутного сыночка Соломона была уже пятиконечной. Это нам не годится, Соломон Давидыч, имея восемьсот штук наложниц и...

ПРОХОРОВ: Вот ведь до какой степени можно изблядоваться: пятиконечная звезда!

ГУРЕВИЧ *(одушевляясь все более)*: Да здравствует Эрец Израиль до самого Евфрата.

ПРОХОРОВ: Зачем сужать? **От Нила** до Евфрата!

ГУРЕВИЧ: Чего мельчить? От Нила до Евфрата –
Все это хорошо, но мелкогато,
А от Евфрата – на восток, восток... –
И вплоть до Нила!..

АЛЕХА: От Синайского полуострова – до Кольско-
го!..

ГУРЕВИЧ: А если кто косо взглянет на нас – **если еще будет кому** глядеть на нас косо – будет как в Талмуде: Бен-Зама взглянул – и потерял рассудок. Бен-Азай взглянул – и умер. И да испепелит их Провидение! И да разметет их Господь божественной Метлою Своею!.. И так, выпьем за союз сердец, покорных высшему жребию!

ПРОХОРОВ: За союз сердец, связующий Россию и Израиль!..

ГУРЕВИЧ: За здоровье Ромена Роллана!.. сейчас, я вспомню, почему мне пришлось в голову выпить за этого лысого черта... Да, да, вспомнил. «И будь во всем Израиле хоть один праведный, говорю я вам, вы не имели бы права осуждать весь Израиль!» Роллан, письмо к Верхарну. И столицей мира будет – что бы вы думали? Иерусалим? Ничего подобного! Кана Галилейская – вот что будет столицей мира! Ха!

АЛЕХА (*басит*): И бу-удешь ты столицей ми-и-и-и... (*Не закончив, оседает на койку.*)

ГУРЕВИЧ: Распростертие крыльев наших будет во всю ширину земли твоей, Эммануил! Не лишайте себя предрассветных чувств! Где твоя труба, лучший трубач Советского Союза Тимофей Докшицер?! Свистать всех наверх! Еще по **бокалу**! За солнечное сплетение обстоятельств!..

АЛЕХА (*голосом хриплым и павшим*): Ура...

ВИТЯ (*выпив, тоже оседает на койку, рядом с Алейхой. Его начинает неудержимо рвать, рвать даже шахматными пешками и костяшками домино. Сотрясаясь рвотою, делает несколько конвульсивных движений ногами – и падает на постель, бездыханный*).

Гуревич и Прохоров. Загадочно смотрят друг на друга. Свет в палате – неизвестно почему – начинает меркнуть.

СТАС (*встает с колен. Забегал в последний раз*): Что с вами, люди? Кто первый и кто последний в очереди на Токтогульскую ГЭС? Отчего это безлюдно стало на Золотых пляжах Апшерона? Для кого я сажал цветы? Почему?.. Почему в 1970-м году ЮНЕСКО не отметило 2 тысячи лет со дня кончины египетской царицы Клеопатры?! (*И снова замерзает, на этот раз со склоненной головою и скрестивши руки на груди, а-ля-Буонапарте в канун своего последнего Ватерлоо. И так остается до предстоящего через несколько минут вторжения медперсонала.*)

ПРОХОРОВ: Алеха!..

АЛЕХА (*тяжко дышит*): Да... я тут...

ПРОХОРОВ (*тормошит*): Алеха!..

АЛЕХА: Да... я тут... прощай, мама... твоя дочь Любка... уходит... в сырую землю... (*Запрокидывается и хрипит*)... мой пепел... разбросайте над Гангом... (*Хрипы обрываются.*)

ПРОХОРОВ: Так что же это... Слушай, Гуревич, я видеть начинаю плохо... А тебе – ничего?.. (*уже исподлобья*).

ГУРЕВИЧ: Да видеть-то я вижу. Просто: в палате потемнело. И дышать все тяжелее... Ты понимаешь: я сразу заметил, что мы хлещем чего-то не то...

ПРОХОРОВ: Я тоже – почти сразу заметил... А ты, если сразу заметил, – почему не сказал? принуждал почему?..

ГУРЕВИЧ: Да кто же принуждал? Мне просто показалось...

ПРОХОРОВ: Что тебе показалось?.. А когда уже передохла половина палаты, тебе все еще **казалось**?.. (*Злобно*): Ум-мысел у тебя был. Ум-мысел. **Вы** же не можете... без ум-мысла...

ГУРЕВИЧ: Да, умысел был: разобщенных – сблизить. Злобствующих – умиротворить... приобщить их к маленькой радости... внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней... Другого умысла – не было...

ПРОХОРОВ: Врешь, ползучая тварь... Врешь... Я знаю, чего ты замыслил... Всех – на тот свет, всех – под корень... Я с самого начала тебя раскусил... Ренедкарт... Ссучара... *(Пробует подняться с кровати и с растопыренными уже руками надвигается на спокойно сидящего Гуревича. Но уже не в силах – что-то отбрасывает его назад, в постель):* Ссученок...

ГУРЕВИЧ: Выражайся достойнее, староста.. Что проку говорить теперь об этом? Поздно. Я уже после Вовиной смерти – понял, что поздно. Оставалось только продолжать. Заметить-то я **сразу** заметил. А вот убедился – когда уже поздно...

ПРОХОРОВ: Ты мне просто скажи – смертельную дозу... мы уже перевалили?..

ГУРЕВИЧ: По-моему, да. И давно уже.

(Обмениваются взглядами, полными бездонного смысла. Продолжает темнеть.)

ПРОХОРОВ: Пиздец, значит... Ну, тогда... Там еще чуть-чуть плещется на дне... Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел... На тебе нет никакой вины... Налей, Гуревич, весь остаток – пополам. Ты готов?

ГУРЕВИЧ *(совершенно спокойно)*: Готов. Но только здесь умирать – противонатурально. Меж крутых бережков – пожалуйста. Меж высоких хлебов – хоть сейчас... Но здесь!.. *(Чокаются кружками. Дышат еще тяжелее прежнего.)* И потом – мне предстоит вначале большое дело... один обещанный визит... *(Прохоров, ухватившись за горло и сердце, – клонится и клонится к подушке.)*

ГУРЕВИЧ (*машинально продолжает долбить*): Они там маевничают... У них шампанское льется со стерлядями... У них райская жизнь, у нас – самурайская... Они – бальные, мы – погребальные... Но мы люди дальнего следования... Сейчас мы встанем... Изверг естества... неужели с ней? Уже несколько часов – с ней?... А я-то: о Кане Галилейской. ...«Гуревич, милый, все будет хорошо...» – так она сказала. Сейчас мы посмотрим, до какой степени все будет хорошо... Сейчас, сейчас... (*Вскакивает и опять обрушивается на стул.*)

За сценой – или изнутри стен – упадочническая песня Надежды Обуховой: «Ой, ты, ночка, ночка тем-омная...» etc.

ГУРЕВИЧ: Ты звал меня на ужин, Мордоворот, так я – к завтраку... Чудотворная девка! Натали!.. Пока я тут сижу и приобретаю модальные оттенки, они в это время... Господи, не мучай... они в это время... (*Роняет голову на тумбочку и вцепляется в волосы.*)

ГОЛОС СВЕРХУ (*голос, в котором не столько императива, сколько насморочного металла*): Владимир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй.

ГУРЕВИЧ (*подымает голову и смотрит на птицу с недоумением безмерным*): Боже милосердный! Это еще что? И почти ничего не вижу... Библию мне и посох – и маленького поводыря... За малое даяние пойду по свету – благовестить. Теперь я знаю, что и о чем – благовестить...

ГОЛОС СВЕРХУ: Влади-и-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу (*ускоренно*) на хуй – на хуй – на хуй – на хуй...

ГУРЕВИЧ (*с тяжким трудом приподымается со стула, вцепившись в тумбочку всей душою – только б не упасть, только б не упасть*): Пока еще хоть немножко осталось зренья – я доберусь до тебя, я приду на

завтрак... Ссскот... (отрывается от тумбочки. Качнувшись, делает первый шаг, второй).

ГУРЕВИЧ: Ничего, я дойду. (Третий шаг. Четвертый. Спотыкаясь в темноте о труп контр-адмирала – падает. Медленно, ухватившись за спинку чьей-то кровати – встает.) Я дойду. Ощупью, ощупью, потихоньку. Все-таки дотянусь до этого горла... Ведь не может же быть, Натали, чтобы все **так и оставалось**. (Почти совсем темно. Пятый шаг. Шестой. Седьмой.)

ГУРЕВИЧ: Боже, не дай до конца ослепнуть... Прежде исполнения возмездия. (И снова падает, рассекая голову о край следующей кровати. Две минуты беспомощных и трясущихся, громких рыданий.)

ГУРЕВИЧ: Дойду. Доползу... (Как ему это удастся? – снова встает во весь рост. Руками обшаривая перед собою пространство, делает еще пять шагов – и он уже у дверного косяка): Сейчас... чуть передохну – и по коридору, по стенке, по стенке...

ПРОХОРОВ (до того лежавший спокойно, приподымает голову – и издает **крик** – всполошивший все палаты, всех спящих и неспящих медсестер и медбратьев в дальней ординаторской и в докторском кабинете. **Так в этом мире не кричат**).

(Взбудораженные, полусонные, подавшие постовые, с Ранинсоном во главе, – по освещенному коридору приближаются к 3-й палате поступью Фортинбрасов. Первое, что им предстает, – едва дышащий Гуревич, уже совсем слепой, с синим и окровавленным лицом. Боренька-Мордворот пинком отшвыривает его от входа в палату. Все врываются.)

РАНИНСОН (перекрывая разноголосицу и гвалт): Срочно к телефону!! На центральный и в морг!!

ПОСТОВЫЕ МЕДСЕСТРЫ (вразнобой): «А один-то! Один умер стоя! скрестивши руки!.. и до сих пор не падает, к стене привалился» – «Весь запас метилового – подчистую!» – «Нет, один, по-моему, еще дышит...» – «Кто же так кричал?» И пр. И пр.

КУЧА САНИТАРОВ (толстых с носилками):
Сколько я помню, никогда такого урожая не случилось.
(Начинается вынос трупов, поочередно. Конец финала
второй симфонии Сибелиуса.)

БОРЕНЬКА: Наташа, где твои ключи?!.

НАТАЛИ (ополоумев, даже не плачет): Ой, не
знаю... Ничего не знаю...

ОДНА ИЗ МЕДСЕСТЕР: «А Колю-то, Колю
зачем понесли? Он ведь будто немножко дышит...»

РАНИНСОН (язвительно): Ничего! Тоже – в морг!
Вскрытие покажет, имеем ли мы дело с клинической
смертью или клиническим слабоумием!..

БОРЕНЬКА (поддевая ногой раненую голову Гуревича):
А с этим – что делать?

РАНИНСОН: Пронаблюдайте за ним. А я – к телефону.
Трезвону сегодня не оберешься.

БОРЕНЬКА (за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты.
Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все).: Ну, как поживаем, гнида?.. Тоскуем по крематорию?.. Вонючее ваше племя!.. (Серия ударов в бок или в голову тяжелым ботинком.) Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, сссрань еврейская. Всех!

ГУРЕВИЧ (хрипло): Я же – ничего не знал... (Еще удар)... Я же слепой... Я ничего не вижу... (Удар).

НАТАЛИ (из полутьмы): Что же теперь будет-то? Что же теперь будет-то? Мама!.. (Толчкообразно всхлипывает. Плачет, как девочка.)

БОРЕНЬКА (при каждой его реплике Сибелиус на время отступает, и вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняний, – отдает протухшей поросятиной, псиной и паленой шерстью): Ослеп, говоришь? сссучье вымя!.. раньше ты жил как в Раю: кто в морду влепит – все видать. А теперь – хуй чего увидишь! (Влепляет еще, потом опять в голову.)

НАТАЛИ (*истерично*): Борька! Переста-ань! Перестаааань! Ведь это с ума сойти!.. Переста-а-ань же! (*Закатывается в клокочущих рыданиях.*)

БОРЕНЬКА (*со все возрастающим остервенением*): Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя! (*Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение медбрата.*) Пидор гнойный! Тварь ебучая! Ссскотобаза!..

Занавес уже закрыт, и можно, в сущности, расходиться. Но там – по ту сторону занавеса – продолжается все то же, и без милосердия. Рык Гуревича становится все смертельнее. Оттуда – из палаты – сквозь занавес – вылетает к зрителям куль с постельным бельем; следом тумбочка, и рассыпается вдребезги. Потом – клетка с уже издохшим **ото всего этого** попугаем.

(Никаких аплодисментов).

Ранней весной 85 г.

КРОХОТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

«За музыку только дело», без этого нельзя. Кроме уже рассованных по тексту авторских указаний, можно использовать (совсем негромко) русские народные песни: вроде «Позарастили стежки-дорожки», «На Муромской дорожке», лучше оркестровые вариации на эти темы – (в 3-м акте). Русскую песню «У зари-то у зореньки» (в 1-й половине 4-го акта). 1-я часть 3-й симфонии Малера, совсем засурдиненно, в 1-м акте. Какое-нибудь из самых мерных и безотрадных *Andante* Брукнера в 5-м. Ну, и так далее.

В. Ер.

* *
*

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал чёрт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озираю полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнава входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок,
позволял своим связкам все звуки, помимо воя,
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24-V-1980

БЮСТ ТИБЕРИЯ

Приветствую тебя две тыщи лет
спустя. Ты тоже был женат на бляди.
У нас немало общего. К тому ж,
вокруг – твой город. Гвалт, автомобили,
шпана со шприцами в сырых подъездах,

развалины. Я, заурядный странник,
приветствую твой пыльный бюст
в безлюдной галерее. Ах, Тиберий,
тебе здесь нет и тридцати. В лице
уверенность скорей в послушных мышцах,
чем в будущем их суммы. Голова,
отрубленная скульптором при жизни,
есть, в сущности, пророчество о власти.
Всё то, что ниже подбородка, – Рим:
провинции, откупщики, когорты,
плюс сонмы чмокающих твой шершавый
младенцев – наслаждение в ключе
волчицы, потчующей крошку Рема
и Ромула. (Те самые уста!
глаголющие сладко и бессвязно
в подкладке тоги.) В результате – бюст
как символ независимости мозга
от жизни тела. Собственного и
имперского. Пиши ты свой портрет,
он состоял бы из сплошных извилин.

Тебе здесь нет и тридцати. Ничто
в тебе не останавливает взгляда.
Ни, в свою очередь, твой твердый взгляд
готов на чем-либо остановиться:
ни на каком-либо лице, ни на
классическом пейзаже. Ах, Тиберий!
Какая разница, что там бубнят
Светоний и Тацит, ища причины
твоей жестокости! Причин на свете нет,
есть только следствия. И люди – жертвы следствий.
Особенно, в тех подземельях, где
все признаются – даром, что признанья
под пыткой, как и исповеди в детстве,
однообразны. Лучшая судьба –
быть не причастным к истине. Понеже
она не возвышает. Никого.

Тем паче цезарей. По крайней мере, ты выглядишь способным захлебнуться скорее в собственной купальне, чем великой мыслью. Вообще – не есть ли жестокость только ускоренье общей судьбы вещей? свободного паденья простого тела в вакууме? В нем всегда оказываешься в момент паденья.

Январь. Нагроможденье облаков над зимним городом, как лишний мрамор. Бегущий от действительности Тибр. Фонтаны, бьющие туда, откуда никто не смотрит – ни сквозь пальцы, ни прищурившись. Другое время! И за уши не удержать уже взбесившегося волка. Ах, Тиберий! Кто мы такие, чтоб судить тебя? Ты был чудовищем, но равнодушным чудовищем. Но именно чудовищ – отнюдь не жертв – природа создает по своему подобию. Гораздо отраднее – уж если выбирать – быть уничтоженным исчадьем ада, чем неврастеником. В неполных тридцать, с лицом из камня – каменным лицом, рассчитанным на два тысячелетья, ты выглядишь естественной машиной уничтожения, а вовсе не рабом страстей, проводником идеи и прочая. И защищать тебя от вымысла – как защищать деревья от листьев с ихним комплексом бессвязно, но внятно ропщущего большинства.

В безлюдной галерее. В тусклый полдень. Окно, замызганное зимним светом.

Шум улицы. На качество пространства никак не реагирующий бюст...
Не может быть, что ты меня не слышишь!
Я тоже опрометью бежал всего со мной случившегося и превратился в остров с развалинами, с цаплями. И я чеканил профиль свой посредством лампы. Вручную. Что до сказанного мной, мной сказанное никому не нужно – и не впоследствии, но уже сейчас. Не есть ли это тоже ускоренье истории? успешная, увы, попытка следствия опередить причину? Плюс, тоже в полном вакууме – что не гарантирует большого всплеска. Раскаяться? Переверстать судьбу? Зайти с другой, как говорится, карты? Но стоит ли? Радиоактивный дождь польет не хуже нас, чем твой историк. Кто явится нас проклинать? Звезда? Луна? Осатаневший от бесчисленных мутаций, с рыхлым туловищем, вечный термит? Возможно. Но, наткнувшись в нас на нечто твердое, и он, должно быть, опешит и прервет буренье.

«Бюст, – скажет он на языке развалин и сокращающихся мышц, – бюст, бюст».

ПРИЛИВ

I

В северной части мира я отыскал приют, в ветреной части, где птицы, слетев со скал, отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют с криком поверхность рябых зеркал.

Здесь не прийти в себя, хоть запрись на ключ.
В доме – шаром покати, и в станке – кондей.
Окно с утра занавешено рванью туч.
Мало земли, и не видать людей.

В этих широтах панует вода. Никто
пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть: «вон!»
Горизонт себя выворачивает, как пальто,
наизнанку с помощью рыхлых волн.

И себя отличить не в силах от снятых брюк,
от висящей фуфайки – знать, чувств в обрез
либо лампа темнит – трогаешь ихний крюк,
чтобы, руку отдернув, сказать: «воскрес».

II

В северной части мира я отыскал приют,
между сырым аквилоном и кирпичом,
здесь, где подковы волн, пока их куют,
обрастают гривой и ни на чем

не задерживаются, точно мозг, топя
в завитках перманента набрякший перл.
Тот, кто привел их в движение, на себя
приучить их оглядываться не успел!

Здесь кривится губа, и не сто́ит базлать
про квадратные вещи, ни про свои черты,
потому что прибой неизбежнее, чем базальт,
чем прилипший к нему человек, чем ты.

И холодный порыв затолкает обратно в пасть
лай собаки, не то что твои слова.
При отсутствии эха, вещь, чтоб ее украсть,
увеличить приходится раза в два.

III

В ветреной части мира я отыскал приют.
Для нее я – присохший ком, но она мне – щит.
Здесь меня не отыщут, если за мной придут,
потому что плотная ткань завсегда морщит.

В этих широтах цвета дурных дрожжей,
карту избавив от пограничных дрызг,
точно скатерть, составленная из толчеи ножей,
расстилается, издавая лязг.

И, один приглашенный на этот бескрайний пир,
я о нем отзовусь, кости не в пример, тепло.
Потому что, как ни считай, я из чаши пил
больше, чем вниз по лицу текло.

Нелюдей от живых хорошо отличать в длину.
Но покуда Борей забираться в скулу горазд
и пока толковище в разгаре, пока волну
давит волна, никто тебя не продаст.

IV

В северной части мира я водрузил кирпич!
Знай, что душа со временем пополам
может всё повторить, как попугай, опричь
непрерывности, свойственной местным сырým делам!

Так, кромсая отрез, кравчик кричит: «сукно!»
Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы.
Плюс, пустые дома стоят, как давным-давно
отвернутые на бану углы.

В ветреной части мира я отыскал приют.
Здесь никто не крикнет, что ты чужой,
убирайся назад, и за постой берут
выцветаньем зрачка, ржавую чешуей.

И фонарь на молу всю ночь дребезжит стеклом,
как монах либо мусор, обутый в жуть,
и громоздкая письменность с ревом идет на слом,
никому не давая себя прочесть.

V

Повернись к стене и промолви: «я сплю, я сплю».
Одеяло серого цвета, и сам ты стар.
Может, за ночь под веком я столько снов скоплю,
что наутро море крикнет мне: «наверстал!»

Все равно, на какую букву себя послать,
человека всегда настигает его же храп,
и в исподнем запутавшись, где ералаш, где гладь,
шевелиясь, разбираешь, как донный краб.

Вот про что напевал, пряча плавник, лихой
небожитель, прощенного в профиль бледней греха,
заливая глаза на камнях ледяной ухой,
чтобы ты наострился слагать из костей И. Х.

Так впадает – куда, стыдно сказать – клешня.
Так следы оставляет в туче кто в ней парил.
Так белеет ступня. Так ступени кладут плашмя,
чтоб по волнам ступать, не держась перил.

НА ВЫСТАВКЕ КЕЙСА ВЕЙЛИНКА

А. С.

Почти пейзаж. Количество фигур,
в нем возникающих, идет на убыль
с наплывом статуй. Мрамор белокур,
как наизнанку вывернутый уголь,

и местность мнится северной. Плато;
гиперборей, взъерошивший капусту.
Всё так горизонтально, что никто
вас не прижмет к взволнованному бюсту.
Возможно, это – будущее. Фон
раскаяния. Мести сослуживцу.
Глухого, но отчетливого «вон!».
Внезапного приема джиу-джитсу.
И это – город будущего. Сад,
чьи заросли рассматриваешь в оба,
как ящерица в тропиках – фасад
гостиницы. Тем паче – небоскреба.
Возможно также – прошлое. Предел
отчаяния. Общая вершина.
Глаголы в длинной очереди к «л».
Улегшаяся буря крепдешина.
И это – царство прошлого. Тропы,
заглохнувшей в действительности. Лужи,
хранящей отраженья. Скорлупы,
увиденной яичницей снаружи.
Бесспорно – перспектива. Календарь.
Верней, из воспалившихся гортаней
туннель в психологическую даль,
свободную от наших очертаний.
И голосу, подробнее, чем взор,
знакомому с ландшафтом неуспеха,
сподручней выбрать большее из зол
в расчете на чувствительное эхо.
Возможно – натюрморт. Издалека
всё, в раму заключенное, частично
мертво и неподвижно. Облака.
Река. Над ней кружащаяся птичка.
Равнина. Часто именно она,
принять другую форму не умея,
становится добычей полотна,
открытки, оправданьем Птолемея.

Возможно – зебра моря или тигр.
Смесь скинутого платья и преграды
облизывает щиколотки икр
к загару неспособной балюстрады,
и время, мнится, к вечеру. Жара;
сняв потный молот с пылкой наковальни,
настойчивое соло комара
кончается овациями спальни.
Возможно – декорация. Дают
«Причины Нечувствительность к Разлуке
со Следствием». Приветствуя уют,
певцы не столь нежны, сколь близоруки,
и «до» звучит как временное «от».
Блестящее, как капля из-под крана,
вибрируя, над проволокой нот
парит лунообразное сопрано.
Бесспорно, что – портрет, но без прикрас:
поверхность, чьи землистые оттенки
естественно приковывают глаз,
тем более – поставленного к стенке.
Поодаль, как уступка белизне,
клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,
спиною чуя брошенный извне
взгляд живописца – взгляд самоубийцы.

Что, в сущности, и есть автопортрет.
Шаг в сторону от собственного тела,
повернутый к вам в профиль табурет,
вид издали на жизнь, что пролетела.
Вот это и зовется «мастерство»:
способность не страшиться процедуры
небытия – как формы своего
отсутствия, списав его с натуры.

1984

МУХА

I

Пока ты пела, осень наступила.
Лучина печку растопила.
Пока ты пела и летала,
похолодало.

Теперь ты медленно ползешь по глади
замызганной плиты, не глядя
туда, откуда ты взялась в апреле.
Теперь ты еле

передвигаешься. И ничего не стоит
убить тебя. Но, как историк,
смерть для которого скучней, чем мука,
я медлю, муха.

II

Пока ты пела и летала, листья
попадали. И легче литься
воде на землю, чтоб назад из лужи
воззриться вчуже.

А ты совсем, видать, ослепла. Можно
представить цвет крупинки мозга,
померкшей от твоей, брусчатке
сродни, сетчатки,

и содрогнуться. Но тебя, пожалуй,
устраивает дух лежалый
жилья, зеленых штор понурость.
Жизнь затянулась.

III

Ах, цокотуха, потерявши юркость,
ты выглядишь, как старый юнкерс,
как черный кадр документальный
эпохи дальней.

Не ты ли за полночь там то и дело
над люлькою моей гудела,
гонимая в оконной раме
прожекторами?

А нынче, милая, мой желтый ноготь
брюшко твое горазд потрогать,
и ты не вздрагиваешь от испуга,
жужжа, подруга.

IV

Пока ты пела, за окошком серость
усилилась. И дверь расселась
в пазах от сырости. И мерзнут пятки.
Мой дом в упадке.

Но не пленить тебя ни пирамидой
фаянсовой давно немытой
посуды в раковине, ни палаткой
сахары сладкой.

Тебе не до того. Тебе не
до мельхиоровой их дребедени;
с ней связываться – себе дороже.
Мне, впрочем, тоже.

V

Как старомодны твои крылья, лапки!

В них чудится вуаль прабабки,
смешавшаяся с позавчерашней
французской башней –

– век номер девятнадцать, словом.

Но, сравнивая с тем и овом
тебя, я обращаю в прибыль
твою погибель,

подталкивая ручкой подлой
тебя к бесплотной мысли, к полной
неосязаемости раньше срока.

Прости: жестоко.

VI

О чем ты гредишь? О своих избитых,
но не рассчитанных никем орбитах?

О букве шестирукой, ради
тебя в тетради,

расхристанной на месте плоском
кириллицыным отголоском,
единственным, чей цвет, бывало,
ты узнавала

и вспархивала. А теперь, слепая,
не реагируешь ты, уступая
плацдарм живым брюнеткам, женским
ужимкам, жестам.

VII

Пока ты пела и летала, птицы
отсюда отбыли. В ручьях плотицы
убавилось, и в рощах пусто.
Хрустит капуста

в полях от холода, хотя одета
по-зимнему. И бомбой где-то
будильник тикает, лицом не точен,
и взрыв просрочен.

А больше – ничего не слышно.
Дома отбрасывают свет покрывно
обратно в облака. Трава пожухла.
Немного жутко.

VIII

И только двое нас теперь – заразы
разносчиков. Микробы, фразы
равно способны поражать живое.
Нас только двое:

твое, страшщееся смерти тельце,
мои, играющие в земледельца
с образованием, примерно восемь
пудов. Плюс осень.

Совсем испортилась своя жужжалка!
Но времени себя не жалко
на нас растрчивать. Скажи спасибо,
что – неспесиво.

IX

Оно и вправду не брезгливо. Либо
не чувствует, какая липа
ему подсовывается в виде вялых
больших и малых

пархатостей. Ты отлеталась.
Для времени, однако, старость
и молодость неразличимы.
Ему причины

и следствия чужды де-юре,
а данные в миниатюре
– тем более. Как пальцам в спешке
– орлы и решки.

X

Оно, пока ты там себе мелькала
под лампочкою вполнакала,
спасаясь от меня в стропила,
таким же было,

как и сейчас, когда с бесцветной пылью
ты сблизилась, благодаря бессилью
и отношению ко мне. Не думай
с тоской угрюмой,

что мне оно – большой союзник.
Глянь, милая: я – твой союзник,
подельник, закадычный кореш;
срок не ускоришь.

XI

Снаружи осень. Злополучье голых
ветвей кизиловых. Как при монголах:
брак серой низкорослой расы
и желтой массы.

Верней – сношения. И никому нет дела
до нас с тобой. Мной овладело
оцепенение – сиречь, твой вирус.
Ты б удивилась,

узнав, как сильно заражает, сонность
и безразличие рождая, склонность
расплачиваться с планетой
ее монетой.

XII

Не умирай! сопротивляйся, ползай!
Существовать неинтересно с пользой.
Тем паче, для себя: казенной.
Честней без оной

смущать календари и числа
присутствием, лишенным смысла,
доказывая посторонним,
что жизнь – синоним

небытия и нарушенья правил.
Будь помоложе ты, я б взор направил
туда, где этого в избытке. Ты же
стара и ближе.

XIII

Теперь нас двое, и окно с поддувом.
Дождь стекла пробует нетвердым клювом,
нас заштриховывая без нажима.
Ты недвижима.

Нас двое, стало быть. По крайней мере,
когда ты кончишься, я факт потери
отмечу мысленно – что будет эхом
твоих с успехом

когда-то выполненных мертвых петель;
смерть, знаешь, если есть свидетель,
сознательнее ставит точку,
чем в одиночку.

XIV

Надеюсь, что тебе не больно.
Боль места требует и лишь окольно
к тебе могла бы подобраться, с тыла,
накрыть. Что было

бы, видимо, моей рукою.
Но пальцы заняты пером, строкою,
чернильницей. Не умирай, покуда
не слишком худо,

покамест дергаешься. Ах, гумозка!
Плевать на состоянье мозга:
вещь, вышедшая из повиненья,
как то мгновенье,

XV

по-своему прекрасна. То есть,
заслуживает, удостоясь
овации наоборот, продлиться.
Страх суть таблица

зависимостей между личной
беспомощностью тел и лишней
секундой. Выражаясь сухо,
я, цокотуха,

пожертвовать своей согласен.
Но вроде этот жест напрасен:
сдает твоя шестерка, Шива.
Тебе паршиво.

XVI

В провалах памяти, в ее подвалах,
среди ее сокровищ – палых,
растаявших и проч. (вообще их
ни при кощях

не пересчитывали, ни, тем паче,
позднее) среди этой сдачи
с существования, приют нежесткий
твоею тезкой

неполною, по кличке Муза,
уже готовится. Отсюда, муха,
длинноты эти, эта как бы свита
букв, алфавита.

XVII

Снаружи пасмурно. Мой орган тренья
о вещи в комнате, по кличке зренья,
сосредотачивается на обоях.
Увы, с собой их

узор насиженный ты взять не в силах,
чтоб ошарашить серафимов хилых,
там, в эмпириях, где царит молитва,
идеей ритма

и повторимости, с их колокольни –
бессмысленной, берущей корни
в отчаяньи, им – насекомым
туч – незнакомом.

XVIII

Чем это кончится? Мушиным Раем?
Той пасекой, верней – сараем,
где над малиновым вареньем сонным
кружатся сонмом

твои предшественницы, издавая
звук поздней осени, как мостовая
в провинции. Но дверь откроем –
и бледным роем

они рванутся мимо нас обратно
в действительность, ее опрятно
укутывая в плотный саван
зимы – тем самым

XIX

подчеркивая – благодаря мельканью, –
что души обладают тканью,
материей, судьбой в пейзаже;
что, цвета сажи,

вещь в колере – чем бить баклуши –
меняется. Что, в сумме, души
любое превосходят племя.
Что цвет есть время

или – стремление за ним угнаться,
великого Галикарнасца
цитируя то в фас, то в профиль
холмов и кровель.

XX

Отпрянув перед бледным вихрем,
узнаю ли тебя я в ихнем
заведомо крылатом войске?
И ты по-свойски

спланируешь на мой затылок,
соскучившись вдали опилок,
чьим шорохом весь мир морочим?
Едва ли. Впрочем,

дав дуба позже всех – столетней! –
ты, милая, меж них последней
окажешься. И если примут,
то, местный климат

XXI

с его капризами в расчет принявши
спешащую сквозь воздух в наши
пределы, я тебя увижу
весной, чью жижу

топча, подумаю: звезда сорвалась,
и, преодолевая вялость,
рукою вслед махну. Однако
не Зодиака

то будет жертвой, но твоей душою,
летающею совпасть с чужою
личинкой, чтоб явить навозу
метаморфозу.

В ИТАЛИИ

Роберто и Флёр Калассо

И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.

Теперь там садится солнце, кариатид слепя.
Но тех, кто любили меня больше самих себя,
больше нету в живых. Утратив контакт с объектом
преследования, собаки принохиваются к объедкам,

и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;
голоса в отдалении, выкрики типа «гад!
уйди!» на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней

сильно сверкает, зрачок слезя.

Человек, дожив до того момента, когда нельзя его больше любить, брезгуя плыть противу бешеного течения, прячется в перспективу.

1985

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

НА ВОКЗАЛЕ

Рассказ

Как на Киевском вокзале раздаются голоса...

Современная народная частушка

1

– Жили две семьи в одной квартире. Семья инженера и семья дежурного электромонтера. Инженер жил с женой, а дежурный электромонтер с мужем. Ссорились за общие электроточки. Однажды в праздник муж дежурного электромонтера был на работе, а инженер с женой были в гостях. Вернулись они навеселе, то есть выпивши, и видят – всюду горит свет: на общей кухне, и в туалете, и в ванной, и в коридоре. Начали скандалить. А всегда, если они скандалили навеселе, то есть выпивши, дежурный электромонтер старался в своей комнате отсиживаться запершись. Тем более когда муж на работе. Но в этот раз инженер схитрил и оборвал провода. Дежурный электромонтер, думая, что пробки перегорели, вышел с электрическим фонариком исправить. И у инженера тоже был электрический фонарик, поскольку в нашем Брянске поздно вечером без него не обойтись. И вот, в свете этих электрических фонариков, инженер с женой начали дежурного электромонтера бить. Да не просто бить, а детскими саночками сыночка своего, который в данный момент находился у бабушки. Били они, знаете, били, кричал дежурный электромонтер, кричал, пока в темноте двери туалета не нащупал. Заперся дежурный электромонтер в туалете, а инженер с женой повесили опять саночки

на гвоздь и пошли спать. Саночки-то, знаете, детские, а полозья-то кованые железом.

Утром муж электромонтера с работы приходит и не может достучаться к себе в дверь, которую соседи захлопнули, чтоб муж думал, будто его жена спит и не впускает. Тогда начал он к соседям стучать – не отвечают и не отпирают. Начал стучать в туалет, думая, что соседи умышленно заняли, – не отвечают. Он плечом в дверь – раз, другой, третий. Выбил, смотрит, а там его жена, дежурный электромонтер, лежит возле унитаза мертвая...

Поздним вечером, почти ночью в ресторане Киевского вокзала Москвы беседовали два случайно оказавшихся за общим столиком пассажира: едущий в Брянск техник по холодной обработке металлов Иванов и едущий в Киев член Союза советских писателей Украины Зацепа. Говорили о разном, но больше о нехорошем. Давно известно: деньги идут к деньгам, а мертвецы к мертвецам. Мертвецам точно так же на кладбище не лежит мертвым капиталом, как деньгам в банке или сберкассе. И те и другие все время норовят в живой истории участвовать, чаще чеком, но иногда и наличными. Тем более при очередном свежем вкладе. Дело в том, что Зацепа ехал в Киев не один, а со своим дядей – адмиралом, который числился теперь багажом, поскольку умер. А цинковый гроб в скорый поезд не брали и приходилось ехать ночным, пассажирским, где мягкого вагона вовсе не было, а имелся скрипучий купейный. Впрочем, большим любителем мягких вагонов был Зацепа. Иванову же и купейного не требовалось, поскольку до Брянска он вполне мог и в сидячем перхрапеть.

Иванов был холост, точнее разведен, и теперь берег свою нынешнюю жизнь, которая ему нравилась.

– Жизнь у меня, – говорит, – замечательная: поспал, теперь немножко отдохну. К женщинам у меня теперь, – говорит, – равный всеобщий интерес и равно-

душие, как у велосипедного насоса. Не то что раньше, – говорит, – в женатом состоянии. Засыпаешь и думаешь: завтра снова день, снова суп хлебать надо...

В этом вопросе Зацепа с Ивановым соглашался.

– Да, – говорит, – абсолютно два чужих и даже враждебных человека ходят друг перед другом голые... Но если по-настоящему разобраться, то наслушаешься разных чужих историй и думаешь: моя жена ведь сравнительно ангел, если учесть, что она тоже женщина... А теперь это происшествие с дядей нас особенно сблизило. У жены, как и у дяди, фамилия Сорока... Не слышали – адмирал Сорока? Чуть за шестьдесят было. А теперь вот предстоит перевезти прах из Москвы на родину... Цинковый гроб стоит шестьсот рублей, – сообщил почему-то Зацепа дополнительно.

Кроме того, как стало известно Иванову, деньги эти еще не были уплачены и лежали у Зацепы в кармане, хоть дядя в гробу уже находился в багажном отделении вокзала и его должны были выдать по уплате названной суммы плюс транспортные расходы. Отчего Зацепа затянул так с оплатой, Иванов не понял, а может, и прослушал, поскольку был выпивший, а точнее говоря, пьян. Да и Зацепа наливал себе столько же, и чокались они множество раз с девяти вечера. А сейчас часы показывали без чего-то там двенадцать. То есть полночь близилась. И тут еще деньги, покойник в гробу, жестокий месяц февраль, по-украински и старославянски – лютый... Быть беде... Словно предчувствие беды давило Зацепу слева в ребра. Рыгнуть бы разок. Извинился перед собеседником, пошел в туалет, но на полдороге передумал и повернул в гардероб, где два старичка-гардеробщика стерегли верхнюю одежду, в том числе и добротное, под старую бекешу пальто Зацепы с воротником из мелкого серого каракуля. Дубленки, полушубки и прочее баловство бедных художников и поношенных кинорежиссеров Зацепа презирал и над ними насмехался, произнося слово «дублен-

ка-а-а» – нараспев, почему-то с еврейским жаргонным акцентом.

Увидав Зацепу, старички-гардеробщики встали как перед начальством. Оба были уже выпивши, но хотелось еще выпить. Горилки бы украинской или перцовочки. Бутылка горилки с ресторанной наценкой тогда еще стоила шесть рублей. За эту сумму гардеробщики открыли Зацепе заднюю дверь, откуда по короткому коридорчику можно было выйти прямо на улицу к дощатому забору, огораживающему стройплощадку в самом темном углу привокзальной площади. Февраль-лютый сразу взял Зацепу в оборот. Луна была высоко, чёрт-те где, и такая твердая, как давно засохший кусок карпатского сыра, разве что в мышёловку годящегося. Неаппетитная луна. И вот так светила она над площадью неаппетитно.

Помните площадь у Киевского вокзала? Тут недалеко, через мост над железнодорожными путями, вверх на горку – и старый Арбат, самое уютное и обжитое место Москвы, а оттуда сквозь Арбатскую площадь прямо к Кремлю. Тут же по переулочкам – два шага и широкий Кутузовский проспект, где когда-то покойный Брежнев жил, председатель комиссии по организации похорон Хрущева. Этого хоронили заживо, и уж потом, спустя много лет, покойник умер. Ибо председатель комиссии по организации похорон – высшая должность в государстве. Исторические места эти, как мы видим, не были лишены кладбищенского мистицизма. И в злую февральскую ночь, под карпатской луной, напоминающей о местности, откуда дикое еще славянство распространяться начало, чувство беды первородной, прнесенной через тысячелетия и не изжитой, охватывает душу. Жаль, что председатели комиссий по организации похорон не обладают если не мудростью, то хотя бы любопытством багдадского халифа Гарун аль-Рашида, не переоденутся в простую одежду ширпотреба, которая вполне к лицу их ширпотребовским лицам, и не по-

бродят в одиночестве без топтунов хотя бы в окрестностях Кремля, где-нибудь по ночной февральской площади Киевского вокзала, освежаемой ледяным ветром с Москва-реки. Ведь каждый же из них человек, каждый – будущий покойник, и каждый понять может, что чувство беды бывает так же спасительно, как и чувство боли, если правильное, а значит, горькое лекарство выбрать, физическое и духовное. Побродили бы так, под древней, изначальной своей луной, а потом, переодевшись вновь в свои вельможные одежды, в шелковую пижаму какую-нибудь, в тепле и уюте книжечки бы надежные почитали, которые словами бы разъяснили ночные лунные ощущения о тысячелетней неизжитой беде. «Они (то есть правители славянства) были разъединены не ненавистью – сильные страсти не достигали сюда, не постоянной политикой – следствием непреклонного ума и познания жизни: это был хаос браней за временное, за минутное – браней разрушительных, потому, что они мало-помалу извели народный характер, едва начавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманских князьях. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная, за что». Вот так Гоголь, наш великий лунный мистик, объясняет источники исторических кошмаров нашей страны, объясняет плодотворную сторону болезней наших. Но и в болезнях этих иной, желающий жить временным, хватается за временное, чтоб излечиться. И поскольку нет у нас возможностей проследить за высшими, за созревшими, проследим за завязью, за началом, за зерном, которое, если в пригодных условиях разрастается, может дать тот же фрукт или овощ.

Зацепа наш, между прочим, не только член Союза советских писателей Украины, но и автор книги о путешественнике Миклухо-Маклае Николае Николаевиче, книги, которая показывает истоки русско-советского антиколониального интернационализма применительно к папуасам. После этой книги и при поддержке адми-

рала Сороки, родного дяди по линии жены, появились возможности обрести место в отделе агитпропа республиканского ЦК. На это место, правда, имел виды и сынок Масляника из республиканского Верховного Совета. Но дело как будто решалось в пользу Сорок, тем более, что, кроме адмирала Сороки, был еще и Сорока в административном отделе республиканского ЦК, а отец их – Сорока-старший, большевик-пролетарий с киевского революционного завода «Арсенал», участник восстания 18-го года против Петлюры. Крупнокалиберный старик, и действительно имя пулеметное – Максим. «Пролетарий, – говорит, – это высшее международное сословие, и в боях революции я верил, что наступит время, когда английская королева выстирает мне рубашку». А Сорока из административного отдела ЦК слушает деда и усмехается. «Ты, – говорит, – дед, наш украинский Мао Цзедун. У тебя, – говорит, – детская болезнь в коммунизме».

Но семья была дружная и с юмором. Особенно дружеская атмосфера воцарялась, когда адмирал Сорока, ныне покойный, в отпуск приезжал. В адмирале старый Максим души не чаял, любил очень и называл морским казаком.

Украинское морское казачество с давних, еще дореволюционных времен – важный элемент российского военно-морского флота. Голосистые свистуны, потемкинцы, матрос Матюшенко, матрос-партизан Железняк, который на суше, в Петербурге, руководил разгоном Учредительного собрания. Морские широкие клещи – это те же широкие казацкие шаровары. Морской флотский борщ – прямой потомок борща украинского, главаря и родителя всех борщей, сколько бы их ни набралось. Из-за одного такого черноморского борщика восстание на броненосце «Потемкин» произошло, из-за борщика революция 1905 года на императорский флот перекинулась. В борщ мясо с червячками положили. А для матроса, особенно украинца, – это оскверне-

ние святыни. У русского царя ведь тоже привычки не было в Гарун аль-Рашида превращаться. Ему докладывают о политических агитаторах – он и верит. Однако дело-то в потемкинском гнилом борщике.

Недаром хороший и разный поэт Владимир Луговской писал в двадцатых:

И выйдет хозяйка полнеть и добреть,
Сливая народам в манерки и блюда
Матросский наварный борщок октябрей.

Это, однако, не означает, что политическая революция действительно ставит своей главной целью накормить народ. Хотелось бы в такое верить, но упрямые факты подобное не подтверждают. Это означает, что политические лозунги народных революций должны опираться на поварскую книгу. Так вскармливается красное солдатское дворянство. Борщ да каша пища наша. Не агитаторы, а повара революцию делают, потому что подлинные революции вызревают не в головах, а в желудках. И привилегии правящего ныне сословия распространяются не столько на их головы, сколько на их желудки.

Вот возьмем Зацепу, который пока еще только завязь. Если Сороки договорятся с Масляниками и сынок их в украинском республиканском госкино место получит, тогда уж никаких препятствий для Зацепы в украинском республиканском ЦК.

Вот вышел Зацепа в ночь с перепою, почувствовав древнюю, неизжитую славянскую беду. Такое бывает с перепою, и не всегда горькая водка во вред, подобно всякой горечи. Вот глянул он на сохнущую над холодной Москвой карпатскую луну и узнал ее. Мыслил бы дальше, танцевал бы дальше от этой луны, как от нетопленной печки. Нет, к себе мысли поворачивают, во временное, в желудочное. Давит слева в ребра. Расстегнул брюки, пошел в темноту, через доски, через какие-то

кирпичи. Эх, рыгнул. Легче. Еще рыгнул. Четыре раза рыгнул. Полегчало, и мир уже другим кажется. Побрызгал на бетономешалку. Привел в порядок кишечник. С козлиным бе-е-е освободился от неусвоенного питания, чуть-чуть испачкав рубашку. «Ничего, – подумал-пошутил, – иногда рванешь рубашку на груди, иногда рванешь на рубашку на груди». Засмеялся Зацепа собственной шутке, поскольку в организме у него всё уравнилось, хоть опьянение, конечно, не миновало. Опьянение повело Зацепу, повело, наклонило и свалило среди кирпича. Чувствует Зацепа, земля крепко держит. Пошевелиться не может, замерзает, а карпатскому луне-месяцу до этого дела нет: как торчал, так и торчит равнодушным подлецом. Страшно стало, холод по спине, и чхнул два раза. Сосредоточился, собрался. Рывком в атаку, как под огнем. «Вперед... За родину...» Встал. «Простыл, – думает, – пора назад в ресторан, – а луне-месяцу погрозил: – ну погоди, подлец, я тебя съем».

Пошел Зацепа по коридорчику и вышел к гардеробной вешалке. На прилавке перед старичками-гардеробщицами стояла наполовину уж выпитая бутылка перцовки и рядом суповая тарелка, доверху наполненная картофельным пюре с подливкой. Стояла и тарелка соленых огурцов. Хватало и хлеба. Но жареного сала – несколько кусков, и старик повыше как раз был занят распределением сала поровну. Впрочем, старик-гардеробщик повыше был не так уж и стар, глаза имел военные, оловянные, а плечи широкие. На этот раз при появлении Зацепы гардеробщицы не встали и не выразили почтения. Либо были заняты едой-выпивкой, либо считали, что второй раз клиент не подаст. Подобное Зацепу несколько обидело и обозлило, ибо был он тщеславен и уже воспитывал в себе пусть небольшого, но начальничка. А поведение всякого начальника зависит от поведения лакеев, и по поведению лакеев начальник о себе судит. «Кнут, кнут им все время показывать

надо, – сердито подумал Зацепа, – дисциплину укреплять».

В таком боевом настроении Зацепа вернулся к своему столику в ресторане.

2

Смотрит Зацепа, а техник по холодной обработке металлов Иванов жареную капусту ест с аппетитом.

– Люблю, – говорит, – жареную капусту, у моей матери, – говорит, – помню, часто ели. Приду из школы, а дома вкусно воняет жареной капустой. Эх, детство. Я сам из деревни Сельцо на Брянщине. Когда учился в Брянском техникуме, голодать пришлось. Думал, женюсь – отъежусь... Эх, что там... Давайте выпьем... Ух, хорошо пошла... Прямо в ушах сера закипела.

– Хорошо, – говорит Зацепа, – войдите... Антре мадам... Вы только не подумайте, что я по-французски говорить умею... Я однажды попробовал на дипломатическом приеме и вместо «бонжур» – «инжир» сказал... Хась-ь-ь... У меня брат дипломат... Знаете, у французов водка, настоянная на вишнях... Я выпил и выступил: «Мир, господа, – говорю, – спасут противоракетные устройства и противозачаточные средства...» Хась-ь-ь...

Тут Зацепа обращает внимание на стоящую перед ним закуску.

– Это что? – он брезгливо сунул вилку.

– Официант принес, – сказал Иванов, – я говорил, человек отлучился, подождите ставить. Так разве слушает, татарин... Их, татар, здесь уйма в Москве. Пойдите на сабантуй, возле мечети туча валит. Русскому человеку не пройти. И все с ножами.

– Я им покажу ножи! – крикнул Зацепа, которому стакан водки сразу в голову ударил. – Офцант! Офцант!

– Главное в таком деле резкость, – сказал Иванов,

– у меня друг недавно тоже резко кинулся головой вперед и выбил зубы у подросшего милиционера.

– Офцант! – уже предельно громко крикнул Зацепы.

Подошел официант, молодой сероглазый парень, на татарина не похожий. Увидав официанта, Зацепы отвернулся от него, словно не замечая, надел очки и, вынув носовой платок, громко высморкался.

– Что такое? – спросил официант.

– Уберите эти продукты в соусе и принесите мне жаркое по-крымски, как я заказывал, поскольку Крым неотъемлемая часть нашей республики. Жемчужина советской Украины.

Официант, видно, был еще не обстрелян, видно, был новенький, и подобное давление на него оказывалось впервые. Он молча взял остывшую тарелку с жарким и ушел.

– Не нравится, – засмеялся Иванов, – не нравится, что их из Крыма выселили... Татарин... Абдулка... У нас в Брянске тоже... Не помню... Кажись, Ала Пердей Абдала Аминыч. Вызывает меня. Я, признаюсь, начальства боюсь. А тут еще не свой, не русский. Смотрит на меня: «Ты сыволоч». – «За что, – говорю, – Абдала Аминыч?» А он не уточняет. «Ты сыволоч». Жутко мне стало. Упечет мусульманин.

– Да, – сказал Зацепы, – черный человек. Вот был я в Индии. По следам Миклухо-Маклая. Потом Таити, Новая Гвинея... Знаешь, живешь среди папуасов. Гостиница люкс, кондишен, салат «Бомбей». А это что? – он снова начинает копать вилкой в принесенном жарком. – Жаркое по-крымски делается из бараньей грудинки с яблоками. А где здесь баранина? Это ж голуби. Они голубей на привокзальной площади ловят и в жаркое, а баранину себе на бишбармак. Ладно, вареных голубей заberi, а принеси-ка лучше еще бутылку перцовки, сливочного масла и сыра «карпатского».

Официант терпеливо убирает тарелку с жарким и уходит. Ресторан давно опустел, время глухое. Только в дальнем конце какая-то девица пьет со стариком шампанское. У старика на пальце блестит большой перстень. Богемный старик. Вполне может вести дневник и оставлять в нем записи такого рода: «Лежу с голой женщиной. Погода замечательная».

– Вот, – говорит Иванов, – старик, а на молодую силы имеются. Я б этого старика сейчас дзлиннь-дзлиннь по морде, он бы дзынь – и рассыпался.

Ах, что там Иванов. Куда тебе, Иванов. Разве можешь ты, Иванов, вот так, как этот старик, надев красную шелковую рубаху и сидя возле торшера, осторожно перебирать струны старинной гитары и, глядя в зубастенькое, глазастенькое личико, тихо петть-мурлыкать: «Дай мне ручку, каждый пальчик я тебе перецелую...»

Где там Иванов. Куда там Иванов. Но не сдастся Иванов, клокочет.

– Пока мы страдаем на производстве, они в санаториях наслаждаются лечением своей печени... Иной раз я гляжу на них и думаю: эх, тебя бы в мясорубку, а меня на ручку, я б уж тебя перемолол... Вот робок я, жаль... Был у нас на производстве один мужик по фамилии Михрютин. Начальства совершенно не боялся. Я, говорит, не вам, начальникам, служу, а нашим дедам и прадедам. Мудреный мужик. А среди начальников тоже выискался мужик мудреный. Я тебе, говорит, твою мать, послужу... Только, говорит, жопу бумажкой подтирать научился, а уже на законы общества замахивается.

– Нет, так не надо, – говорит Зацепа, почувствовав в этой ненависти Иванова угрозу лично себе, – так совсем можно особачиться... Озвереть до опупения... Ты ко мне приезжай, я тебе рад буду... Пышшш... Что-то воздуха у меня в груди много... Пышшш... А то, знаете, товарищ Иванов, на вас посмотрят и скажут: извините,

в какой галактике вы родились с такими мыслями? Ты, Иванов, приезжай ко мне в Винницу... Я родом из Винницы. Когда едешь к вокзалу через мост над Южным Бугом, сразу Замостянский район, меня там все знают, я там школу кончал... Фирка Ломоносова, Ваня Пфедер – хорошие были ребята... И край квітучий. Сначала у нас отцветает черемуха... Хотя черемуха и в Бурятии хороша... Ездил я на юбилей добровольного присоединения Бурятии к России... Они там черемуху со сметаной едят. Сахарочек, разумеется... У нас большие начальники на большие юбилеи ездят: Москва, Ленинград, Ташкент... А меня в Бурятию, Удмуртию, Татарстан... На добровольное присоединение... Может, как специалиста по папуасам, легче местные языки усваиваю. Вот – сярчинянь – это по-удмуртски пирожки. А эпочмак – по-татарски пирожки... Спроси у татарина... Офцант! Порцию эпочмак... Не понимает, собственный язык забыл... Еще вареники с редькой у них хороши... А был я в Монголии... Там в ресторане за первое заплатил – принесли, поел. За второе заплатил – принесли, поел. Спрашиваю у друга-монгола, лауреата премии имени Сухе-Батора, почему, спрашиваю, так? А он отвечает: у нас народ не понимает, если уже поел, зачем деньги платить. И местность, для верблюдов приспособленная. Не то что у нас в Виннице. У нас в Виннице сначала отцветает черемуха, потом облетает яблоневый цвет, а уж в завершение цветет сирень. Когда цветет сирень, мне всегда петь хочется...

И тут же в ресторане громко: «Ой ты, Галя, Галя молодая, подманули Галю, забрали с собой».

И так жалостливо, тенором. А Иванов в ответ русским частушечным басом: «Распустила Дуня косы, и за нею все матросы, ой Дуня, Дуня я, Дуня ягодка моя».

Пели хоть и разное, но одновременно, и закончили вместе. Помолчали. Снова выпили.

– Был у меня в ранней молодости друг, – сказал Зацепа, – он ходил в церковь, говел, семь лет ел одну

картошечку. Я, конечно, согласно диалектике, в Бога не верю. Но в природе есть все-таки что-то не соответствующее диалектике. Вот когда цветет сирень, то аромат иногда едва уловимый, а иногда сильно кружащий голову. И окраска гроздей бело-нежная, голубая, розовая, густо-лиловая... Вот тогда хочется сказать: «Спасибо, Бог». А кого же еще благодарить? Природа и женщины – всё это, Иванов, не выполнено, согласно плану, а сотворено... Знаешь, Иванов, какие женщины есть... У нас, говорят, наш украинский министр иностранных дел, любитель иностранных тел... Хась-ь-ь. То есть тел иностранок... А я иностранок не люблю. Подойдет к нашему ребенку: мальчик – где ваш папа? Хась-ь-ь... Глупость, обрыдло. Наша женщина это, Иванов, знаешь?.. Иду я с одной весьма интересной, и вдруг в людном месте, на проспекте Гагарина, у нее трусы упали... Резинка лопнула... Как бы иностранка поступила? Она бы, подобно Мырлин Монро, тут же на проспекте Гагарина целую пачку снотворных таблеток проглотила и умерла бы со стыда. А наша женщина не поступила, а переступила и дальше пошла.

Может, врет Зацепа, слишком фантазирует? А с другой стороны, что в этой ситуации фантастического, если трусы не импортные, а ширпотребовские и на одной резинке держатся. Лопнула резинка, они и упали.

– Тут, слышу, какой-то сзади кричит: «Дэвушка, тырусы потыряла!»

Ой, врет Зацепа, перегибает. А может, и не врет? Кавказцев повсюду много, после добровольного присоединения Кавказа к России, кавказцев много, и все женщинам в зад смотрят.

– А что в этом плохого? – говорит Зацепа, – иной раз и сам посмотришь кавказским взглядом, особенно, когда яблочко под юбочкой. Посмотришь и, согласно Фрейдю, догнать хочется... Ты только, Иванов, не приписывай мне сексуху и аморалку. Я без лирики любить не умею. А когда, Иванов, знаешь, даже у красавицы

замечаешь грубые детали из области сантехники... Вот недавно одна загорелая, прекрасная, но когда повернулась, то на жо... на попе четко обозначился оттиск унитаза... Хась-ь-ь... Офцант, иди, дружок, сюда... В субтропиках... э... в субботниках участвуешь. Чем зеленей будут наши города, тем розовой будут наши щеки... Вот возьми, купишь себе рахат-лукум... Это я за двоих... А где же те? Они отдельно были.

Зацепа роется в карманах, вытаскивая отовсюду скомканные пачки денег.

– В пальто оставил, – говорит Зацепа, – память у меня перегруженная. Посидели мы хорошо, поболтали откровенно, и совсем как-то забылось, что дядя умер. Показалось, приеду, и он меня встретит в полной адмиральной. А он здесь, в багажном пакгаузе. В гробу.

Последние минуты, то ли от усталости, то ли от поворота темы, Иванов и Зацепа как-то размякли, водки пили мало и ели пищу не острую, масляную, ибо сыр «карпатский» нежен, сладковат, с чуть кисловатым привкусом.

– Скоро уж и поезд, – сказал Иванов и посмотрел на часы, – хорошо посидели. Теперь бы поспать. Вот с той красоткой, с которой старик шампанское пил. Вот пожить бы с ней хотя бы ночи две. Она на Зорю похожа... Из Алушки... Из Алушты... Зоря, Зоря, Зоря, Зоря... – и заело, захрапело. Проснулся через полминуты, опять: – Зоря, Зоря, Зоря, Зоря...

Пьяненький Иванов не замечает, что бубнит уж сам себе под нос, потому, что Зацепы за столом нет. Он ушел в гардеробную. Вскоре, однако, Зацепа возвращается опять возбужденный.

– У меня как?! – кричит Зацепа, – со мной не прыгаешь!.. Я сейчас гардеробщика ударил. Прихожу за пальто, а они мне рожи строят. Мне ведь гроб не выдадут... Пшшшш... Номерка от гардеробной не видел? Я мог его из кармана выложить, когда рылся...

Иванов и Зацепа начинают шарить среди тарелок, вилок, ножей, мятых салфеток.

– Что они мне голову крутят, – совсем накаляется до кипения Зацепа, – сейчас я из них тряпок нарежу, – и, повернувшись, быстро направляется в гардеробную.

Ресторан уже пуст, гасят свет, лишь две лампочки горят, в свете которых официанты убирают со столов грязную посуду.

– В Кисловодск бы мне надо, – бормочет Иванов, – подлечиться. Зимой легче с путевками... Приеду, напишу заявление: прошу разрешить отпуск по состоянию болезни.

Иванов делает какой-то неопределенный жест, скользя пальцами по скатерти, и что-то падает на пол, звякнув. Это номерок из гардеробной.

– Ах ты, – бормочет Иванов, – искал, искал, да не нашел. Надо бы отнести.

Иванов подбирает номерок и нетвердо, на полусогнутых движется в сторону гардероба. Он осторожно заглядывает в гардеробную и видит, что два пьяных гардеробщика бьют пьяного Зацепу. А точнее, уже убили его, потому что еще пять минут назад полный сочной скотской силы, мясной, кровяной Зацепа теперь выглядит детским резиновым надувным паяцем с красной ленточкой вокруг головы. Уж на что пьян был сам Иванов, а сообразил, что не то что вмешиваться, обнаруживать себя опасно. Осторожно, на цыпочках отошел Иванов от гардеробной, положил номерок на край стола, под мятую салфетку, и вышел из ресторана на морозный воздух, благо куртку свою ватную он в гардероб не сдал, чтоб сэкономить на чаевых, ловко свернул ее и спрятал под стол. А в рукав куртки была упрятана ушанка-треух.

Бил Зацепу и убил его гардеробщик покрепче, повыше и помоложе, с оловянными военными глазами, бывший работник МВД. Второй, постарше, помогал и шарил по карманам. Амбарным, чугунным замком ста-

ринной конструкции, полупудового веса, выбили глаз и перебили переносицу. Все произошло в пять минут, а может, и менее.

Ну и что? – скажет добравшийся до этого места читатель из тех, которые развращены молодцеватой бульварной беллетристикой или мудрыми старческими трактатами, – ну и убили, ну и амбарным замком. Какой за этим далее следует сюжетный поворот или какая выясняется идея?

Сюжетных поворотов тут, конечно, может быть множество, и повод для размышлений подготовлен, поскольку потомок активистов-комбедовцев убит кулацким замком, наверно, когда-то охранявшим нажитое добро. Убит воскресшим замком-подкулачником, попавшим в руки пьяного, разжалованного в гардеробщики чекиста.

Языческая и христианско-языческая литература любит одушевлять и мистифицировать неодушевленные предметы. Мы, однако, в этот раз пойдем противоположным путем, потому что наши одушевленные предметы настолько нечисты мыслью и сердцем, что, кроме как об ампутации души, кроме как о насильственном разъединении тела и души, думать не приходится, если мы не хотим придать их вульгарной жизни не моральную, а хотя бы художественную ценность. Но операция по разъединению души и тела – это уже не христианство, а буддизм, и тут главное не идея, а колорит. То есть не какую идею Зацепа пробуждает, а какую светотень он отбрасывает под лучами теперь уже не языческой, не карпатской, а буддистской луны над ним.

Надели гардеробщики на убитого Зацепа его пальто-бекешу, напялили шапку, приглушенно гикнув, подняли его, как багаж, вынесли темным коридорчиком, озираясь, перебежали с ним в темный, глухой промежуток по привокзальной площади, внесли на пустынную стройплощадку и положили буддистским камуш-

ком рядом с другими кирпичами, досками и прочими неодушевленными предметами.

Зря старались, напрасно надеялись. Найдут всё, обнаружат следователи-криминалисты. Дядька-адмирал, так и не затребованный по неоплаченной багажной квитанции, всю привокзальную милицию, не выходя из гроба, на ноги поставит. Найдут свидетеля-официанта из вокзального ресторана, найдут свидетеля Иванова из Брянска, найдут в мусорнике, среди грязных салфеток, номерок от гардеробной. Только шестьсот рублей на дядькин цинковый гроб так и не обнаружат. Пропил покойный племянничек гроб покойного дядюшки. Однако если не за похищение цинкового гроба в его денежном исчислении, то уж за убийство точно поведут стариков-гардеробщиков и посадят их в «Матросскую тишину». Есть в Москве улица с таким названием и на этой улице знаменитая тюрьма. Нет, не в Лефортово. В Лефортово от Семеновской 48-м трамваем. А это Сокольники. Места петровские, потешные, к застенкам привыкшие еще со времен Преображенской Канцелярии, во дворе которой царь Петр собственноручно стрельцам головы рубил.

И зачастят в те места жены гардеробщиков и прочие их близкие родственники, станут знакомы им здесь трамвайные остановки, пока следствие будет идти и пока суд да приговор. Но не скоро еще все это произойдет, и только утром все начнется, когда темно-багровое, похожее на планету Марс, тяжелое февральское солнце заменит легкую буддистскую луну. Только тогда пришедшие на стройку работники найдут неодушевленного Зацепу. Еще час с небольшим тому был он здесь, на стройплощадке, живее всех живых, полнокровно, поскотски господствовал над землей и небом, пинал ногой камни, блевал, и брызгал, и хохотал. И, даже упав от опьянения и избытка сил на землю, испытал легкий испуг, тут же над этим своим лежачим положением посмеялся и от предупреждения отмахнулся пьяной

шуткой. А вот лежит кротко, где положили, и ждет терпеливо, пока поднимут. Лежит Зацепа, босяк-мещанин, ибо если для Горького, Арцыбашева или Верлена алкоголь и буйство были босяцкой формой протеста против тупого мещанского свинца, то ныне главным образом мещанский свинец бражничает и буйствует, а бродяжка-босячок если кое-где и сохранился, то живет тихонько, картошечкой и солякой питается. Но пока не вернулся еще Зацепа к босяцкому мещанству своему, пока не положен он в дубовый гроб стоимостью в двести рублей, пока не стал он мертвецом, а лежит предметом, от камней и древесины неотличимым и одинаково снежком припорошенным, пусть воздаст он убийцам своим добром за зло не по-христиански, а по-буддистски, не при жизни, а после жизни. Ибо сказано в буддистском каноне: «Кто воздаст добром за зло, тот блистает в этом мире, словно луна, которую сокрыло, а потом раскрыло облако».

А в отдел агитации и пропаганды ЦК Украины сынок Масляника будет назначен. Начнет Масляник расти, разбухать, научится сидеть в президиуме, положив руки на стол и сцепив пальцы меж собой борцовским «замком». Теперь его уж так просто чугунным замком не убьешь, теперь уж охрана за ним по пятам. Глядишь, к концу века член Политбюро, в Москву перебрался на Кутузовский проспект, поскольку Украина – давняя житница руководящих кадров. Здесь их в большом количестве выращивают, а затем особо подходящие образцы еще и выковывают. Может, так и Масляника до высшей должности докуют – председателя комиссии по организации похорон.

Зацепа, тот книжки писал, а Масляник, говорят, читать любит. Не только Маркса, но и Энгельса, не только Ленина, но и Луначарского. Розу Люксембург, Георгия Валентиновича Плеханова. Льва Толстого. Бориса Пастернака. Говорят – и вовсе такие-растакые книжки у него на столе видели. Одни говорят, для

сыскных целей, а другие опровергают: нет, действительно интересуется.

Может, все к лучшему? Может, воскресшему кулацкому замку мы должны быть благодарны так же, как ножу убийцы во времена Бориса Годунова, прикончившего в Угличе царевича Дмитрия Ивановича, сына Ивана Грозного, от пятой жены. Обнаруживал сынок жестокие наклонности, весь был в папашу, а то еще и похлеще. Конечно, Зацепа не царевич, но опыт последний десятилетий показывает: чтоб до Политбюро добраться, царевичем быть не обязательно. Правда, после убийства царевича Дмитрия один за другим пошли лжедмитрии. Однако авось минет нас смутное время? Что поделаешь, мы идеалисты. Всё надеемся, всё верим, всё ждем. Но, с другой стороны, как же без идеализма? Россия – не Голландия, где Бенедикт Спиноза создал свой теологический материализм. В России без идеализма жить тяжело, и о России без идеализма рассуждать невозможно. Чтоб это понять человеку постороннего происхождения, не обязательно отправляться в Мордовию, в Бурятию, в Караганду или Могилев. Посидите допоздна переодетым в ширпотреб Гарун аль-Рашидом в ресторане при Киевском вокзале Москвы, и даже если в этот вечер никого не убьют, все равно вы с нами согласитесь.

*июль, 1984 год.
Западный Берлин*

ИЗ «КНИГИ ПОСЛАНИЙ»

ПОСЛАНЬЕ К ОЛЕГУ ЦЕЛКОВУ В ДИМИНУТИВЕ

1

Москва моих засыпанных прудов,
Речушек заспанных, задавленных людишек,
Босых ступней конечности лодыжек,
Рассыпанных на тысячи ладов!

В лопатках лапоточками стучат
Пеньки моих последних деревушек –
По щиколку в росе гусиных ушек
Козы, в которой семеро внучат.

Но маковки вменяют торжество
Моим церквушкам суше позолота –
Москва родная Сукина болота,
Чертановки, впадающей в него!

А коли правду молвить, куполов
И в книжках не отыщется, с осьмушку
Осталось твердых ядрышек – на мушку
Беру Иван Великого голов!

Как весело сучит посадский люд
Босыми пятками и нагишом во Храме
Христа-Спасителя под винными парами –
Кто думал, что воды сюда нальют!

Народная гульба идет внутри! –
И я плыву, я победил француза

В двенадцатом году! – Европе пузо
Я покажу, за так ее дери!

Нырнешь с Волхонки инде – в Сандунах
Очутишься, очухавшись, на пару
С попёнком завербованным – но пару
Поддать умеет – ходит в колдунах!

В предбаннике по пиву в «Жигулях»,
По ракам, по креветкам, по лангустам
И – по рукам! – По-а-а бабам! –
а не густо
Целковыми, так счастье не в рублях.

2

Москва моих отвершков и овраж-
ков Зюзинской не то что бы вершины,
Но все-таки горы! – на свой аршин и
Меряю, входя помалу в раж.

Принадлежа древней к останцу
Пластом доледникового рельефа,
Я не горюю на верхушке бьефа
Перервинской плотины молодцу.

У слободского у меня – река
Котловка, как положено, – с коленцем,
Что выкинуто сызмалу, – с поленцем,
Плывущим из поленицы пока.

Но скоро понастроят, говорят
В народе неотесанном, градирен,
Как в Тушино, пивнушек, живодерен
Для просвещения устных октябрат.

А знаменитый Зюзинский лесок
До Узкого с его широким бытом
Забитых академиков, дебатам
Которых не хватает голосок! –

Коль скоро Окружающей Среде
Понадобилась вдруг-таки Охрана,
То о свободе для самих не рано
Охранников потолковать!

К среде
С Грузинской зоопарк перенесут!
Тут для самих и для самцов достанет
Дыханья кубатуры, в Теплом Стане
Тепло им будет, но – шемякин суд!

Вот птичка – не работает, но ест,
Как ни крути вола – ни шьет, ни порет –
Пора! – пусть городничий откупорит
Закон, пока замок не надоест.

3

Москва моих некожаных дорог,
Дорожек бархатных, заезженных лошадок
Мосточка к Богу в рай, который шаток –
Не рай, но мост! –

Играй Единорог!

Коли пешком до Зюзино как вождь
Идешь из Тушино, держась сторонки
Своей, то шестикрылые сороки
Стригут на бреющем полете дождь.

А солнышка грибная благодать –
Как бабочки на лысине Сократа

Из доморощенных, разбитого стократно
По скверикам, каких рукой подать.

До Тушино пешком и босиком
Иду до «Тайной Вечери», как будто
Крещеный мир стоит! –
 пивная будка
Вдогонку подвизается баском.

До праздника Крещенья на Руси
Осталась тыща лет! – и мой художник
Рисует Иисуса в ведро, в дождик –
Искарриота, Господи рази!

«Резиновые личики зубов
Недостающих кисти винограда
Господней крови Чашей вертограда
Сполна испитой с горя и забот».

Бутылок с подноготной натюрморт
В масштабе к одному один, конечно,
Беднее по вещественности нежной
Улыбки масляно-холщевых морд!

Давай, художник, выпьем за вино
Из Каны Галилейской,
 за свободу
Загробную,
 за вербную субботу,
За семерых! – как повелось давно.

10. 05. 1974

НА СМЕРТЬ ЛИЛИ БРИК

Знаменитая, может быть, выпала доля, помимо
Двуязычной,
двурушной,
двуличной судьбы
зачинателя мертвых наук
САМОВОЛЯ И САМОСТИ! –
К месту поминок
Я влачусь, миротворец и внук.

Это – благочестиво, поелику связан навеки
Век серебряный с веками лучших старух,
Что закрыли глаза на забор и на ветки
Над забором тюремным из рук.

Молодая коза истолкла переделкинских кочек
Тьмы впустую, вступая в печальный обзор:
То ли точит рога, то ли сослепу хочет
Опрокинуть забор.

Часовой на углу
механизм рассыпается в пику
Исторической необходимости яму долбить
Под обрывом, какой превратился в копилку
Частных бед и несчастных обид.

То ли глина одеревенела за полустолетие,
то ли опока
Под лопатой скрипит, как телега, когда лопухи...
Ясно только одно, умерла со старухой эпоха
Крови, блефа, моркови и чепухи.

Так неужто конец наступил крепостничества? ада
Стихотворных оброка и барщины, ну,

До скончания века хотя бы?!

...Старуха не виновата

Коли истину молвить, да я ее и не виню.

06. 08. 78

ПОСЛАНИЕ К АКАДЕМИКУ САХАРОВУ В ГОРЬКИЙ

«Пора назвать по имени тюрьму
Народов – матушкой Россией...»

Лошадка, что живет на керосине,
Жует на каждой шее по ярму.
Народец петушиный истреблен
Рязанцем и – в Казани нету мяса,
И, как сказали, трудовая масса,
Вконец обезумев, тербит лен.

В лесу родилась елочка затем,
Чтоб по стволу живому натянули
Забор – в бору сосновом! –

Потому ли
Ее срубили? или – для затей?

Всего обидней: рыба и Азов! –
Где, закопавшись в недостаток ила,
Я видел сам, когда белуга выла,
Зажата Волго-Доном на засов.

И воду жаль! – цветет себе одна
На двух великих реках, а живая
Была когда-то, голову сшивая
Радимичу с плечами, холодна...

Да Бог с ним, с веществом – пора забыть:
УБИТО СЛОВО! – вырастет капуста.

ПОЛУКРЫЛЫЙ АНГЕЛ

Вдруг объявление в русскоязычной газете:

«Уроки русского языка взамен английского (фифти-фифти) дает опытный преподаватель. Звонить: 314-1590».

Это был, пожалуй, единственный телефон, кроме моего собственного, который я знал при совершенной неспособности запоминать номера. Да и знал-то благодаря случайности: цифры (до нуля на конце) обозначали известное в математике число «пи» – отношение окружности к диаметру; когда-то в школе мы заучивали специально сочиненный кем-то стишок:

Кто и шутя и скоро пожелает
«Пи» узнать число – уж знает!

Замени слова цифрами по количеству букв, и получишь: 3, 14159 и т. д. – что надо.

– Инна, – сказал я жене, – ведь это телефон Андрея!

– Чудеса в решете!.. – сказала она.

Так все и началось...

Зачем бы могли Андрею понадобиться эти уроки? От скуки разве и одиночества? Он жил на отшибе, на берегу залива, недалеко от пригородного колледжа, где преподавал до ухода на пенсию. Что еще о нем? Собою был невысок и округл; говорил, что оба его родителя были тоже ростом малы и округлы, так что в светской среде (отец служил в гвардии) звали обоих «шарики». В середине тридцатых годов «шариков» покатили к полярному кругу, а его переняла какая-то номенклатурная пара и провела через университет – перед войной, фронтом, пленом и прочими извилина-

ми судьбы. Добавлю портретности: Инна находила, что он похож на Мережковского, имея ввиду, я думаю, волосатость и чуть горячее выражение глаз. «Кто-то рассказывал мне, – говорила она, – будто Мережковский был тоже коротконог, как наш Андрей, и во время гимнов многим казалось, что он сидит, хотя он стоял... Но, может, это и клевета злопыхателей»... В заключение скажу про Андрея, что был златоуст и только на одном звуке «п» иногда заикался, так что фразы с «почему», «простите» и тому подобное начинались у него забавными выхлопами. Знали мы его давно, еще с Германии.

* *
*

Через две не то три недели после объявления я ему позвонил. Изобразив акцент, спросил, все ли еще ему нужен напарник в английской мове, или, может, имелась в виду напарница?

Но он узнал меня сразу по голосу: «Подтрунивай, подтрунивай!.. А у меня «пришел невод с золотую рыбкой»... Да, на мое объявление. Не в смысле, конечно, богатств, а нечто открыла мне новое... Вот сейчас у нас, как ты знаешь, ливни, а когда подсохнет, я вам ее привезу; дело-то в общем не в ней, а особое...»

И все-таки не могу вывести рассказ на торную дорогу без дополнительной справки насчет Андрея. Ведь это один только самообман и поза, когда литературные критики посылают к чертям собачьим традиции формы и магию слова, требуют от автора безгеройности, бессюжетности и прочих «без», за вычетом которых ничего во многих новаторских книжках и не остается. На самом же деле каждый из них, я уверен, если бы не следовал моде, предпочел бы посидеть за бутылкой «Столичной» с героем того или иного романа и допросить его обо всем, чтобы решить без ошибки, изнич-

тожить ли его вместе с автором в рецензии или представить к переводу на лучше оплачиваемые языки.

Так вот, об Андреевой личной жизни: приехал он в США с женой, национальности которой нам не открыл, но говорившей на такой причудливой русско-польско-немецкой словесности, что ему самому порой, я видел, становилось неловко, и он без стеснения ее обрывал. Она умерла года три назад от рака, а с ним случился вполне неожиданный и, кажется, единственный в его жизни сюрприз. Скажу его словами: «Подарила одна чувствительная моя поклонница, полустарушка уже, из милейших, мне домик на океанском заливе, ехать от Нью-Йорка к югу сорок минут». Он и перебрался туда со своими пятью тысячами книг и ездил на лекции, а теперь уж безвыездно живет бобылем. Что он сказал про «золотую рыбку» – может вызвать у читателя мысли модного теперь направления, и тут я многого не скажу. Говорится у нас в фольклоре, что «под старость и чёрт в монахи пошел», но у Андрея к схиме тяги не замечалось, был, я думаю, женолюб, хотя скрытен, в разговорах на эту тему никогда не расстегивался. Так что насчет «золотой рыбки» поживем – увидим, а покуда, как я уже сказал, жил бобылем и писал стихи.

Да, был поэт! И об этом мне, вероятно, следовало сказать в самую первую очередь. За такую ошибку, впрочем, критики осудят меня, думаю, легче, чем за многие другие, из нигилизма в отношении поэзии, собственного теперь либералам. Что до Андрея, то он выпустил два сборника стихов, довольно тощих – это про сборники, а сами стихи были звучные и подающие надежды, хотя и не запоминающиеся, как у большинства пишущих их современников. Говорят, Лев Толстой любил повторять, что всякий человек есть дробь, где числитель – то, чего он стоит, а знаменатель – то, что сам он о себе думает. Особой самовлюбленностью Андрей не страдал и, значит, в этом смысле приближался к достоинству единицы.

А что касается равнодушия к современной поэзии, в нем, пожалуй, виноват и я сам, то есть мои критические размышления. Одна знакомая дама, дружившая с семьей Леонида Осиповича Пастернака, рассказывала мне, что отец поэта вряд ли был в восторге от профессии сына. «Да, пишет стихи»... – говорил с интонацией, оставлявшей желать лучшего. Вот когда еще и в каких кругах возникало сомнение в поэтическом творчестве как «путевке в жизнь», а позже – противопоставление: «лирики и физики».

Этот скептицизм спотыкался, однако, на традиционное восхваление поэзии, которое началось у нас, пожалуй, с Тредиаковского:

Но приди и нашу здесь посети Россию.
Также и распрости в ней мя, поэзию! –

писал он в обращении к Аполлону. А у Державина в оде «Фелица» появляются и первые хвалебные дефиниции поэзии:

Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.

А позже в «Видении мурзы» уже и с возвышенным критерием:

Поэзия не сумасбродство,
Но высший дар богов.

И, наконец, у Жуковского:

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли...

Теперь, извинившись за отступление, выхожу на «зеленую улицу» – следует «триплет»: три okazji, три эпизода в том целом, о котором хочу рассказать.

«ТЫЧКИ»

Даже плесень на стенах может образовывать тематические узоры. Вдохновился же ими Леонардо да Винчи в трапезной Санта Мариа делла Грацие...

Из студийных разговоров

Приехали они, Андрей с девицей, к нам только в ноябре, в «благодарственный день», когда вся Америка, нужно ли – нет, выкатывает на колесах, оставляя статистикам подсчитывать сокрушившихся на ее роскошных дорогах.

Но до того, то есть до их приезда, произошел у нас с ним марафонский, судя по телефонному счету, разговор.

– Бетти открыла у меня способности, которых сам в себе не подозревал. Ты, верно, знаешь: я детского ушастого зайчика изобразить на бумаге неспособен, по рисованию в школе больше тройки не зарабатывал. Восхищался разными живописными чудесами, но сам в искусстве этом себя ощущал нулем. Наш учитель, художник, мне говорил: «А руки с карандашом не дал тебе Господь, нет, не дал!» Да я и не страдал никогда, что не дал, искал себя, как вам известно, в другом... Но одну невинную блажь, забаву, в которой, как теперь думаю, может, и живет творческий дух, хранил: карандашной резиновой гузкой ткну в разведенную тушь или в канцелярскую эту фиолетовую подушечку для штемпелей, и затем – в блокнотный листок, много раз, множество. Тычок миллиметра три или четыре, то бледней, то погуще, то один на другой, ну, конечно, и краешком, и скользнешь – там черта, там мазок, там парабола... – и представь: такие рождаются узорчатости, в пору авангардистам нынешней живописи. Удивительнее всего, что не только узоры, но и предметности – деревья, цветы,

живые фигуры, причем так отчетливо, что ахнешь и схватываешься доправлять: где высветишь кляксу, точку добавишь, довернешь черту, округлишь... Словом, набралось у меня таких нечаянных радостей с полсотни листков, в осьмушку, на ватмане... Показал ей – и в совершенный пришла восторг. «У вас дар!» – кричит, захлебывается. Она вообще непосредственна...

– Она – это «золотая рыбка»?

– Ну, да...

– Она – что, художница?

– Нет, но учится в одной частной группе при Академии художеств. И такой анекдот: художник, инструктор ее, оказывается, русский. Видел кое-что из его картин, но никак не соберусь познакомиться. А она, думаю, влипла в него, как школьница, хоть самой уже под тридцать, и вот никак третий семестр учит русский, чтобы его заарканить. Так и попала ко мне. Хочу показать вам мои поделки. И ее заодно...

Вкатились они на пятнадцатый мой этаж с красными, мокрыми от необычной для Нью-Йорка пурги подбородками, как два колобка – эта Бетти была еще шариковой Андрея, блеклых, белобрысых тонов, похожая отчасти на тряпичную куклу с мочальной макушкой, пленившую недавно детскую Америку, но миловидней. Вытащила из сумки своей его рисунки и ела нас с Инной глазами выжидательно, когда мы их рассматривали: требовалось, конечно, шумное восхищение.

Восхищения не произошло. Что-то в этом роде я встречал у Поллока; из русских – у Поповой на выставке наших модернистов; правда, всё завитушное, прикладное, вроде росписи сарафанов, а он своим опусам даже давал названия по привычке, должно быть, озаглавливать стихи. Одна картинка, впрочем, нам с Инной приглянулась – «Похищение Карагёза» (это из лермонтовской «Бэлы»): обрубок лошади, над ним вроде бы всадник в бурке; все погружено в разлитую тычковую мглу, но с такой удачной игрой светотени, что ощутимо

движение, разрывающий эту мглу аллюр. Вспоминалась попутно одна врубелевская иллюстрация к «Демону», но я, конечно, об этом вслух не сказал. Были еще «Пловец», «В горах» – тоже теневые ловко подштрихованные намеки среди наплыва тычков, но менее выразительные.

– Ты скептичен, я вижу? – спросил он.

– Знаешь, я привык как-то думать, что живопись содержит некую поразившую художника зримость; он носит ее в себе, лелеет, пытается воплотить. То, что складывается случайно из твоих тычков, ничего такого не передает, а без того есть ли творчество? Автоматизм, как я понимаю, исключает ведь вдохновение...

– Знаю, знаю все опровергающие слова! Вдохновение, талант, артистизм руки, которого у меня нет, чёрт в ступке, сапоги всмятку... А мне мое стило с резинкой, я утверждаю, достаточно для самовыражения! Из сотен случайных, как ты говоришь, касаний рождаются у меня чудеса – горы, северное сияние, звери, лица... Скажу только вам, дружески, другим признаться нельзя, сам себе объяснить не могу, хоть и читал об этом немало, даже и оккультного: эти тычки, эти точки оживают вдруг у меня на глазах, начинают дышать, я почти различаю их пульсацию. От них вверх по моей магической палочке – электрическая струя, а от нее, от собственного моего пульса ей навстречу другая, в пальцах огонь, и верьте – не верьте, будто уж и не управляю я пястью своей, но сами собой ложатся на бумагу густоты, проталины и очертания...

– Вижу, тебя захватило. Ну, а как же – поэзия?

– Баста! До гроба не напишу больше ни строчки! Зачем? Для кого? Разве не похоронили нас с тобой заживо на Большой земле? Ныне и присно и вовеки веков! Никакой ведь читатель не занесет нас в свое поминанье, ни за здравье, ни за упокой. А здесь, за рубежом... Встречал ты за последний десяток лет хоть какой-нибудь отклик на мои стихи? Да и о тебе, прости, таких откликов кот начихал. Нет, я завязал!

– Что это: завязал? – вскидывает белесые лохмы Бетти.

– Перестал писать. Stopped to write poems. Очень напрасно, я бы сказала!

– И вы на меня, Инна! Неужели не ясно, что нынешнее омассовление творчества убивает прежде всего слово, потому что оно доступно любому двуногому, научившемуся читать. Иначе, совсем иначе – с языком красок и форм: сюда толпе трудней докарабкаться... тоже и судить... Так мы думаем с Бетти сегодня!

– А как идет взаимоязычное обучение?

– П-п-п-онимаю: не хочешь поспорить. Как идет? Да никак. Мне английская болтовня с ней ничего не дает, а ее от русского, как она выражается, «тошняет». Но все-таки спрошу вас обоих в упор: отвергаете вы мои изо-опыты? А?.. Откровенно?

Он даже привстал со стула, вопрошая, и на лбу побагровели залезы.

Я ответил не сразу. Почему-то мне вспомнилось вдруг, как когда-то, лет тридцать назад, на одной беженской вечеринке он впервые признался, что пишет стихи и что теперь, когда утих грохот бомб, пора зазвучать голосу поэта. Все наострили уши, и он прочел нечто любовно-лирическое, чуть с надсоновскими подголосками, встреченное бурными одобрениями. Помню и посейчас пару строф:

О, верни мне, верни отлетевшие звуки,
Эту близость далекого, пряность мечты,
На мгновенье в руках позабытые руки,
Это прежнее «вы», а не новое «ты»!
С наших губ слишком рано сняла ты повязки,
Дай нам дольше, не зная, плутать в темноте,
Слушать только начала и песни, и сказки
И угадывать: те ли они иль не те.

Надо сказать, что с годами жеманная романтика у него выцветала, все чаще обливаясь «горечью и зло-

стью», но из этого позднейшего мне уже ничего не запомнилось.

– Ну, как же? – спрашивает он, не выдержав паузы.
– Что скажете, Инна и ты?

– Что же сказать... Мы с Инной тебя, как говорят в Одессе, держали всегда за поэта. Автора хороших стихов, которые дали тебе заслуженную известность, хоть и не сделали знаменитым. А эти рисунки пока что – детский лепет.

– Вы будешь знаменитый! – снова вскидывается Бетти. – Я знаю!

– Вот вам и прогноз! – подытоживает Андрей. – А вы говорите...

* * *

Случилось так, что до самого почти лета мы с ним не виделись. Может быть, думал я, он ошетинился на нас с Инной за равнодушие к его «тычкам». Но перед нашим отъездом на дачу пришла от него записка с просьбой прислать одну новую по искусству книгу, а в августе состоялась и встреча, кратчайшая и до невероятности неожиданная; такие обычно называют совпадениями и рассказы о них встречают всегда несколько приглуповатыми: «Неужели?», «Не может быть!» – Я с ним столкнулся в Париже, куда завернул с поездки на один скандинавский литературоведческий съезд.

Читатель, испугавшийся, может быть, сию минуту, что начну вдруг живописать парижские примечательности, пусть успокоится: нет, не стану! Все очерчено и рассказано, всем восторгнуто, отчасти и через край, поверх скепсиса. Давний мой друг, Гайто Газданов, писатель и парижский таксист, уверял меня, что тамошнее людское разномастье, с которым довелось ему сталкиваться по одиночке, одним лыком шито в своей внутренней од-

народности. «Поверьте, – писал он мне, – какая-нибудь раскрасавица в песцовой накидке, живущая на Avenue Henri Martin, ничуть не отличается от ее менее удачливой землячки, слоняющейся с сумочкой по тротуарам; сноб из Passy и Auteuil так же омерзительно торгуется с шофером, как и подгулявший рабочий с Rue de Bellville. Доверять нельзя никому».

И еще потому не буду я ничего описывать, что и не манит меня больше никакой туристский пробег, никакая охота углядеть что-нибудь невиданное. Тяга осталась только к когда-то обхоженным либо обжитым местам. Есть в этом, пожалуй, что-то кладбищенское, то есть когда вы оказываетесь вдруг у дорогих вам могил и встают перед вами лица, звучат слова, совсем иной раз простые, но такие, что... – любой читатель закончит эту фразу не хуже меня, а если дожил до восьмого десятка, то и в полном со мной согласии.

Так что среди разного прочего заглянул я в «Ротонду»; не потому, что кафе это часто поминается в эмигрантских записках, а один несправедливо забытый писатель сочинил даже повесть под этим названием, – но потому, что потянуло посидеть за одним столиком, за которым... – нет, и эту фразу не кончу... А потом, в подземке, заплыло вдруг в окно название станции: La Muette – и не мог усидеть: вышел, проделав путь, указанный мне в одной открытке, которую храню в своем архиве и в памяти:

Ехать к нам надо до метро La Muette. Выйдя из метро, надо вниз по Avenue Mozart, затем повернуть в третью улицу налево, – тут будет влево большое здание электрической станции, а против него улочка J. Offenbach, всего в два дома – первый и второй. В первом – мы. До свидания.

Ив. Бунин.

Да, так и повторил по открытке маршрут, как бы в руке держа ее, перед глазами, и каждый шаг нагружая вдруг нахлынувшими из прошлого видениями и диалогами...

Вот и в Лувр забрел я не ради его сокровищ, но из-за него самого – я имею в виду дворец, так чудно воплотивший историю, что она у него сквозит из каждой мраморной либо гранитной трещины. И – чтобы вспомнить, как когда-то глазел на него с расплескавшейся вокруг площади, ощущая в груди странные, не знаю, чем объяснить, перекаты своей полуроманской крови. На этот раз, однако, не простоял перед ним и одной минуты, замученный августовской парижской жарой, но втек в один из подъездов с волной какой-то иноплеменной экскурсии и (извиняюсь перед читателем за внесюжетное выше отступление) на повороте вверх, к Самофракийской Победе, вдруг увидел Андрея. Как в кинокадре по сценарию обернувшись, он поймал мой взгляд и застопорил. Смуглая рука в браслетке скользнула от него в лестничную толпу; он полуиспуганно дернулся было за ней, но тут же остановился снова и пошел мне навстречу.

– Бывают же случайности! – пробормотал он. – Кто б мог предвидеть!

– Ты, я вижу, с Бетти?

– Гм... не совсем. И такая обида: отлетаем через два с половиной часа, нельзя посидеть с тобой ни минуты. А когда ты назад? Пожалуйста, сразу же звякни мне по возвращении, умоляю! Много есть рассказать – у меня новый, совершенно новый этап! А сейчас спешу, чёрт возьми! Не обидься!.. *Qui peut tout comprendre...* Очень надеюсь!..

* * *

В Нью-Йорке, рассказывая Инне о встрече, я отыскал его «Похищение Карагёза», с которого он сделал нам копию.

«Все-таки что-то настоящее здесь у него получилось!» – подумал я и позвонил ему.

- Алло! – отвечал женский голос.
- Привет, Бетти!
- No Betty... Laura. И я говорю по-русски. Надо передать для Андрея message?..

ВИТРАЖИ

«Его краски горят и мечутся в глаза».

Гоголь, «Арабески»

Обнадежь меня, время, скажи,
Что я вставлен в твои витражи...

Иван Елагин

- А что с Бетти?
- Расстались уже давно. Как-то само собою, не знаю... Гостила она у меня почти до весны, а потом стала пропускать и вроде бы выцвела вся, опустилась – лохмы немыты, руки грязные, под носом мокро... Думаю, художник, инструктор ее, так с ним и не поспел познакомиться, пренебрег ею, несмотря на русский язык. Но она все-таки молодчинище! направила мне Лауру, – ударение на «а», у Пушкина в «Каменном госте» было на «у»: «Клянусь тебе, Лаура!..» Но на «у» ей показалось даже обидно. Для чего ей русский, спросите? Едет осенью в Москву на какой-то искусствоведческий симпозиум, что ли, так чтоб подготовиться. Да, это она отвечала тебе в телефон. Одного с Бетти профиля, из той же группы мазил, но – контраст! Расцветка, движения, вот увидите! Главное же – повернула меня, мои опыты на 180 градусов. Куда? – В мир красок, волшебный Сезам цвета, куда мне вдруг загорелось проникнуть... Замечаете: я уж и выражаюсь барочно. И конечно же, мои «тычки», как вы их прозвали, были действительно ребячьим лепетом...

Это мы сидим с ним на другой день после моего звонка за бутылкой «Джонни Вокер» – скотча, который

держу специально для него. Разбирает его уже после двух повторов на льду, так что обычно остается у нас ночевать.

Но сейчас он держит в руке первый стакан, а в другой – папку со своими новыми опусами, ворошит, перебирает их чуть прыгающими пальцами, волнуясь, как мы с Инной их встретим, и говорит, говорит...

– Они драгоценны и чудодейственны сами по себе, краски, независимо от всего прочего, и недаром Матисс приписывает им главный вес, в отличие от хотя бы Пикассо, которому краски иной раз даже мешали, так что начинал писать коричневым или белилами... О Матисс! я ведь и в Париж летал на этот раз, чтобы лучше в нем разобраться. Понимаете: краски стали для меня таинством, альфой и омегой творчества. В рисунке был я беспомощен и тосковал, тосковал, покуда не озарило меня всемогущество красок. Ведь на краски, не на рисунок опирается, например, натюрморт. Сезанн именно с помощью цвета мог из чашки сделать одушевленное существо. И как внезапно, как самородно возникает вдруг удивительная их музыка, вы слышите их мелодию, контрапункт, хоровую аранжировку... у меня было об этом стихотворение, позабыл сейчас... А у Рембо, французского поэта, есть сонет о соответствии гласных звуков и цвета; черный у него «А», белый «Е», красный «И»...

– Я где-то читала, что этим занимался и Скрябин, – сказала Инна. – Даже составил сравнительную таблицу музыкальных и цветовых тонов.

– Да, и Скрябин... А свое, что вам хочу показать, называю теперь «вitraжи». Условно, конечно, потому что не на стекле же работаю, но – по идее цвета. В основе у меня фрагмент дюйма три на пять, а потом соединяю по четыре на лист. Знали бы вы, сколько было мучений освоить хотя б вчерне эту магию красок, их тепло или холод, уживчивость или отторженность, гармонию или невозможность контраста, как красного

платья на похоронах. Угадывать, вычислять, как на компьютере, законы цветосочетаний, коллизий, смягчений, смещений...

– Ты красноречив, как и положено поэту. Но что значит «вычислять»? «Поверил я алгеброй гармонию»?

– П-п-п-по-твоему, я Сальери?

– Ну, нет... Не обижайся, но Сальери был композитором, ты же пока любитель, только на пути к творчеству.

– Конечно, конечно...

Он говорит «конечно», но темнеет лицом. Я замечал, что у бородатых, когда кровь приливает к волосатым щекам, угрожающе мрачная складывается физиономия, – если, конечно, краснеют не от приятного какого-нибудь конфуза.

«Очень ты с ним не бережен!» – корит меня Инна, после его ухода. А по-моему, поддакивая, мы оказываем ему медвежью услугу. И это совсем не ново – что он сейчас ворошит: вековечный вопрос насчет имманентности таланта и о мастерстве «технарей». Много у него противоречий: то отрицает вдохновение, то твердит о «тайнстве» красок; восторгается Ортегой-и-Гассет – и не понимает, что автоматизм в искусстве как раз и есть результат его омассовления... Но я отвлекся...

– Посмотрите вот это! – раскладывает он веером перед нами листы и четвертушки. – Здесь почти и нет никакой темы, одна только цветность. Синева, например... смотрите, какое тепло, бархат, хочется погладить рукой. Богатейший цвет! В звучании это, конечно, виолончель. В речевом, человечьем – «О», тоже и по Рембо, и это не просто звук, но звукосмысл, потому что может передавать и небесную глубину, и бездну, и томленье души. У несчастнейшего из русских поэтов, Полежаева, были строчки:

Море стонет,
Путь далек.

Тонет,
Тонет
Мой челнок...

Какая тоска в этом «О»! Какое отчаяние!.. А есть у меня и тематическое... Эта вот четвертушка: «Взмах крыла». Контраст кобальта и берлинской лазури, негромкий контраст, и птичий всплеск в углу, тоже тихий, но покой расщеплен, видите? двумя светлыми нитями, как в волосах седина... Теперь антиподное: красное. Красный цвет – соглашатель, в яркости – трубный клич, набат, совсем может быть беспощадным и людоедским, а если потеплей, выдыхаясь – до самой пошлой доходит розовости. Вот у меня этюд: «Крик» – сплошь коричневое и красный выхлоп на нем. Не правда ли, выразительно?..

– Мои любимые цвета – желтый и зеленый... – говорит Инна

– Желтый цвет беспокойный, если очень остр – то как встреча с душевнобольным. Зеленый, напротив, сама тишина... Есть такое у меня, например: чуть неба с солнцем и зеленый ровный массив. Называется «Кузнечики»...

– Никаких не вижу кузнечиков!

Говорит это, конечно, Инна. Я, видите ли, с ним резок, а сама лепит авторам либо художникам что ей вздумается. От моих замечаний они лезут на стену, а ей сходит с рук. Но вернемся к «Кузнечикам»:

– Раз не видите, значит и нет их! – говорит Андрей. – Должен бы быть слышен их стрекот, по моему замыслу...

– Вот ты сказал о замысле, – перебиваю я. – Это уже прогресс: прежде были тычки, из которых что-нибудь, может, и выйдет. Теперь – замысел.

– Не совсем так. Я хочу, чтобы краски сами вместе со мной думали. Чистый замысел в творческих поисках всегда слишком грубо упирается в форму. Отсюда, например, кубизм, нарушение равновесия и барабанный бой, вместо гармонического звучания. Замысел себе не

довлеет, подлинное всегда неожиданно... Вот еще четвертушка одна, в витраж пока не вмонтированная, из самых последних. Названия пока не придумал, что-нибудь вроде «Одиночества». Как по-вашему?

На картонке – набор ночных красок: черной с исподу и просветляющихся вверх, к сиреневой прошве неба. Через нее – ветка с остро выписанными листиками. Еще поперек – кубовый штрих, а с краю вроде бы берег, стволы, скалы, свинцом и лиловостью, и на них, если взглядеться, – фигура прожилкой, в капюшоне с опущенной головой.

Вспомнились мне из школьных лет распространенные в детских журналах картинки: «Куда спрятался садовник в этом саду?» Но тут же сравнение гоню прочь: что-то в его четвертушке есть притягательное...

– Очень хороша у вас эта ветка по небу! – говорит Инна. – Как вылепленная!

* *
*

Недели три спустя он пригласил нас к себе. «И захватите всё для купанья, мы тут день целый в воде».

Стояло полнотелое бабье лето – лучшая, на мой вкус, под Нью-Йорком пора. Прежде, когда жива была немка Андрея, мы с Инной в такие дни непременно ездили к ним поплавать. Потом долгий возник перерыв.

«Мы день целый в воде», – сказал он. Здешняя свобода в вопросах пола давно уж не вызывала в нас откликов, но вот его «мы» почему-то зацепило.

– Живет он с этой девочкой, как ты думаешь? – спросила Инна.

– Увидим. А думаю больше о том, чем он их привлекает? Настоящие художники начинают обычно для подступа писать с них купальщиц, а он художник воображаемый, и годков тридцать, наверно, разницы – штука не малая!

– Ты уверен, что только воображаемый, то есть никакой?

– А кто его знает! Он неплохой поэт, а один дар, бывает, тянет за собой и другой, хотя б зачатке. Может, что-нибудь у него и выпестуется...

Это был некий экологический ералаш – где он жил. Какие-то ловкачи нарыли возле океанского берега каналов в надежде привлечь любителей селиться «на воде», но как-то тут же, едва настроив чего, и обанкротились. Каналы заросли ряской и кувшинками, а по берегам – камышом, висел над ними лягушачий гвалт, крик уток и пахло тиной.

Дом Андрея, впрочем, был первостройкой, стоял на самом главном канале, фронтом и рукой подать к пляжу, куда набегал кружевной, негромкий прибой. Залив, отделенный далекой косой от океанских глубин, сверкал перламутрово между плакучим и хвойным, что было насажено на участке; мы подъехали к дому со стороны почтового ящика и колышков с бечевкой, на которой трепыхался по ветру алого цвета лифчик.

Нас и встретила Лаура – той же, что и у Бетти, щедрой обтекаемости, только необыкновенно яркой окраски и стремительного темперамента.

– Удить я бросил! – сказал Андрей, бывало днями сидевший со спиннингом. – Теперь ловим угрей. Хотите, поглядим вершу?

Мы вытянули за веревочку проволочную вершу на берег – и действительно извивалось в ней целых два угря переливчатой блестячности и черноты. С ними расправилась Лаура, живо оттяпав им головы кухонным секачом тут же, на травке. В своих кошачьих ухватках она не хуже их взблескивала на солнце: загорелая, в искорках кожа, зубы, глаза под синеватой челкой, подпрыгивавшей при бурных ее движениях.

Но возвратимся к «внутренней теме» повествования.

– Какое богатство здесь для художника! – говорит Инна после казни угрей, оглядываясь по сторонам. –

Простор, паруса и, как рама, мимозы! Всегда думала, что мимозы растут на полях, вроде ромашек, а они, оказывается, вот какие гиганты плакучие. В сущности художнику надо только уметь читать красоту вокруг и пересказать ее зримо. Был бы у меня талант – никакой другой темы не искала бы. Что скажете, Андрей?

– Скажу, что эта «тема», как вы выражаетесь, для фотографа, не для меня. Талантом, я думаю, вы называете способность улавливать сходство, а я даже палец ваш нарисовать по памяти или с натуры не способен. И не только из беспомощности, но и вообще никогда бы не стал переводчиком на язык живописи чьей-то физиономии или пейзажа. «Ах, как похоже!», «Ах, как ловко схвачено!» – все эти банальности мне ненавистны! Кое-что свое я вам покажу после, если интересуетесь...

Помяну еще раз Лауру: прогнав нас купаться, она в необыкновенном аллегро, каким была и сама по себе, принялась жарить угрей на низком цементном таганке, устроенном между кусками. Действо это и последующее угощение называется здесь «барбакю», и угри были – как в лучшем ресторане, хоть и отдавали дымом.

А потом Андрей повел нас в студию – с большим окном на залив, роскошным мольбертом и рейками на противоположной стене. На рейках – разлитое море накопленных «витражей» в лист и четвертушек. Он, может, ждал от нас «ахов» по поводу этого изобилия, но нас вобрал в себя залив за окном: такой в нем плавал закат, что глаз отрывать не хотелось. Вышло отчасти как бы продолжение их с Инной разногласий насчет пейзажа, так что он после паузы начал почти ворчливо:

– Увлечение телесностью природы, конечно, я понимаю. Многих захватывало мастеров – и романтиков, и натуралистов. Поттер, Констебл, Клод Лорен, у нас Иванов, Левитан... одних «золотых осеней» сколько выложено на полотно! Всё переглядел, но... восхищался прежде всего колером. Волшебство красок без соперничества с фотографией, без сюжетной упряжи или пар-

фюмерной красоты – вот в чем суть мастерства! И чтоб рождало оно ненадуманную и потому таинственную предметность, то есть и сюжет, и легенду, но не из замысла, а из самого чуда сцепления красок и форм. Над тем и работаю. Плохо пока, в экспериментах, но что-то уж сделано, и если хотели бы посмотреть...

Мы, конечно, хотели.

Он снимал с реек и передавал нам в руки один за другим свои «витражи», в каждом по четыре четвертушки, подбор которых, думаю, был для него главной головоломкой. Витражи эти с причудливой мешаниной синьки, зелени и «протуберанцев солнца», как он выразился, выходили у него занятно декоративными, но и только, ничего предметно-тематического в них не было.

– Да, это у меня главным образом колористика! – говорил он. – Я раскладываю мои четвертушки, как пасьянс, чтобы угадать законы цветосозвучий и световых фокусов, на этом ведь – все композиции Джордано или Эль Греко, все живописные чудеса! В том числе – натюрморт, о котором уже поминал. У голландца одного, Кальфа, видел «Кубок из перламутровой раковины» – настоящий пир красок!

– Вот не представляла вас никогда в галереях!

– А между тем вряд ли сыщете хотя б одну стоящую, которую не исходил бы я вдоль и поперек.

– I was the one who taught Andrey about colors! – вставляет вдруг Лаура.

– Вот и эта матрешка смотрит на меня сверху вниз и недавно таскала в музей показывать картину, которую знаю давно, как свои пять пальцев. Тоже не верит в меня...

– Нет, я веру...

Под конец мы долго разглядываем отдельные четвертушки.

– Есть у меня, – говорит Андрей, – и кое-что с предметностью. Это хотя бы... Назвал: «В филармонии».

На картонке дюйма три на пять – половодье цветных клякс и точек; в середине вроде бы ребра виолончели и взмах рукава со смычком. В целом можно предположить праздничную толпу, конец музыкального исполнения и триумф.

– А вот эту я помню! – неожиданно оживляется Инна. – Дайте, дайте сюда! Мне нравилась здесь в капюшоне фигура. Она теперь ярче, вы переделали? И была еще ветка, зачем убрали ее?

– Ветка мешала...

* *
*

Этот визит продолжался еще несколько дней... по телефону. «Да, да... ну, да, понимаю, – тянула Инна. – Но ваши, как вы их называете, четвертушки, по-моему, очень мелки. И зачем вы их соединяете по четыре и разделяете крестовиной? Они же не стеклянные, ваши витражи! Почему бы не увеличить в этом размере какую-нибудь из четвертушек поудачнее? Вот те две, что показывали нам в конце. Особенно эту фигуру в скалах»...

В таком, помнится, духе был разговор.

А месяца через два, примерно, Андрей к нам приехал на ужин по поводу нашего семейного календарного торжества. Был мрачен: Лаура уже отбыла в Москву, как и предполагалось, и ему, вероятно, не хватало теперь собеседника. Кажется, собирался даже завести себе пса; какой породы – обсуждалось, я слышал, тоже по телефону.

Мы сговорились с Инной попробовать воротить его снова к писанию стихов. Об этом я и завел за столом во время ужина.

– Ведь часто даже больших мастеров слова тянуло к кисти. Лермонтова, Шевченко... Ближе к нашим дням

– Волошина. Всеволод Иванов, между прочим, тоже брался за кисть, а повесть одну назвал «Цветные ветра». Писал хорошо, покуда не защемили его партзаказы и критика... А насчет моих стихов – я ведь не раз объяснял, почему решил бросить!

– Да, но ты вообще как-то отпрянул от литературы. Насколько я знаю, ничего не читаешь.

– Тебя я читаю.

– Мудрено, потому что я почти ничего не пишу.

– А что мне читать? Советскую прозу? Нет, не могу! Великая наша литература всегда вдохновлялась образом русского интеллигента. Его начал порочить Горький в своем несуразном «Климе Самгине», а потом, как вы знаете, этого интеллигента истребили начисто. Героями романов стали Ромуальдычи. Это, если помните, у Ильфа-Петрова: «Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился»... Я с Ромуальдычами никогда не общался в жизни, не хочу и в книжках. И скажу вам: буриданов осел, которого напрасно выдают за безмозглого, ибо ослы животные умные, – буриданов осел – интеллигент среди Ромуальдычей, потому что способен был размышлять, а они – нет...

Обрываю этот застольный разговор, чтобы не надоест читателю; тем более, что за кофеем разгорелся он уже на близкую моему повествованию тему.

Это – когда Андрей вытаскивает из своей папки преподношение Инне – картонку в писчий лист или чуть покрупнее:

– Вот, увеличил, как вы заказывали. И вам тогда это понравилось. Высветил слегка краски...

Нас было четверо за столом; кроме Андрея и Инны, еще Энн – наша приятельница, из моих когда-то студентов (представляю ее чуть позже). Увидев картонку, обе, Инна и Энн, выдохнули: О!..и она пошла вперехват по рукам.

В самом деле: в переделке все стало много выразительнее. По-прежнему была ночь, но вроде бы и чуть

рассвет за рекой, и спящие крыши, и главное – удачно подсвеченная, ожила странная на скалах фигура.

– Она теперь еще таинственнее, – говорю я.

– Я так и хотел. Это астрал. Некто из случайных гостей, не созданных для мира. Из потусторонности...

– Ангел?

– Не знаю.

– Может быть, из толстовского «Чем люди живы?»

Ангел на пути к земному воплощению? – говорит Инна.

– Вот и округлость в полкрыла.

– Может быть...

– Полукрылый ангел!

– Полукрылый? О, как хорошо, Инна! Так и обозначим.

– Я бы сказала: это очень талантливо! – прищуривается на Андрея Энн, по-нашему, как мы называем ее, Аннушка, и заросли на его щеках густо заплывают краской. – Почему, спрашивается, мы раньше не были с вами знакомы?

Он молчит и тянет через соломинку скотч, и пальцы, держащие эту соломинку, я замечаю, у него вздрагивают.

Потом, после большой и шершавой паузы, вдруг встает и начинает прощаться.

– Здесь есть что-то, – продолжает Аннушка после его ухода, снова разглядывая картонку. – А автограф забавный: «Милой Инне на добрую память от автора». Так, по-моему, подписывают поэты, а не художники!

– Как вы все это замечаете, Аннушка?

– Я же у вас училась...

КОМПОЗИЦИИ

«Композиция» – компоновка, сочинение, в музыке и других искусствах...
...Поддельный, составной камешек или иная подобная вещь.

Словарь Даля

Она действительно слушала когда-то мои лекции, Аннушка, и была единственной, пожалуй, американкой, говорившей по-русски не хуже меня самого, так что даже аканье современных московских просвирен во время ее гостевых поездок не испортило ее выговора. Я не включил бы ее в свой рассказ, потому что она заслуживала более самостоятельной сюжетной роли, но «из песни слова не выкинешь», а особенно такого жизне-стремительного слова, как Аннушка; она сама выкинула бы нас с Инной из этой истории скорее, чем мы ее. Судите сами...

Зима пробежала, как всегда, лихо, с обычной телефонной болтовней, но без встреч, а в конце, примерно, апреля случился такой звонок:

– Привет, привет! – (обращение, конечно, тоже из московских источников). – Это я, Аннушка! Как у вас всё?.. Хочу рассказать, что устроила четыре композиции Андрея на выставку в галерее «Х», Медисон авеню. Что? Он так называет свои картины: «композиции». Да, четыре...

– Картины Андрея? На выставку?

– Почему нет? У меня в этой галерее друзья. Вернисаж будет приблизительно через месяц, получите приглашение. А до того Андрей хочет звать нас к себе на международный праздник трудящихся, первого мая.

– Когда это он захотел? Откуда вы звоните, Аннушка?

– Как раз от него. Провожу здесь викенд, погода, как видите, редкая...

Вот ведь и «Гм!» никакого не скажешь – до того все ошеломительно. Энн порядком за тридцать, но все равно Андрей ей годится в отцы. Она собой хороша, и почему до сих пор не замужем, мы с Инной постоянно ломаем голову. Разве вот: есть в ней что-то от амазонки – спортивные упругости рук и ног, верховая лошадь, овчарка, теннисные корды в колледже, где преподает... А славянские самородки типа поэтов и бардов всегда вызывали в ней только иронический интерес.

Покуда я недоумеваю над этим, она требует к телефону Инну, и вот они говорят наперебой, и все проясняется, уточняется и подтверждается, наконец, самим Андреем, к которому переходит трубка:

– Первого мая ко мне, запишите, пожалуйста!

* *
*

Я бы и рад был не повторить раз уже выведенного в этом рассказе описания визита на Андреево взморье, но ведь рассказываю не выдумку, а быль, на которую в теперешней прозе мода, так как же тут быть?.. И человеческая личность, барахтающаяся в разных вариантах этой были, как оса в варенье, разве так уж и не заслуживает внимания? Так вот и пройти, не оглянувшись, мимо Андрея с его неожиданным самоопределением из поэта в художника, с его мрачным ощущением отторженности от века, разместиться в котором он не сумел?..

Словом, «воленс-неволенс» записываю краткий отчет о нашей первомайской поездке к Андрею, происходившей в тот буйный расцвет весны, который даже Игоря Северянина побудил отложить жеманство и написать вполне поэтически:

Весенний день горяч и золот,
Весь воздух солнцем напоен;

Я – снова я, я снова молод!
Я снова весел и влюблен.

И, отказавшись заодно от «ячества», кончить так:

Шумите, вешние дубравы,
Расти, трава, цветы, сирень!
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!

Подстраховавшись Северяниным, скажу, что часа полтора, по крайней мере, заняли у нас «ахи» по поводу окружающих красот, щелканье камерами, потом галоп на моторке по рубчатой зыби залива и, уж за полдень, завтрак под мощным, но качким зонтом, с пищей «из коробок и баночек», как говорила Инна: Аннушка чуралась кухмистерского мастерства.

Затем нас с Инной полуторжественно и, как я чувствовал, тоже с ожиданием наших восторгов, повели в студию. Мы и самом деле, войдя, разинули рты: окно на залив было теперь во всю стену, и той же длины стеклянная просека на потолке – света столько в глаза, что зажмурились.

– Шторы заказаны, но еще не готовы! – сказала поспешно Аннушка. – А вообще это я посоветовала Андрею такое переоборудование. Было тут темновато. А? Как вы думаете?

«Я посоветовала», «я подсказала» и тому подобное, покуда были мы в студии, повторялось немало; Андрей при этом чуть настораживался и больше обычного моргал. Я думал, что новшество это влетело ему в копеечку, но, разумеется, промолчал. Да Аннушка и не ждала ответа, а парадно взмахнув рукой, обернула нас к освещенной стене – на ней четыре, в полчеловечьего роста, картины, «композиции», как он почему-то их теперь называл (довольно двусмысленно: см. эпиграф к этой главке, взятый из Даля).

И опять Аннушка:

– Я задержала их специально для нашего сегодняшнего вернисажа. Завтра отвезем в галерею все четыре. Вот, по порядку: «Полукрылый ангел», «В филармонии», «Пейзаж» и ...

Ставлю здесь точки, потому что сейчас, записывая, никак не могу вспомнить название четвертой картины и как выглядела, но не хочется вставлять выдумку в мой в общем-то достоверный репортаж. Впрочем, и о первых трех опусах разговоров было достаточно.

И опять-таки «ахов» – в успехе Андрею никак нельзя было отказать. Он зрел зримо на наших глазах, как цитрусовый плод в субтропической зелени, и в этом третьем воплощении его «Ангела» внятно брезжила уже, как он любил говорить, «магия красок». Она началась, пожалуй, с сиренево-дымчатого средоточия картины – предрассветного неба, и потом лучилась вокруг, по часовой стрелке, густея, синея, свинцовея, образуя каньон и воду, крыши, холмы, берега, скалы и заросли, к темному сплаву которых жалась фигурка с легким воскрыльем, чуть тронутая полуотсветом, так что и возникала для глаза не сразу, а после паузы вглядывания и словно бы неожиданно.

Я сказал про эту неожиданность, и Андрей, до того молчавший, воодушевился необыкновенно.

– Спасибо, рад был услышать! Ведь в этой внезапности впечатления, возникновении значимого из зримого «ничего» и состоит мой замысел. Именно, именно необходима сосредоточенность, несколько впитывающих секунд... Я читал, что один русский художник в картине распятия сотворил так, что если смотреть подольше на лицо Христа, уже мертвое, со смеженными веками, то вдруг видится, как он открывает глаза и глядит на вас... Да, знаю про итальянскую плащаницу, но это был трюк, решенный по-своему: темные точки на веках оживали, будто зрачки... Впрочем, все это я ни к чему...

– Нет! – подхватывает Инна, – нет, к чему! В вашего «Ангела» если всмотреться – он шевелится, дышит! Это подлинное искусство, я чувствую. Знаете: Эмилия Дикинсон как-то писала, что, если холодеет всем телом, читая книгу, значит, напала на что-то высокое, творческое. Такая мерка!.. И у меня, когда взглянула на вашу картину, побежали по спине мурашки.

Он млел, как школьник, Андрей, от наших похвал.

– А мне, – я сказал, – нравится и «В филармонии». С этим увеличением особенно тебе повезло: все стало богаче, выпуклей – и локоть со смычком, и это кругом попури голов, одежд и аплодисментов. Очень хорошо сгармонирован цвет!

– Спасибо, спасибо...

«Пейзаж», третья его композиция, несмотря на сочное сплетение зелени и желудевых троп, злыми языками называемое «яичницей с луком», был на мой вкус меньше занятен и мертв. Я сказал ему это к неудовольствию Инны и Аннушки.

– Вмонтирован тут стаффаж, то есть намек на парочку в конце аллеи, но, может быть, она и не ожила, ты прав... – говорит он, и в углах его всегда чуть горячих глаз, я видел, проскваживает обида. – Но я разворачиваю влево дорогу почти замыкающейся кривой, и это должно дать движение. Понимаешь: я балансирую цветовую полифонию: над эллипсом у меня небо, намек-озеро, ветер, а внутри зелень, покой, то есть контраст, то есть движение.

– Но ты же отказываешься от перспективы, а пейзаж без перспективы, я думаю...

– Все равно может ощущаться движение. А отклонялись от перспективы не только ведь модернисты, было это и у Рубенса, у Веронезе «Брак в Кане Галилейской»... Вообще это второстепенно...

– Совершенно, совершенно второстепенно! – говорят Инна и Аннушка в один голос.

Конечно, все мы вчетвером отправились в галерею, на его вернисаж. Не только его – были там еще два художника кроме, но, пожалуй, у его «композиций» гуще стоял народ. Они и выставлены были удачнее прочих, особенно «В филармонии», подвешенная под настенный рассеянного света софит.

Я первый раз видел Андрея в таком конфузе. Он горбился и почти пугался, когда к нему подходили, но Аннушка бойко знакомила его с посетителями поименитей, что-то им растолковывала за него. Под конец он очая, дважды собиралась вокруг него подковка из толкущихся, и он рассказывал о своем методе и почему отвергает для себя всякого рода «измы».

Словом, был успех! Дня через три в одном обзорном бюллетене появилась статейка, где сопоставляли его с полдюжиной известных и неизвестных имен, а его «В филармонии» возносилась до небес.

– Знаешь, эту «Филармонию» купили за пять тысяч долларов, – сообщила мне Инна чуть попоздней, – а сам он назначил, между прочим, только тысячу – Аннушка переименовала, он говорит...

На некоторое время (должен признаться ради правдивости рассказа) эта тема – нет, не денег, а тема Аннушки – стала у нас с Инной «дежурной» – то и дело на языке:

– Хотела бы знать, как обстоит у них все с Андреем. Неужели это любовь?

– Спроси у них самих, если тебе не терпится.

– У кого «у них»? У него? Он промолчит, надуется или рассыплет такой фейерверк, что все равно не понять.

– Ну, у нее, вы же приятельницы.

– Знаешь, американки такой откровенности не любят.

– Ладно, я спрошу сам.

Я и спросил – это уже поздним летом, когда Аннушка приехала в «викенд» к нам на дачу. Мы ловили

с лодки сомиков – рыбу живописную и вкусную, которая называется здесь catfish.

– А угрей у вас не водится? – спросила она.

– За угрями надо ехать к Андрею. Кстати, о нем уже долго ничего не слыхал. Не звонит.

– Мне звонит он неумолимо.

– Гм!..

– Хотите сказать что-нибудь значительное или спросить?

– Спросить: что вы с ним сделали? Старик последнее время не может сосчитать до трех, чтобы не вставить вашего имени. Какие у вас с ним отношения?

– Ждала что-нибудь в этом роде и злилась заранее. Какие можно мне приписать отношения с человеком на тридцать лет старше и вообще... из прошлого века? У вас познакомилась, хотела помочь, развлекалась – он, вы знаете, собеседник занятный. Но... есть у вас пословица, забыла, – про седину в голове...

– Седина в голову, а бес в ребро?

– Точно! как говорят в Москве. Узнала недавно про двух диких девчонок, которые жили у него. Но со мной он скорее – романтик. Хотя и это тоже беда – эти русские Бержерачи и Вёртеры, рыцари вечной женственности – я ведь не позабыла еще ваши лекции. Главное, вам не говорила пока: с осени уезжаю в Париж, подписала уже контракт с одним колледжем. Боюсь, не вздумал бы за мной увязаться!

– Ему про Париж сказали?

– Пришлось. Теперь у него депрессия. Понимаете: мне некогда, мне совершенно некогда с ним возиться!..

* * *

Чувствую, пора «закругляться», и нигде, кажется, так не оправдано это словцо, как в случае затянувшегося

рассказа. Да, пожалуй, я все уже и сказал, относящееся к главной теме, а что случилось дальше с моим, с позволения сказать, героем – «кому это интересно?», как говорят в Одессе.

Все-таки свой сюжетный пунктир доведу до конца.

С депрессией Андрея после возвращения с дачи мы с Инной пытались бороться по телефону – получился чуть не трехзначный телефонный счет. Без результата.

А потом он вдруг явился, не предупредивши и, как на зло, когда Инна уехала на какую-то распродажу. Был наглядно в упадке: пожелтел, поседел, и голос звучал так, как если у человека болят зубы. Был в тяжелой обиде: в очередном отклике на его «Ангела» говорилось, что в картине «нет решительно ничего, кроме славянской расплывчатой темы». Ну и вообще никакого интереса к творчеству его больше не проявлялось нигде.

– «П-п-п-полукрылый» – словечко это придумала Инна, – начал он заунывно, охватив виски ладонями, локти на стол, и казалось, вот-вот заголосит вдруг, как плакальщицы над покойником. – Не кажется ли тебе, что все мы, за малым, думаю, исключением, все мы, русские интеллигенты, полукрылы тоже, то есть по самой нашей природной ущербности лишены возможности взлететь? А? И проклятый вопрос «зачем?» нас никогда не минует. Зачем я вообще? Зачем я – то, а не это? Зачем писал стихи? Зачем вообразил себя художником?..

– Есть пушкинский ответ на такое «зачем?» Как поэт не можешь не знать.

– Знаю, конечно... И вслед за Достоевским всегда считал «Египетские ночи» идеально законченной вещью. За этот самый ответ.

Он снова зажал ладонями виски и, чуть покачиваясь, прочел на завыв:

Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.

Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он –
Орлу подобно он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, выбирает
Кумир для сердца своего...

И потом, вздохнувши:

– Так это – поэт. А зачем – я?..

– Выпьем-ка с тобой «Джонни Вокер»! А?

– Это «выпьем» – наша панацея от всех головоломок
и во всех тупиках... И наше проклятие!

– Зачем так трагично? Мы же не до белой горячки...

* * *

Чем всё кончилось?

Тем, что, проводив с нами Аннушку в самый хрустальный закат нью-йоркского аэропорта, он недели две не отзывался на наши звонки. Так бывало и раньше, но на этот раз в воображении нашем вставал даже и скачок с лодки вниз головой, навстречу угрям, необратимый, потому что он не умел плавать. Собрались ехать к нему, но тут же получилось письмо, из которого следовало, что уж его на заливе и след простыл. «Лечу в Париж. Дом сдал со всеми онёрами, – писал он. – Картины свои, конечно, везу с собой»...

– Надеется, что взлетит там, в Париже, его «Полукрылый ангел», – сказал я.

– Хорошо, что хоть сдал дом, не продал! Значит, не совсем еще дурень, – сказала Инна.

ИЗ ЦИКЛА «Я. В. НОРВЕГИИ.
НА СТРАСТНОЙ. И НА СВЕТЛОЙ.
СОРОКАДНЕВНОЕ»

Памяти Якова Виньковецкого

МАЙ – ИЮНЬ 1984

Когда НОРВЕГИЯ НАВИСАЕТ
на Страстную, как ПАДШИЙ АНГЕЛ
– фиолетово – сиренево – серебристо –
в плоском море, излучая весь спектр
радуницы, и скользит привычное: САМ
– прочерк – ПРИИМИ И НАША В ЧАС СЕЙ –
ОПОМНИВШИСЬ –
шорохи уныния и гордыни. Когда навязчиво:
художник Врубель – в стрекот тире – отбойным
молотком по крыльям Царевны Лебедь,
скалы, и бледным осколком зеркала
– ЛИК ЦВЕТАЕВОЙ – сирены – самоубийцы –
– в стрекот – на Великий Четверг – ИУДИН –
поэтессы – повешенницы, готовясь
отразить твои черты. И убийственно
вы похожи, когда на Светлую
Пятницу, сказали, свершилось. Выдох
полный, и вдоха художеств наших
не наблюдаемо здесь. бояться.
там – еще больше.

* *
 *
 *

**ТЕПЕРЬ ТВОЕ ЛИЦО
В ЦВЕТАЕВОЙ ЛИЦО
ВОШЛО**

* *
 *
 *
 *

Еще пылающего клювом дрозда
мертвого вижу я под кустом.
И остервенело, как бы опомнившись,
пес не сразу его хватает. И я настойчиво
вынимаю темное тело из пасти, лижущей
однобокой розой. Кристаллы снега
пробует спеленутыми в листы
пальцами КУСТ,
ОШИБСЯ ОПЯТЬ ЦВЕТЕНЬЕМ

. . .
А после ДЯТЛОМ СИНЕГО СВЕЧЕНЬЯ твое лицо
в беззвучной судороге возникает сверху и пропадает,
заливаясь мраком, но не отходит, будто выныривает –
как бы не наступить... Нет, не нужно: какую силой.
**ГОСПОДИ, ОСЛАБИ. ТВОЕ ПОВЕШЕНЬЕ. ИЖЕ
ВЕСИ СУДБАМИ**

* *
 *
 *
 *

Без того уже витал ты за океаном.
Без того изошли уже из России.
Без того горит Порт-Артура
– гибелью какой сверхдержавы –
имя в Мексиканском заливе.

Без того купался ты в эйфории
от Америки – МОРОКОЙ – ТОСКОЙ ПО РОДИНЕ.
Без того депрессия на соблазны

видеть упырей СЕРЕБРИСТО –
ФИОЛЕТОВО – СИРЕНЕВО – СВЕТОНОСНА

Без того и ЭМИГРАЦИЯ НАША
ИЗ ОТЕЧЕСТВА НЕБЕСНОГО – Царством
Царство разрушая и воздвигая, что толку,
и в Рассеяньи душевном незримо
приистекает.

Без того ни иудею, ни греку,
ни варягу, ни монголу, ни немцу,
ни кому еще, в себе и куда ни бегай,
нечего сказать, кроме ГОСПОДИ...
как в обрыв петли: ПОМИЛУЙ. И даже

по-американски. КОГДА означает время.
Без того КОГДА предстоит нам ВЕЧНОСТЬ
календарным поучением. И надеюсь,
посветили другие тебе деревья
в штате Техасском.

* *
 *
 *

Ужасных тополей истечение вижу
хладным серебром на листочках клейких,
ибо слышат заглазные мои мысли,
и скрежещут овальные их иконы
выше остекляневших зданий.

И драконов танец яблонь по склону
локотно-коленный, с надрывом кожи
не побуждает проверить пальцем
в снежном порхании их цветенья
вековых желаний опливы.

Что-то весна мне снова рогатки ставит,
топчет костер, содроганьем дышит,
ежели любовным, то к самой смерти.
В облаках холмисто-непроходимо.
И река чешуей покрылась.

Вот уж и форзиция ядовитой
зеленью съедает свои ожоги.
Вот и столб, что скелет, попался
в юбочку куста. И медвяно трубно
в лемехах холмов. И где-то скрипит Волынщик.

Ранняя весна, танец Смерти с юной
полуплотью. Тоже Любви трепещут
бледные бесы и отдаются,
скрежетом зубовным пугая, будто
безъисходным пожираемы змеем.

Пламенной трижды, когда угодно,
плазменной нежности истеченьем –
жизнь эта – облаком на распутьи
Висельного Древа под ВЕРТОЛЕТОМ,
ВЕЧНОСТЬЮ, ибо она мелькнула.

Только деревья пребудут дольше,
отравляемые мною, повыпьют крови,
ибо слышат заглазные мои мысли,
ибо ПЕРЕКИНУЛСЯ ДРОЗД НА ДЯТЛА
В СИНЕМ СВЕЧЕНЬИ

* *
 *
 *
 *

ОБОРОТНОЕ

Мы погодим «трагически погиб»,
покуда Церковь отпевать не смеет.
Сама Весна вступает в холода
и Духов День голубит свой прогиб,
покуда Вознесенье семенеет.
И не возврат обозначает: да,
пусть тусклый день прозрений ночь сменяет,
мы погодим «трагически погиб».

Покуда шепот боковых молитв
твоей свечой петляет на кануне
и ты в петле являешься, светясь,
причастной чаши полон монолит
в дверях и обещает полнолуние,
из тьмы такой пропащей воротясь,
что мы, должно быть, обращали втуне
покуда шепот боковых молитв.

Уверуем, что погибаешь ты
трагически, и все же – не конечно.
Ревнитель Букв Святого Языка,
Сам Господи, над бесом пошути,
мелькающим в молитвах вековечно,
и ослабленьем, Иже Веси, как
Спасением – прозрением и вещно –
уверуем, что погибаешь ты.

Нам это нужно, скажут, но тебе
еще нужней, помыслим, из ответов.
И эта память не на сорок дней.
Покуда верим, что стоит Тибет,
пока кресты не отличить от веток,
пока Иуда – значит – иудей.
Сам, Волею гибели отведав,
нам это нужно, скажут, но Тебе...

Обороты обратное и круг
вернется на круги своя навеки,
и будет, что внизу, то и вверху.
Покуда душу погубляет друг
и Богоматерь опускает веки.
И я строкой работаю врагу
за страх и совесть и за человеки.
Обороты обратное и круг.

* *
*

**Я
ВИДЕЛ
ЦЕРКОВЬ.
ОДНО КРЫЛО**

перебито, еще контрфорсами
запечатано, покуда другим косила
тополя, разворачиваясь, и куколку
купольной часовни. Ее глава
с клювом, обозначенная в углах
грубого резца возносимой шеи,
зияла взглядом и осыпала
искрами терзаемого стекла.

Еще стелилась туловищем к прыжку.
И «красиво это, ко взлету это»
я уже не думал. Я видел издали, как вблизи.
И как холмы прокатывают пространство
под ее когтями. И грузно падала,
аж по клетот, в землю. Я видел Церковь,
а больше птицу, а больше львицу.
Я видел мстительницу, распятую
на кресте отмщенья,
а больше ее не стало.

Я видел, как она пропадала,
сходя под землю, с нашего неба.
Я видел крики ее – злаченого
петуха пускали с серпом на каждую
травную былинку, что по ребру
вздыбленной земли, и вдыхание полунеба.
И «ложбина во спасение», как на ягодицах
этого коня, я подумал и отказался.
Видел я себя муравьем
и толпу цветов на лугу немецком.
И что серп был спутан: о чем витые
в средостениях креста – по грехам же нашим –
православные разводы. И семя Света.

Снова видел ее ростком.
И в ослепительной пестроте
ястребиного падения. И пятой,
заступавшей небо. И глубиной
верного колодца, где был схоронен.
И кладка шеи, груди и крыльев,
вся ее масса в прожилках крови
расседалась, округляя падучую прямизну
складок, будто на дрожжах безысходного
Воскресения Господня.
И вход был зашит кустом.

Еще я видел: Христос – широкая
кость – сходил под крестьянский танец,
носок в носок с притопом и в коромыслах
непроявленного круга, что камень Света
с темного креста, на который он и вернулся.
И будто бабочкой подавился огромный зверь.

В кадке мутных солений давило солнце.
Ногтем луны помечалось «вечер».
Было мне, будто проистеченно
мелькнула вечность. Я видел звезды

восходящих селений и скрежет противотоков
синего в сумерках. Становилась
тьма, и сверкало, где ее прибывали,
как изнанку света. Видимость изострылась.
И самый черный был куст у входа.

Это было на исходе эпохи конструктивизма ко всему
невидимому.
Ее связали, как бы не названную с семьёю, католические
немцы.

И всем другим на шестке! сказала, выпроставши крыло.
Вот я видел на подходе в холмах, и пойду, и еще увижу.
Вот я видел, а что виденье – не осознавал, и смысл его
расточался. Вот виденье мне было, но окончательное
всё сокрыто, за которое выдавать не буду. Вот я видел,
теперь не вижу, всё закрылось изображеньем. Вот я был
в эмпиреях, а это всего реальней. Вот я видел, яви же
в глубинах сердца. И одно другого, как: накажи,
ГОСПОДИ, НЕ УЖАСНЕЙ. ОСОБО – КУСТ.

* *
*

Вышла в свет книга Беур Бриа «МЕССИЯ», представляющая собой Божественное откровение, написанное автором на основе Торы (Книги Моисея) под воздействием Бога в течение шести лет (1979–1984). Это Божественное откровение есть Мессия, явившийся в настоящее время.

В откровении «Мессия» раскрыто: понятие сотворения Богом земного мира (согласующееся с наукой), частичное вмешательство Бога в развитие человечества с predetermined ролью в этом евреев, будущее человечества с дальнейшей судьбой еврейского народа и государства Израиль.

Цена книги: 12 долларов (в Израиле 10 долларов). Зака- зывать по адресу: А. Ведрицкий, Вох 28065, Тель-Авив, Израиль.

ИЗ КНИГИ «В ДАЛЕКОЙ ГАВАНИ»

Перевел с украинского автор

* *
*

Еще рабочий день не начался в порту.
Летучим саваном струятся в высоту
Болота смрадного гнилые испаренья.
Обломок месяца свое свершает бденье.
Как слезы – на траве тяжелая роса.
В бурьяне, склизкие, гниют останки пса,
И тут же нищий спит, приникнув у ограды,
И храпа пьяного разносятся рулады.
А вот еще пустырь. И мусор черен тут:
Здесь павших лошадей, обливши нефтью, жгут.
Куда же я иду? Дороги нет ужели,
Чтоб эти жуть и грязь за мной идти не смели,
Грозя собачьей и нищенской судьбой?
А может быть, теперь я вижу пред собой
Мой будущий удел – как пес и нищий пьяный,
Свалиться навсегда меж зарослей бурьяна?

* *
*

Блажен стоящий над потоком,
Кто любит слушать свысока,
Как между скал шумит река
В своем стремлении жестоком.
А мы, подхвачены волной,
Летим вперед неудержимо,

И берега мелькают мимо
Змеиной лентою цветной.
Нас оглушило водным шумом,
Чтоб мы вовеки не могли,
Ни слушать шорохов земли,
Ни предаваться гордым думам.
Мы то ныряем с головой,
То бьемся грудью об уступы;
Среди живых несутся трупы,
Покрыты илом и травой.
Порою, силы и уменя
Для мертвой хватки изошрив,
Мы выползаем на обрыв,
Держась за корни и каменья.
Но набегает пенный шквал
И нам выламывает пальцы,
И вновь, усталые скитальцы,
Летим в зияющий провал.
Блажен и счастлив, кто не с нами.
Блажен, кто внемлет с крутизны
Напевам пляшущей волны,
Порхая мыслью над волнами...

1942

ИЗ КНИГИ ЕЗДРЫ

Долго, Асия, нечистой блудницей
Шла ты стезей беззаконий и лжи.
Лоно свое облеки власяницей,
Вретищем чресла свои повяжи –
Горе, Асия, тебе!
Меч занесен над твоей головою –
Где обретешь ты желанную бронь?
Бедствия льются рекой огневою –
Чем ты угасишь палящий огонь? –
Горе, Асия, тебе!

Лук необорной рукою натянут –
Как отразишь ты Господню стрелу?
В бездну погибели дни твои канут,
И сыновья твои внидут во мглу.

Горе, Асия, тебе!

Гневом напитаны молнии Божьи,
Божья десница тверда и сильна.
Дрогнули горы в широком подножьи,
И помутилось море до дна...

Горе, Асия, тебе...

1942

(ИЗ ПОДРАЖАНИЙ ФРАНЦУЗСКОМУ)

По спутанным кривым, по ломаным зигзагам
Идет вперед корабль под чьим-то гордым флагом –
С разбитым корпусом, испорченным рулем...
И белый альбатрос парит над кораблем.
От солнца бронзовы, обветренны и босы,
В бездельи здесь и там слоняются матросы.
Им думать не о чем. Лишь крепче был бы ром,
Да громче кошельки звенели серебром.
У пассажиров – лень. Они скучают, ноя.
Их скудные мозги расплавились от зноя,
Им правды не узнать и к мысли не дойти:
«Куда же мы плывем? И где конец пути?»
Никто не чувствует тревоги и обмана.
Спокойны, как всегда, движенья капитана.
Но знает, где маяк, и гавань, и земля,
Лишь белый альбатрос над мачтой корабля.

* *
 *

Не гляди так пристально
Из окна во тьму –
Можно ли довериться
Взору своему?
Что-нибудь почудится
В тишине ночной,
Кто-то примерещится
Близкий и родной.
Но навстречу призраку
Если выйдешь ты –
На него опустится
Полог темноты.

Не старайся вслушаться,
Вникнуть в тишину,
Разгадать безмолвную
Ночи глубину:
Незначай покажется,
Что тебя, в тоске,
Кто-то звал по имени
Где-то вдалеке.
Но как только кинешься
Пособить-помочь,
Ледяным молчанием
Все покроет ночь.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Россия и действительность

Евгений Наклеушев

СНОВА ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК!

Позвольте мне начать эту статью фрагментом из моей статьи трехлетней давности («О необходимости третьего», «Новый американец», №86):

«В одном из периодов развития Евгения Онегина –

Уселся он – с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг оставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задёрнул траурной тафтой.

Около 1820 г., когда Онегин уселся за книги, русские едва начинали пробовать собственный голос в литературе, продолжая, в основном, подражать и учиться у Запада (на то же указывает описание библиотеки Онегина в главе седьмой романа). Значит, чужой ум, который без толку пытался присвоить себе Евгений, принадлежал Западу, и к западной литературе относится уничтожающая характеристика Пушкина.

Опрометчиво было бы приписывать Пушкину то, что лишь столетие спустя ясно и бескомпромиссно выразил Освальд Шпенглер: осознание глубинной исчерпанности творческой энергии западной культуры уже ко времени наполеоновских войн. Но что-то в этом роде Пушкин уже чувствовал – иначе откуда этот трагически-резкий образ *траурной занавеси, задернутой* рукой блестящего юноши над цветом современного ему литературного творчества.

Разумеется, далеко не все и в наше время согласны с тем, что думал Шпенглер и о чем догадывался Пушкин. Многие далеко еще не утратили энтузиазма по поводу, например, комплекса социально-политических идей, окончательно сложившихся на Западе не позднее XVIII века и устаревшего уже для Пушкина. Им представляется даже, что комплекс этот продолжает претерпевать бурное развитие (а по Пушкину – «старым бредит новизна») и, во всяком случае, имеет неограниченные перспективы претворения в социальную жизнь – вне зависимости от условий пространства, времени и национальной индивидуальности.

Что питает столь уютный оптимизм?..»

Отвечая на последний вопрос в цитированной и ряде последующих статей (последняя из них – «Каков путь России?», «Новый американец», №253), я стремился показать, что указанный оптимизм питаем отнюдь не фактами. Последствия применения западных социально-политических идей в огромном мире за пределами Запада были, как правило, катастрофичны.

Можно показать, привлекая представления общей теории систем, что эти катастрофы были закономерны. Системники делят системы на «жесткие» и «дискретные» (я предпочитаю говорить о системах «интегрированных» и «дифференцированных»). В первых из них «изменение одного элемента влечет за собой изменение в остальных частях системы». В системах второго типа, напротив, «отдельные элементы связаны между собой не прямо, а через посредство их отношений к среде. Иными словами, они являются независимыми единицами, образующими систему благодаря тому, что обладают рядом общих черт». Нетрудно догадаться, что наиболее «дискретными» (или дифференцированными) социально-политическими системами являются социумы западного типа. В XVII – XVIII веках на Западе была разработана программа радикальной «рационализации» местных социумов, т. е. их *конструктивного упрощения*, отталкивавшегося от идеи «равенства» людей друг другу. Так вот, предложенная Западом программа социально-политической рационализации была обречена на провал на подавляющей части земного шара, поскольку степень дифференцированности западных социумов уникальна. В интегрированных системах упрощение не способно быть конструктивным, так как только дифференцированные системы

«позволяют осуществлять комбинаторику и отбор» собственных элементов, тогда как системы интегрированные «легко дезорганизуются при выпадении даже одного звена». Когда, тем не менее, идея «социального равенства» была принята под давлением авторитета Запада в огромном большинстве стран современного мира, это привело местные социумы к *деструктивному переупрощению («деградации», или «примитивизации»)*, предельным выражением которого стали тоталитарные режимы. (Подробнее см. главы 4 и 4а моей книги «К единственному знанию».)

Это снова возвращает нас к вопросу: что же питает неукротимый оптимизм либералов-западников? Во-первых, конечно, успех Запада. На собственной его территории. Экономический, научный, социальный и пр. подъем Запада последних четырех столетий настолько впечатляющ, что понятия «культура» и «западная культура» стали почти синонимами. Правда, и тут имеются определенные «но». Антуан де Сент-Экзюпери, как будто отнюдь не антизападный злопыхатель, сказал: «Стоит услышать одну крестьянскую песню XV века, чтобы ощутить, как низко мы пали...» Как видно, не всё поддается рационализации даже и на Западе. Шпенглер полагает даже, что всё целое западной культуры приходит с началом XIX столетия к истощению своих жизненных потенций – и уступает место *цивилизации*, т. е. мертвой, бездушной сумме механически усвояемых знаний, навыков и умений, которой в принципе можно обучить и робота, и обезьяну.

Во-вторых, неотразимое обаяние для великого множества умов обнаруживает западный «рационализм». Последний есть не просто вера во всемогущество человеческого разума. «Разум», как понимает его рационализм, целиком тождествен своей формально-логической способности. Аристотель называл формальную логику «аналитикой» – расчленением – и в полном соответствии с духом этой дисциплины утверждал: «Правильно мыслить значит соединять соединимое и разъединять разъединимое». Рационализм, таким образом, убежден в том, что реальность организована чисто структурно и со смыслами можно играть, как с кубиками. Рационализм не желает серьезно принимать во внимание то, что в мире, наряду с конечной членимостью, существует и континуальный (непрерывный, или *бесконечно членимый*) аспект. Между тем, от Зенона Элейского, с его парадоксами о «невозможности» – с

точки зрения формально-аналитического рассмотрения – движения в непрерывном пространстве, и до современной теории множеств раз за разом демонстрировалось, что формальная логика, мягко говоря, не вполне компетентна при вступлении в область бесконечного. Более того, в мире существует еще и момент целостности (нечленимости, своего рода «точечности» объектов, с точки зрения структурной безусловно протяженных!), только недавно принятый во внимание общей теорией систем и чреватый собственными неисчерпаемыми парадоксами. И, того более, сами излюбленные рационализмом структуры обнаруживают, наряду с надежной пространственной статичностью, момент временной текучести, достигающей взаимного превращения противоположностей (точнее, *противонаправленностей* – неподвижно лежащие в пространстве «противоположности» ни к каким сюрпризам не были бы способны). Всё наиболее глубокое в греческой философии – и вся специфика индийской и китайской мысли, как и новой «неклассической» науки – протекает у «рационалиста» меж пальцев. Остающееся – до того узко, шизоидно-формально и оторвано от тропического изобилия реальности, что становится оскорбительно карикатурным в своей претензии на «разумность»!

Но это-то и привлекает к западному «рационализму» вечных юнцов, неспособных ориентироваться в неистощимой парадоксами жизни, «нескладных умников», которые были бы жалки сами себе, когда бы не возможность заменить подлинное отношение к жизни на формальную с нею игру по «разумным» якобы правилам.

В XVIII веке западный «рационализм» достиг пика самовыражения. Это было непревзойденное в своей механической операбельности мировоззрение. С ним рванулись вперед семимильными шагами прикладные науки и техника. Одновременно же не столь поддающаяся механизированию социальная мысль принялась выживать из ума – рождая резвых монстров. Философия торжественно объявила – у Канта – о самоликвидации посредством открытия «вещей в себе» и неразрешимости вопроса о бытии или небытии Бога. То была триумфальная катастрофа, ибо она высветила до дна основную строительную идею знаковой системы европейской культуры: закон исключенного третьего (см. Г. Померанц, «Неопубликованное», стр. 251). Дальше рваться было некуда и незачем.

Оставалось почивать на лаврах, отделявая второстепенные детали, в ожидании конца внутренне завершившейся культуры.

По иронии психологии культурного самоощущения, как раз такие эпохи культурного оцепенения кажутся самыми бурно развивающимися. Понадобился гениальный аутсайдер, сын чуждой Западу и только сбоку прилепившейся к нему культуры, которой вовсе не время было умирать, чтобы заметить и обеспокоиться остановкой навязанного ему культурного ритма: «И устарела старина, И старым бредит новизна». Никто на Западе не ощущал столь отчетливо «на всех различные вериги» (т. е. цепи). Для консерваторов здесь цепи стали «осознанной необходимостью» и, таким образом, – свободой! Свободолюбцам цепи казались чисто внешними – и вот-вот готовыми распасться, хотя распасться они могли теперь только с культурой. Как водится, платить за столь бодрые иллюзии предстояло в первую голову аутсайдерам. Дороже всех заплатила – и продолжает до сих пор платить – Россия.

Но что нам все эти унылые исторические частности, когда с XVIII века к услугам нашим ошеломительно простое, ясное (если дисциплинированно принимать его шоры) и веселое мировоззрение! И вот один заслуженный борец за права человека в СССР выпускает мемуар, просвещающий нас, сиволопых, в светлом духе упомянутого счастливого столетия.

В чем причина того, что наш век – второй по открытию высшей просвещенно-либеральной истины! – так неумно кровав? Наш ментор походя изъясняет причину уже на 2-й странице своего труда. Виноваты, оказывается, «инерция общественного сознания» и «именно попытки изменить это сознание быстро»! Позвольте, всего в 1868 г. Япония совершила поворот от самоизоляции к вестернизации, более радикальный, чем реформы Петра I и всех последовавших русских царей-вестернизаторов вместе взятых! Почему в таком случае Япония не превратилась в кровавейшую в мире баню, а ухитрилась вестернизироваться идиллическим, сравнительно с Россией, образом? В той одномерной системе социально-политических ценностей, что предлагает нам Чалидзе, ответ невозможен. (На мой взгляд, решающим фактором уникального успеха японской вестернизации послужила резко выраженная дифференцированность сословной системы традиционной Японии, оказавшаяся в высшей степени удобной для последо-

вавшей социальной рационализации. Подробнее см. главу 4а моей книги.) Я не спорю с Чалидзе относительно опасности слишком быстрых социально-политических преобразований. Существует, однако, на мой взгляд, кое-что поопаснее и слишком быстрого движения: движение с любой скоростью в *неподходящую* для социума сторону. Как истый социальный «рационалист», Чалидзе свято верует: «много тропок на свете, только правда одна» – взгляд, со всем пылом пропагандируемый, хотя и под другим идеологическим соусом, и советским тоталитаризмом. Я нахожу это убеждение фантазмагорически невежественным с точки зрения ныне накопленного знания о своеобразии великих локальных культур.

Панацеей к излечению всех российских бед является для некоторых наших правозащитников воспитание в массах и начальстве уважения к законности. Это говорится в эпоху, когда почтение к формальной законности стремительно снижается уже и в странах, еще недавно служивших ее бастионами. Когда от Италии до США популярнейшие киногерои берут суд и расправу над злом в собственные руки и им начинают уже подражать – при почти поголовном сочувствии публики – совсем не герои (дело Геца*). Утверждать, что представления упомянутых героев и негероев юридически абсурдны, значит ломиться в открытые ворота. Западная юриспруденция логически выверена в своих принципах почти в той же степени, как геометрия, и заслуживает той же степени почтения. Но, когда под ногами у нас проваливается при землетрясении земля, геометрия, при всей своей академической почтенности, теряет практический интерес. Как донести до «рационалистов» ту старинную мудрость, что истина – хотя бы с одного боку – должна быть *конкретна*?

«Вечные» истины – драгоценное достояние человечества, но они вечны только как отношения в абстрактных концептуальных пространствах, а на практике их приходится запирать иногда в сундук на долгие столетия, как случилось это в средневековой Европе с классическим римским правом. Если этого не делают, как не сделали в Византии, закон способен достичь высшей степени формального совершенства (кодекс Юстиниана), но его отношение к реальности приобретает

* Гец – человек, стрелявший в нью-йоркском метро по нападшим на него хулиганам. – Прим. ред.

отчетливый оттенок бреда. Законодатели времен Юстиниана со всей серьезностью обсуждали дилемму: как следовало бы поступить, если бы осуществление закона поставило бы угрозу само существование Вселенной? – и ответили со всей решительностью: «Да свершится закон, и да погибнет Вселенная!» «Вечные» истины права статичны, а история периодически демонстрирует – хотя и неизъяснимым для рационализма образом, – что она имеет место не только в пространстве, но даже и во времени, и не в том, удобном и безобидном, что Аристотель рекомендовал трактовать «по аналогии с пространством», но в том самом, что способно преобразовать наличное бытие в нечто, никогда ранее не бывавшее.

Более того, существуют обширные районы земного шара, где высокая культура и гуманное правосудие развивались вне всякой связи с формальным правом римского типа. И даже в сознательном *противоречии* с юридическим формализмом. В классическом Китае, с его уникальной по своей ясности и трезвости социальной мыслью, все школы права сошлись в том, что гуманность, милосердие и справедливость *несовместимы* с идеей кодифицированного закона – «фа», – и разошлись только в том, что следует предпочесть: гуманность закону или закон гуманности. Династия Цинь, попытавшаяся сделать ставку на кодифицированный закон, запятнала себя ужасающими преступлениями против культуры и человечности и оставалась проклятой в китайской традиции вплоть до эпохи Мао, «реабилитированного» родного ему по духу «прогрессиста» Цинь Ши-хуанди. Сменившая Цинь просвещенная династия Хань сделала официальной идеологией конфуцианство, резко враждебное идее кодификации закона, – и осталась в памяти китайцев, называющих себя с тех пор ханьцами, синонимом истинной культурности и гуманизма.

О мертвящем характере формального закона, о несовместимости его с духом русской культурной традиции заговорили в прошлом веке славянофилы, понятия не имевшие о борьбе китайских идеологических школ. И они были правы, так же, как и древние китайцы: в условиях *интегрированных* социальных систем (каковыми являются в большей или меньшей степени почти все социумы за пределами Запада) юридический формализм обречен идти рука об руку с тиранией и социальной деградацией (см. главу 4а моей книги «К единому знанию»). К счастью, в современных условиях формальная закон-

ность ассоциируется с западным о ней представлением. Это и очевидный комплекс неполноценности нашего изможденного непрестанными «велевыми решениями» начальства обусловили для него большие неудобства, когда в разгар детанского танго наши правозащитники развернули свое движение. Но что, если в один непрекрасный день наши власти укрепят нервы и прислушаются к советам г-на Чалидзе – зауважав закон на естественный для них циньский лад?

Совершенным воплощением «рационалистического» кредо является у вышеупомянутых правозащитников их решительное предпочтение реформы перед революцией. Действительно, почто огород городить, если в конечном счете все, к чему стремится прогрессивное человечество, есть явное обнаружение в обществе имманентных ему формально-логических отношений?! Неудивительно посему, что, как сообщает один из этих авторов, «консультироваться с властями по проблемам человеческих прав... действительно было нашей целью». Ему и его соратникам пытались возразить, что зло лежит в самой природе тоталитарной системы. Тщетно. В системе последовательного «рационализма» зло есть понятие запредельное, мифологическое и смехотворно наивное. Уже во времена злосчастного спора об отношении к новорожденному дарвинизму было открыто, что наука – это высшее воплощение «рационального» мировоззрения – *не способна формулировать оценочные суждения*. Да и как иначе – ведь оценки предполагают ориентацию на *цели*, «конечные причины», изгнанные из естествознания еще Галилеем вместе с телеологией и прочей вненаучной «мистикой» в этом роде. Оценки упираются, в конечном счете, в Господа Бога как единственное свое оправдание – а как прийти к Богу от статичного $A=A$?! Нет такого пути и быть не может – прав был премудрый Кант. Но от открытия несовместимости научности с искусством оценок пострадал, конечно, не авторитет науки – как можно! – а статус оценок. Последние, выпав из рамок научных приличий, стали для образованной публики париями.

«Я думаю, – снисходительно возражает упомянутый автор своим наивным оппонентам, – что эта точка зрения (что зло есть неизбежное следствие советской системы. – Е. Н.) указывает на неспособность тщательно продумать проблему. Ни одно общество не способно существовать без некоторого рода координации и регуляции, и законы, как бы ни были они несо-

вершенны, скверны и глупы, представляют собой один из типов такой регуляции. Законы существуют в Советском Союзе, и представляется разумным, что люди, желающие участвовать в делах своей страны, должны требовать от властей соблюдать изданные ими законы и должны критиковать скверные законы». Мне тоже представляется разумным, что, коль скоро находится возможность, люди должны и критиковать и требовать законности. Но от последнего суждения до установки верноподданно «консультироваться с властями по проблемам человеческих прав» – дистанция колоссальная. Я решительно не согласен, что «тщательное продумывание» автором проблемы делает хотя бы один шаг, чтобы покрыть эту дистанцию. Ибо я отвергаю главную аксиому, на которой покоится его рассуждение и которую автор даже не формулирует, настолько кажется она очевидной его «рационалистическому» рассудку. Эта аксиома: *любого* рода координация, регуляция и закон по *идее* своей конструктивны; *преднамеренное зло не существует* в природе человека.

Стоит принять эту радостную аксиому, и нам станет не о чем спорить, и мы вступим в бодрый и бравый мир, где все проблемы разрешимы просветительством и откуда, между прочим, придется выкинуть большую часть великой литературы всех времен и народов как бред буйных дикарей. Пусть простит меня читатель, но я не готов вступить в этот бравый мир. И думаю, что подавляющее большинство культурных людей на земле тоже не готовы. Не знаю, как это доказать людям, которые ухитрились не заметить этого сами, прожив большую часть своей жизни в СССР, – но *преднамеренное зло* очень даже *существует* и составляет главную идею СССР, как и любого другого тоталитарного режима. Я знал культурнейших и тишайших – без малейшей примеси фанатизма – русских интеллигентов, спокойно именовавших отечественных начальников *бесами*. Бердяев определил метафизическую сущность тоталитаризма как «предстояние дьяволу». Его антиподы, Ильф и Петров, люди всецело земного склада и героического юмора, окрестили отечество «страной непуганых идиотов». И тысячи популярных в стране политических анекдотов подтверждают эти пессимистические оценки природы правящего режима.

Я хотел бы также обратить читательское внимание на то, что деструктивные тенденции лежат в природе вещей, вклю-

чая социальные отношения. Замечательно, что физика (единственная, строго говоря, современная наука об объективной реальности; все прочие, как сказал кто-то из физиков, суть коллекционирование марок) сумела до сих пор обнаружить в природе только тенденцию к снижению порядка – закон возрастания энтропии – и ничего в противовес ему. Тоталитарные режимы воплощают собой тенденцию к социальной деградации (подробнее об этом см. мою книгу), и «диалог между правительством и обществом», отстаиваемый автором на протяжении целой отдельной главы – «Возможен ли диалог?» – и во всех остальных частях брошюры, возможен только в форме «диалога» между пожирателем и пожираемым.

«Интеллигенты часто характеризуют свой спор с режимом как борьбу между защитниками и противниками культуры, игнорируя тот факт, что система правления и взаимодействие между государством и обществом также являются частью культуры страны», – поучает нас далее все тот же автор. Верно, ну и что? Еще полуархаический мыслитель, Гераклит, открыл: «Добро и зло суть одно»! Что ничуть не помешало ему увидеть в «войне» – «отца всех вещей». Почему профессиональные «просветители» этого типа никогда не умеют проливать свой свет на противоречащие друг другу стороны вещей и явлений? Почему их мышление столь удручающе и безнадежно «последовательно» – в этом кричаще *разнонаправленном* мире? Да, биологическая вражда к культуре есть в известном смысле «часть русской культуры» – но только в том смысле и в той степени, в каких добро и зло, жизнь и смерть, Бог и бесы суть «одно». Нынче Россия поляризована как вряд ли любая другая страна в целом мире. Как справедливо утверждает президент Рейган, Россия нынче полюс мирового зла. Но по причине той же поляризации она есть и полюс мирового добра. И какой же неуклюжей шуткой звучит уверение, что страна обладает «стабильной политической структурой», которая «является национальным достоянием»! Если это и «стабильность», то непомерно перегретого, хотя и, надо признать, потрясающе прочно сделанного парового котла. Хорошенькое достояние! Сам Чалидзе констатирует на 2-й стр. своей работы, что «режим слишком силен и слишком неуверен в себе». Каким образом, схватив это кричащее противоречие советской действительности, ухитряется он не замечать, что

рациональная модель советской государственности ни в какие ворота не лезет?!

Автор начинает свой труд бородатым анекдотом об американце, который хотел перевезти из Англии садовника, особенно искусно подстригавшего траву на лужайке. «Поберегите деньги, – отвечал садовник. – Всё, что вам нужно делать, это регулярно подстригать траву в течение 300 лет, и у вас будет такая же лужайка». Автор находит этот анекдот «полезным для напоминания людям в нашем поспешном столетии о барьерах, которые ставит время». К сожалению, я лично не верю, что у нас есть не то что 300, но и 30 лет. Природа тоталитарного режима слишком разрушительна, и приходится опасаться, не слишком ли много уже досталось нашему народу житья в условиях этой «стабильной политической структуры». Многим, надо думать, известно, как катастрофически расцвел в стране алкоголизм, как выросла смертность во всех возрастах. Нравится это или нет радетелям «эволюции», в распоряжении нашего народа осталось совсем не долгое время.

Автор также стремится убедить нас, что эволюция, им пропагандируемая, происходит в стране начиная со смерти Сталина. Как он пишет, «нынче в Советском Союзе больше свободы мысли, чем 20 лет назад, больше свободы в личных отношениях и больше свободы для осторожной критики власти». Невозможно отрицать, что со смертью Сталина в стране действительно начали происходить весьма и весьма значительные изменения. Но подпадают ли они под категорию эволюции? Ведь государственная структура страны в принципе не изменилась ни на йоту. Что касается *свободы*, то ее ничуть не больше, чем в худшие годы сталинизма. Свобода есть независимость действия, *гарантируемая правовыми институтами*, – то, чего в СССР нет и в рамках тоталитарной системы не будет. Выросла – и очень существенно – ничем не гарантируемая *воля*, наподобие той, за которой бежали в дикую степь наши предки. Эта воля выросла потому, что тотальная несвобода, навязываемая стране правящим режимом, есть нечто, до того неестественное и не отвечающее чаяниям подавляющего большинства населения, что никакая «стабильная политическая структура» не способна эту несвободу удерживать. Необходим еще постоянный *героизм* начальства в злодействе. Беззаветный и всежертвенный – вспомним, сколько начальственных голов слетело в классическую эпоху режима при товари-

ще Сталине. Слава Богу, для такого героизма отечественное начальство слишком устало, износилось и перетрусилось. Это внушает, конечно, большие надежды на будущие структурные преобразования. Но никак не в рамках эволюции.

Кстати, о начальстве. Поражает – при всей своей характерности для такого мировидения – попытка реабилитировать умственные доблести нашего начальства. Когда-то все мы, грешные, думали, что советские вожди – дураки. Но иные авторы пришли теперь к выводу, что они не только сильны, но и умны! Как обосновывается это эпохальное открытие? Оказывается, дело в том, что «советская система есть искусно сконструированная крепость со многими линиями обороны...» и прочими достижениями стабилизирующе-пресековительной государственной механики. Воистину, как говаривал Эйнштейн, «теория определяет факты, которые мы можем видеть». Позавидуешь простодушным русским мужикам старого времени, которые, без всяких теоретических ухищрений и даже простой грамоты часто не знаячи, отлично умели, в отличие от многих наших образованных современников, понимать: «*Дурное дело – нехитрое*». Пресековительная – не конструктивная – по идее своей тоталитарная государственность есть именно *дурное дело*. Обращаясь к теории – я не знаю более глубокой теории тоталитарного государства, чем та, которую создал в IV веке до н. э. Шан Ян, китайский теоретик кодифицированного закона. В своей «Книге правителя области Шан» он пишет, обращаясь к своему государю: «Когда законы страны ясны, государю не надобны умные люди!» Более того, в такой стране надобность быть умным отпадает и для самого государя. Что только способствует всё новым блистательным победам такого государства: «Когда армия применят средства, которых противник устыдился бы, – она непременно окажется в выигрыше!» Какая голубая наивность отличает наших авторов от старинных русских мужиков и стародревнего Шан Яна. Ну, можно ли всерьез аргументировать, что товарищ Сталин был умный человек – потому что победил всех своих супротивников!

В отношении перспектив нашего отечества тот же автор неоднократно указывает нам на «абсолютную необходимость» освобождения «от веры в возможность совершенной социальной системы» и требует «умерить... мечты политическим реализмом»: «Мир утверждается посредством компромис-

сов и соглашений, и отстаивание моральных абсолютов и утопических идей только затрудняет практическую политику, способную привести к лучшей и более свободной жизни для советских граждан».

Задумывался ли когда-нибудь автор, почему «Realpolitik» – «реальная политика» – стала в нашем столетии синонимом политической трусости, близорукости и прочей чемберленовщины? Почему современные «реалисты» от политики умеют только отступать – и перед кем?! – перед тоталитаризмом, коему «не надобны умные люди». Не ирреален ли такой «реализм»? И таким ли реализмом следует «умерять мечты»?

Видимо, уместно здесь напомнить ту избитую истину, что реальность, извините, неисчерпаема. Отсюда следует, что нет и не может быть общественно значимой идеологии, отталкивающейся прямо от реальности, а не от той или иной ее исторически ограниченной модели. Одной из таких идеологий является так называемый «реализм» с его корнями в механицизме и рационализме XVII и XVIII столетий и неотъемлемым от него безбожием. Именно этот «реализм» заставляет некоторых «диссидентов» почтительно относиться к достижениям советской пресекновительной государственной механики и умственным доблестям сконструировавших эту механику вождей. Что служит одним из ярких свидетельств тому, насколько ныне «реализм» выжил из ума и оторвался от реальности.

Стремительное по историческим масштабам выживание из ума «реализма» связано, надо думать, с безбожием, лишаящим его всяких, кроме ближайшей выгоды, ориентиров, руля и ветрил. Ограниченность человека обрекает на конечность любую, даже пытающуюся ориентироваться на бесконечность Бога, идеологию. Но боговдохновенное мироощущение, по крайней мере, стыдится этой своей ограниченности, по крайней мере, пытается вырваться из нее, тогда как «реализм» самодовольно выпячивает ее вперед, как свое самое замечательное достижение.

Не считаться с реальностью невозможно, но именно благоговение перед ее бездонностью обуславливает у всех ее творческих преобразователей *благочестивое дерзновение*. Попробовал бы кто-нибудь предложить первым христианам политику «компромиссов и соглашений»! Или агитировать пуритан Кромвеля, что совершенное общество невозможно.

Умеренность рождается в культурах, исчерпавших меру собственного творческого дара, когда все дальнейшие реформаторские поползновения в сумме своей обречены становиться скорее разрушительными, чем созидательными. Вот когда становятся неопределимы компромиссы, ибо, как известно из механики, в правильной (т. е. уравновешенной) системе сил сумма векторов равна нулю!

До сих пор мы, русские, при всех бывших у нас в прошлом великих культурных достижениях, остаемся в политическом отношении почти первобытными варварами. Что, конечно, очень печально для данного дня. Но обнадеживает на замечательное будущее. Позвольте мне верить, что своеобразие нашей истории, необъятное разнообразие культурных влияний, которым мы подвергались, стоя на перекрестке всей Евразии, смелость нашего *религиозного реализма* не останутся втуне. И не навязывайте нам ваш давно исчерпавший себя западный восемнадцатый век!

Журнал «БЪДЕЩЕ»

**на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже**

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

**Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64**

**Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)**

Восточноевропейский диалог

Юзеф Мацкевич

ВИЛЬНО, 1940 – 1941

Два очерка. Перевел с польского Л. Шатунов

СНЕГ ПОКРЫВАЕТ ВИЛЬНО

Так получилось, что с самого начала я исходил из неверной предпосылки – а все потому, что не знал толком, что такое физический труд. Перебывал я к тому времени и дровосеком, и пни выкорчевывал, и канавы копал, и откосы дерном обкладывал... И везде было тяжело. При Советах легкой работы вообще не было: хитрость большевистской «сдельщины» в том и заключалась, чтобы на любой работе человек надрылся до седьмого пота. С непривычки и я к концу дня на ногах стоять не мог. Вот тогда-то и придумал я себе мечту – лошадь. Так я себе это воображал, что если купить лошадь с подводой, то она за меня работать будет, а я буду себе ехать на возу да посвистывать. Так, по крайней мере, утверждали люди, в этом деле мало сведущие. Знающие же люди только головами качали и причмокивали: «О-хо-хо, у возчика тоже работа несладкая...» Ну, и послушался я своих малоопытных советчиков. Ни малейшего представления они об извозе не имели, прохвосты! Загрузить и разгрузить подводу, выехать из лесу на ровное место, выбраться из глиняного карьера или каменоломни – этого одного хватало на восьмичасовой рабочий день, а тут еще приходилось долгими, долгими часами тащиться рядом с возом в тяжелых, изъеденных горячей пылью или покрытых пудовым слоем грязи сапогах.

Тащился я так, задумавшись, сбивал кнутом головки придорожного чертополоха, сгонял оводов с конского крупа, а зимой тем же кнутом полосы на снегу чертил. Чего-чего, а времени на размышления у меня тогда, в первый год Литовской Советской Социалистической Республики, было вдо-

воль. Из скольких водопоев пришлось тогда пить моему коню, со скольких мостов сплевывал я в воду, возле скольких мельниц, лесопилок, кирпичных заводов или сыроварен довелось мне слышать проклятья, рассуждения и неожиданные излишества!

Зимой с 1940 на 1941 год снег в Вильне валил не переставая, и ближе к весне случался и неплохой заработок: свозить снег с улиц на берег реки Вилейки. Конь мой тогда особо не перетруждался, зато я сам махал деревянной лопатой-совком с рассвета и дотемна. Как-то подрядился я чистить участок тротуара вдоль епископского дворца и здания бывшей воеводской управы, на Кафедральной площади – как раз между бывшей редакцией «Виленского курьера», где теперь была «Виленская правда», и бывшей редакцией «Слова», где теперь помещалось «Красное знамя». Так ездил я туда и обратно все утро, потом в полдень подвязал лошади мешок с овсом, а потом снова ездил, пока в ранние сумерки не зажгли в редакциях лампы.

И тут внезапно я осознал, насколько поспешно и необдуманно люди заявляют что-то вроде: «Да лучше всю жизнь подметать улицы в Европе, чем в Совдепии быть...» Вот уж что нет, то нет! Если уж мне суждено всю свою жизнь свозить мокрый снег с улиц, всю жизнь хлюпать сапогами в ручейках тающей грязи и навоза, если всю жизнь суждено мне томиться, чтобы поскорее настал вечер, но уж никак не утро, – то без всякого сомнения и колебания для такой жизни выбрал бы я – Советы!

Еще не зажглись уличные фонари, и из окна «Красного знамени» падает зеленоватый свет от абажура поперек сточной канавы, где крутится в водовороте одинокий спичечный коробок. Я ударил по нему кнутом. В этом месте улицу особенно размыло, и целый день мне приходится переезжать через глубокую яму – и конь мой каждый раз тужится, хоть подвода и не то чтобы очень тяжела. Остановимся: пусть и он передохнёт, и я соберусь с мыслями. Вовсе нет у меня намерения обижать моих братьев-возчиков, но в то же время не буду я лгать ни им, ни себе. Ведь что было бы, если б еще два года, год тому назад сидели за окнами мои братья-журналисты, строчили бы статьи, перешучивались, читали, а в это время, быть может, шли бы себе в какую-нибудь забегаловку – а я бы, и только я один, был пожизненно приговорен свозить снег из-под этих окон? Ну, и что бы тогда было? Разве не му-

чило бы меня чувство несправедливости, постоянно заставлявшее сравнивать их и мою собственную судьбу, разве три слова «на всю жизнь» не толкали бы меня к самоубийству? Действительно, Господи Боже, почему только мне выпала эта доля? За что?

А теперь и мыслей у меня таких нет и быть не может. Теперь я так думаю: вот уже последняя подвода, потом в конюшню, снять чересседельник, вытереть соломой потную конскую спину, задать сена, через час напоить, через пару дней деньги выплатят, съем чего-нибудь, а потом – спать. Почти без обиды, безо всякого там чувства несправедливости: ведь все же так живут.

– Ладно, ладно! – прервет меня какой-нибудь дотошный читатель. – Так вы же сами пишете, господин хороший, что, мол, сидят за окнами журналисты, читают, пишут что-то... Не все же свозят снег, навоз или деревья по лесам рубят...

Разумеется, все мое предыдущее сопоставление относилось лишь к моментальному фотоснимку одного-единственного мгновения. Разумеется, дело вовсе не в том, что кто-то пишет или высказывает из редакции «пропустить по рюмочке», даже не в величине зарплаты или квартирных условиях. Главное здесь – это монотонность и однообразие всей жизни, отсутствие перспектив и надежд на то, что завтрашний день что-то изменит, суженность горизонтов, ограниченность этой жизни и ее скука. Потому-то при советской власти доля водителя не так уж отличается от доли журналиста – обе они одинаково жалки и незавидны.

* * *

Завидовать можно чужому счастью, свободе, но не участи пса, который сидит на привязи и получает «положенный» ему кусок. Я разговаривал с сотнями большевиков в Польше, прибалтийских государствах, в Германии, и их впечатления при столкновении с новым, неизвестным им миром были самыми разнообразными. Но кто сказал, что любой из этих обездоленных людей должен при виде богатства и честно заработанного благосостояния сразу же разочаровываться в советской жизни? Да он скорее сплюнет сквозь зубы от зависти: «Ишь, как

живут, буржуи! Ну ничего, недолго им осталось – наши уж порядок наведут».

Мне думается, что притягательная сила коммунизма черпает свои соки из в высшей степени свойственного людям порока или, скажем, слабости: название ее, с трудом поддающееся переводу, по-немецки звучит так – Schadenfreude*. Во всеулышание люди заявляют: «Я хотел бы, чтобы мне было так же хорошо, как и другим». На деле же это высказывание выражает совсем другое, глубоко скрытое желание: «Чтобы всем было так же плохо, как и мне». Только вот люди редко или вообще никогда не признаются в своих тайных мыслях.

МЫ НАЧИНАЕМ ГНИТЬ

5 августа 1940 года в Вильно стояла жара. Утром я приехал в город по делам и после обеда должен был возвращаться к себе в деревню пригородным поездом. В душном воздухе неподвижно висели красные транспаранты. Почти в каждой витрине бросался в глаза портрет Сталина, уже несколько выцветший от солнца и усеянный следами мух. От мостовых веяло жаром, прохожие обливались потом. На привокзальную площадь, где уже стояла спрессованная людская масса, с прилегающих улиц продолжали стекаться колонны демонстрантов.

Нетрудно было догадаться, что маршировали все, до кого только мог дойти приказ о выходе на демонстрацию. Здесь были взрослые, были и дети. Как потом выяснилось, детей с утра продержали без обеда в школах, а затем отправили стоять под палящее солнце. Лениво колыхались красные знамена и транспаранты. Над пеленой пыли, взбиваемой шагающими колоннами, над душными испарениями людских тел плыли звуки «Интернационала».

Петля в толпе и с трудом протискиваясь в направлении станционного зала ожидания, я еще успел спросить у двух-трех прохожих на тротуаре о причине торжества. Никто ничего не знал. Всевозможные торжества, митинги и манифестации

* Schadenfreude – злорадство, злорадное предвкушение или смакование чужого несчастья. – Прим. пер.

организовывались теперь так часто, что люди перестали различать их.

– Кто идут, у тех и спрашивайте, – буркнул кто-то.

Рядом как раз маршировала делегация какой-то – судя по внешнему виду – ремесленной артели.

– Что происходит? – спросил я шепотом у степенного мастерового, который никак не мог попасть в ногу с идущей колонной.

– Важные вещи происходят, – ответил тот.

В зале ожидания царил неопишущая толчея. На перроне никого не выпускали. Поезда должны были отправиться позже. Надо было ждать. Многие пытались протолкнуться мимо билетера, но рядом с ним в дверях стоял красноармеец с длинной винтовкой. Винтовка заканчивалась четырехгранным штыком. Загораживавший проход контролер без выражения смотрел сквозь толпу. На нем была фуражка со звездой, козырек свисал ему на глаза... Сквозь морщины на лице проступали станционная грязь, скука и безразличие.

– Пан начальник! – взывала к нему какая-то женщина, повиленски растягивая слова. – Смилуйтесь, пане начальник, меня дети дома ждут.

– Нет тут никаких «панов», – буркнул в ответ железнодорожник.

Женщина отступила. Спросила шепотом у соседки:

– А как же его называть, чёрта лысого?

– Известное дело как: вы ему скажите – «товарищ».

– Това-а-рищ! – вновь запричитала тетка и вдруг почему-то прервала свои жалобы на полуслове.

– Нельзя сейчас. Чего вы пихаетесь? Эх, народ до чего неорганизованный!.. – воскликнул выросший в проходе офицер НКВД.

Вырвавшееся у него восклицание вовсе не было угрожающим, и он не подкрепил его ни ругательством, ни свирепым видом; в его голосе звучала скорее решительность и хорошо отретпетированная весомость. Но всё равно «неорганизованный народ» сразу же подался назад и начал напирать в направлении, полностью противоположном тому, куда он так рвался еще минуту назад. В толкотне у какой-то бабы раздавили пустую корзинку. Она зашипела, но громко крикнуть не осмелилась. Взгляды всех присутствующих, выразившие угодливый страх, были направлены на вооруженного представителя

легендарных «органов». В углу возле двери тихо скулил ребенок. Рядом, прямо на цементном полу, устроились несколько лесорубов, разложив свою скромную снедь среди пил, топоров, плевков и окурков. «Неорганизованный народ»: бабы, дети, рабочие, обленившиеся интеллигенты, – который в столь возвышенный момент посмел отстаивать свои индивидуальные интересы, ехать куда-то по индивидуальным билетам, был загнан в этот душный зал ожидания и временно заперт на замок, чтобы не мешать «организованному народу» демонстрировать на привокзальной площади...

Я наконец узнал, что демонстрация происходит в честь литовских делегатов, которые привезли из Москвы торжественное согласие Верховного Совета СССР на вступление Литвы в союз свободных народов. За окнами заиграла музыка.

Огромные вокзальные окна, долгими годами день и ночь вглядывающиеся в город близ подъездных путей, от времени покрываются бельмами пыли. К тому же, паук с наружной стороны растянул свою паутину, и я смотрел сквозь нее, как сквозь тюремную решетку, на эту самую подлую демонстрацию, на какую способна людская масса: безвольное стадо кричало здравицы в честь утраты свободы, в честь привезенного ярма, изображая радость. Оправданием было то обстоятельство, что значительное большинство вообще не знало, по какому поводу демонстрация. Зато совершенно уверенно и убежденно оно знало, что пошло на эту демонстрацию и пойдет на любую следующую, что не откажется участвовать – покорно и безвольно – во всем, чего от «трудолюбивых масс» потребуют в будущем. Хотя бы за то, чтобы считаться принадлежащими к этим «массам»: иначе грозит потеря работы, преследования, тюрьма, голод, ворота НКВД. Подлый страх за рубль в кармане, за собственную шкуру, за молоко для ребенка, за право глядеть на свой двор, страх – самое низкое из человеческих чувств – служил триумфальной аркой для делегатов, возвращающихся из Москвы: аркой, украшенной красными флагами.

Маршевым шагом вошел почетный караул литовской армии. Здоровые, сильные мужики в стальных шлемах, с винтовками, из которых с 15 июня 1940 года не раздавался ни один залп протеста, ни один – в защиту их отечества.

Офицер вынул саблю из ножен. Удлиненная сталь славно блеснула на солнце. Но не затем, чтобы рубить врагов, как

присягал офицер перед Богом. Сейчас смешные лозунги «Бог и Отечество», скрипя сапогами, топчет весь народ, шествующий в шеренгах коммунистической демонстрации. И офицер дает клинком сигнал, и почетный караул берет оружие наизготовку перед нисхождением свободы – в могилу. Загремел советский гимн. Литовские делегаты выходят из здания вокзала.

Сквозь тонюсенькую решетку запыленной паутины я вижу лимузин, который, сияя на солнце лакированной поверхностью, делает круг по площади и подъезжает почти под окно. В нем прибыли представители местной печати. В числе других из лимузина вылезает мой хороший знакомый, поляк, бывший крупный чин виленского железнодорожного управления, ныне – представитель польско-коммунистической «Виленской правды». Он таков же, как и раньше, когда расхаживал по этому же вокзалу, как по собственному подворью, толстомордый, размашистый. Он любил выпить у буфетной стойки, поболтать с дежурным полицейским, похвалиться связями в высшей чиновничьей иерархии, польским патриотизмом, набожностью, даже антисемитизмом. Двадцать лет верной службы в польском государственном учреждении и два месяца – в большевистской газете. Да, это он. В брюках-гольф, с бородкой, уверенный в себе и... с огромной красной кокардой в петлице. Помню, еще меньше года назад... ах, да чего там, всё глупости.

Глаза у меня сухие, и горло пересохло.

Я действительно знал его очень давно. Знал и его жену – такая довольно милая, гостеприимная мешаночка, без претензий и очень набожная. Однажды, помню, у нас в деревне разгулялась гроза. Молния ударила в сосну, другая расщепила старую яблоню. Кругом было темным-темно. И тут она доверчиво вынула из молитвенника бумажные иконки и выставила на окна, а сама спокойно стала на колени. Гроза кончилась.

Ее мечтой был Рим. За год до войны из малых сбережений польского чиновника можно было скопить капиталец, достаточный для участия в паломничестве в Рим. Она поехала. Вернувшись, слишком многословно и подробно описывала мельчайшие детали. То ее, упавшую в обморок в соборе Св. Петра, поднимал папский гвардеец, то снова о Папе...

В большевистские времена она стала *управдомом*. Поругалась с одним жильцом-евреем и кричала: «Как вы смеете,

товарищ! Я, старая коммунистка!..» – и прижимала сжатые кулаки к своей мягкой, слегка уже увядшей груди.

* * *

Рабочие, бившие щебенку на шоссе у нашего дома, утешали меня:

- Еще будете писать, пан.
- Когда Польша вернется.
- Когда большевиков черти унесут.

На тот день во дворе находившейся неподалеку народной школы был назначен предвыборный митинг. Эти «первые свободные выборы» проходили таким образом, что никто не знал, кто такие кандидаты и откуда они взялись в наших краях. Но абсолютно никто этим и не интересовался, не задавал вопросов и – уж конечно – не протестовал. То, что всё – от кандидатов до содержания их речей и резолюций «трудящихся масс» – навязано свыше, воспринималось как нечто ясное и в высшей степени нормальное. Будет написано в газетах и на оклеивших все улицы плакатах, что выборы – «самые свободные в мире» и что «впервые в истории страны они отразят подлинную, не фальсифицированную волю трудового народа». Но и это одновременно умудрялись считать совершенно нормальным.

Почему?

А чёрт его знает, почему!

Мы пошли вместе. Впереди меня шел каменщик с багровым лицом пропойцы. Он хромал на одну ногу, но тем энергичней размахивал левой рукой, неведомо для чего растопыривая пятерню. Дорога шла через сосновую рощу. Его растегнутая, небрежно выпущенная блуза раздувалась на ветру, заслоняя мне вид. Сзади молча шли остальные рабочие, и к ним-то были обращены выкрики хромого, шедшего не оборачиваясь:

– Я им дам выборы, такую их мать, тудыть их в качель! Они, видите ли, думают, что могут рабочим голову морочить! Погодите, ребята, мы им еще покажем.

– Заткнулся бы ты лучше, Антось, – промолвил кто-то и равнодушно плюнул в вереск.

Но хромой утих только с приближением к школе. На школьном крыльце уже висел красный флаг. Под ним торчали двое литовских полицейских, еще в старых, «буржуазных» мундирах, но без погон. Знак Погони* заменила звезда на фуражках. Ниже на ступеньках стоял оратор, никому в этих местах не известный. Перед калиткой стоял серый лимузин, сквозь окошко была видна молодая девушка. Глядясь в шоферское зеркальце, она подкрашивала губы.

Оратор говорил долго и монотонно, его слушали, позевывая в молчаливом согласии. Избитые, истертые, до невозможного банальные лозунговые фразы падали равномерно, как капель. Было, к тому же, известно, что агитатор устал, что он уже отмолотил сегодня дюжину таких же митингов и везде говорил одно и то же, с теми же интонациями и с той же самой жестикуляцией. Толпа стояла или сидела на травке, не проявляя никакого интереса. Даже заявление о том, что «голосовать – гражданский долг» и что в документах будут ставиться штампы о голосовании, даже эта угроза не была новостью – о ней знали заранее.

Я сидел на траве посреди двора, когда оратор, заканчивая речь, крикнул: «Да здравствует Советская Республика! Да здравствует отец и учитель трудящихся, наш родной и любимый вождь, гениальный товарищ Сталин!»

– Да здравствует! – первым закричал хромой каменщик и, широко размахивая рукой в блузе нараспашку, снова заслонил мне вид, как там, в роще.

– Да здравствует! – заорали со всех сторон.

Полицейские стояли по стойке смирно. Все сорвались с мест. Я один остался сидеть, как сидел, на траве посреди двора – словно придушенный червь между топчущихся ног и воздымающихся рук. В конце концов я встал, плюнул и потащился к дому. Вскоре меня догнали возвращавшиеся с митинга рабочие.

Они шли молча, словно пережевывая что-то невкусное, что-то, что – как они чувствовали – нелегко будет переварить. На повороте нас обогнал автомобиль – тяжело буксуя, он прокладывал себе по песку дорогу на следующий митинг. Из окна высунулась та самая девушка – в ее худой руке, торчавшей из рукава красной блузки, развевался такой же крас-

* Литовский национальный герб. – Прим. пер.

ный шарф. Он помахивала рукой и улыбалась той стандартной, типовой, искусственной советской улыбкой, которая глядит с любой фотографии, улыбкой, о которой полосы советских газет, что ни день выплевываемые печатными станками, твердят, что она расцвела на устах как радостный привет свободе и счастью. Липкая, фальшивая, гадкая улыбка исподличавшейся человеческой маски.

И снова хромой – первым, а за ним еще некоторые подняли руки и приветливо помахали. И тут же, обернувшись, хромой сказал спокойно, деловито цедя бранные слова:

– А пошла она к ё... матери! б... красная!

– У, жидовка пархатая, – пробормотал вполголоса другомой.

– Может, и не жидовка, а просто побл... .

Нам оставался еще кусок дороги – песчаной, ухабистой, под гору. Слева, высоко над соснами, припекало солнце. Далеко-далеко таяло в зелени облако пыли за машиной.

– В такси, мать их так, разъезжают. Коммунисты, мать их... – прохрипел хромой, которому было тяжело идти.

Я не выдержал:

– Так за каким бесом вы драли глотки «Да здравствует», если теперь клянете?

На мгновение наступила тишина, и только в предзакатном зное жужжали осенние мухи.

– Ну... а как же иначе?... – ответил каменщик и повернул ко мне свое набрякшее лицо, на котором рисовалось искреннее удивление.

Запад – Восток

Гейтер С т ю а р т

«ДОСТОПОЧТЕННОЕ СЕМЕЙСТВО»

Профиль итальянской мафии

ЭБОЛИ

«Христос не остановился в Эболи», – сказал Папа Иоанн-Павел в октябре в скиту Св. Франциска Паола, что в горах над городком Паола на западном берегу Калабрии. Этими словами Папа Римский как бы заверил бедных жителей южной Италии в том, что Христос все-таки посетил эти края, лежащие за Эболи, и люди не должны чувствовать богооставленности... Большинство сельского населения южной Италии, позабытого-позаброшенного современным обществом, едва ли согласилось бы с Папой, даже если бы смогло понять, что он имел в виду.

– Что делает Комитет по безработице? – спросил я человека, стоявшего у входа в крохотную контору на главной улице Эболи. «А ничего: мы безработные, – иронически ответил он. – Все ничего».

Громкоговоритель с проходящей машины призывал всех лавочников Эболи присоединиться к всеобщей забастовке торговцев против законопроекта о повышении налога на лавки: «Закрывайтесь завтра, если не хотите закрыться навсегда!» Пожилая женщина в черном шла по улице с полным ящиком пива на голове.

Карло Леви в своей книге «Христос остановился в Эболи» хотел сказать, что Эболи, чуть южнее Неаполя, от века был краем света, что Христос не добрался до горных деревушек Лукании, воротами в которые и был этот самый Эболи. Современные реалисты, наблюдая итальянский «Меццоджорно», «Средний юг», склонны соглашаться с Леви. Циники же вообще сомневаются, добрался ли Он когда-либо до Меццоджорно и вообще был ли когда-нибудь хоть поблизости от

Италии? Другие, как один священник с юга несколько лет тому назад в диспуте, организованном римским книготорговым центром «Паэзи Нуови», ставят вопрос о том, где вообще странствовал Христос. Священник утверждал, что никогда Он не бывал так далеко от Иерусалима.

Согласно Леви, крестьяне Лукании, живущие в этой дикой местности, относятся ко второй, сельской Италии, которая отрезана непроходимой пропастью от Италии европейской. Для них не существует государства. А если оно и есть, то это столь же неизбежный и абстрактный предмет, как разум или религия... Их мир – дохристианский, догосударственный, некая языческая культура, в которой всё имеет двойную природу. И ни Христос, ни человек с этим ничего не сделают.

Никто сюда не придет, кроме завоевателей, уже не раз побывавших тут. Лукания затеряна в мире, заброшена... Для этих итальянских крестьян, описанных у Леви, Христос – синоним Человека, который никогда и ничего для них не сделал... Эболи все еще на краю Европы, как и вся южная Италия.

Не много больших машин проезжает по площади Республики в Эболи. Как и по иным улицам Палермо или Неаполя. Ни модных ресторанов, ни разодетых женщин. Очень мало мужчин. Толпа в соборе состоит из старух и детей, как в России... Крестьяне одеты в черное. Говорят по-старинному: вместо современного «леи» (Вы) давно забытое, почти латинское «вои». На 31 тысячу населения 5 тысяч безработных.

Италия четко разделена на север и юг, хотя определить, где пролегает линия раздела, невозможно. Миланцы и флорентийцы говорят, что Рим – уже почти Африка. Но римляне знают, что начинается она в Неаполе. Однако, где бы эта линия ни проходила, Эболи недалеко от самого крайнего юга. Точка, с которой начинается путешествие по миру южного отношения к жизни, породившего мафию. Эболи глядит на широкую равнину у моря – равнину, где сельское хозяйство процветало еще 2500 лет тому назад; на Великую Грецию, на ее большие города, на храмы Пестума... А за спиной у нее, к северу, тянутся с востока на запад Пичентинские хребты, отрезающие южную Италию от северной. Экспресс «Пелоритано» (из Рима в Палермо и Сиракузы) – символ разделения двух миров Италии. Все вагоны его – первый класс, с кондиционированным воздухом, с обязательной резервацией мест

заранее, – набиты землевладельцами, бизнесменами, чиновниками, любопытными наивными «континенталами», как сицилийцы презрительно называют всех остальных итальянцев, которые «просто обожают Сицилию», ее фантастические отели, роскошные рестораны... Посасывая кампари, они бросят любопытные взгляды через окна вагонов на Луканию и Калабрию.

Когда в Салерно вы пересаживаетесь на местный «подкидыш», который волочет вас в Эболи 27 километров вглубь от побережья, вы уже в ином мире. Исчезает континентальная Италия, вы – в «Меццоджорно». Мрачный и безнадежный мир. Вам кажется, что вы вот-вот ухватите суть его проблем: нищета! Но вдруг здесь, на этой самой площади Республики, в шесть вечера – пробки. Вас оглядывают и разглядывают крепостяне. Все в черном... Таинственная Италия!

Пять тысяч безработных – как-то незаметны. Тут один лозунг: «Арранджиарзи!» («Все образуется!»). Работают налево и тут, и там, «по-черному», и без каких-либо социальных гарантий, за плату много ниже узаконенной. Эта психология смирения позволяет мафии в Неаполе и дальше по всему югу не беспокоиться: резервуар дешевой рабочей силы неисчерпаем. Государственное бюро учета безработных на площади Республики кажется заброшенным, даже окна выбиты. Служащий объяснил мне, что на редкие места, которые может предложить бюро, людей берут «по рекомендации» и за взятку. Политикан, который добывает кому-либо работу, становится затем его патроном, кредитором на всю жизнь. В этом и суть системы политического патронажа по всему югу.

Некоторые лавочки в Эболи платят «протекционные» Каморре, банды которой нападают от случая к случаю, но край этот бедный, и добраться в Эболи, чтобы кого-нибудь ограбить, – бензин обойдется дороже. Во всяком случае, когда оба банка в городке были ограблены, немногие считали, что это работа Каморры, большинство грешило на местных «десперадос» (буквально «отчаявшиеся» – непрофессиональные грабители). Во всяком случае, места эти – не район действия мафии.

В стране, где простые горные деревушки, и те стараются быть привлекательными и живописными, Эболи безобразен. Старый исторический центр на холме, над равниной, тянущейся в направлении Пестума, был интересен, но он давно

разрушен. Просто искрошился. Кое-что залатано слоями кирпичей и цемента, безвкусные двери или воротца присобачены к старым развалинам. Однако новый городок внизу куда хуже: дешевка современных построек, неуклюже расползшихся, аляповатых, хаотически раскиданных.

И тут нет работы. Луканийские деревушки прогресс обошел стороной. В истории Эболи ничего не происходило, Христос прошел мимо. Современная Италия – тоже. «Аэро-Италия» собиралась тут построить авиационный завод в 1960-м, «Фиат» нацеливался в 70-х, в 1981-м – «Альфа-Ромео-Ниссан»... Все эти планы испарились.

Обиды южан за обойденность своего Меццоджорно ведут начало со времен Гарибальди и объединения страны. В Эболи Гарибальди – не герой. Тут говорят: «Некогда юг был богатейшей частью Италии, но Север нас разорил, северяне эксплуатируют нас, они всегда крали и крадут наши богатства и наши таланты». Результат этой эксплуатации – бунт против ненавистного государства. Бандитизм в Сицилии, Сардинии и Калабрии – вот форма этого протеста. Бандитизм – единственное героическое явление, которое когда-либо знала Лукания. В 74-м жители Эболи восстали, когда «Фиат» решил не строить тут завода, но это, кажется, единственный случай массового протеста в этих краях. Италия никогда не знала крестьянских бунтов именно потому, что она так безнадежно разделена на два мира.

Местные представители соцпартии и ее профсоюза (УЛИ) говорят: «Мы не нуждаемся ни в „Фиате“, ни в „Альфа-Ромео“, ни в „Аэро-Италии“. Нам необходима только крупная компания по сбыту нашей сельскохозяйственной продукции. Вся Кампанья (Неаполь, Салерно, полуостров Амальфи, Селе и др.) могут прекрасно прожить на туризме и сельском хозяйстве. И мы снова станем богатыми». При этом постоянно делается упор на то, что местные жители никогда не будут фермерами, что они *крестьяне*. Это понятие – «контадино» – одно из основных во всей южной Италии, не только в Лукании.

Почему же в сельское хозяйство не текут капиталовложения? «Политические лидеры препятствуют». Не удивительно, что тут не любят Чириаоди Митту, политического деятеля из соседнего Авеллино, руководителя местных христианских демократов. Крестьянам противостоит в равной степени и мафия, именуемая тут Каморра. Но тот факт, что здесь нет

почвы для разрастания организованной преступности, создает некоторую стабильность жизни. Нищета, подозрительное отношение государства, какая-то беспомощность действительно делают местное общество выброшенным из современного мира. В силу этого старинные сицилийские обычаи взаимопомощи, на которых веками держалось общество, развились в мафию. Это – состояние умов. Это – образ мысли и образ жизни одновременно. И хотя мафии тут и делать-то нечего, она существует. Как? Где для нее почва? В чем же это особое умонастроение, каково оно?

За равниной на юго-западе, за вторым хребтом, на берегу лежит Чилленто. Это граница Калабрии. Я однажды провел отпуск в этом месте, в одиноком крестьянском доме на холме около Сапри. Там я столкнулся с типичным для мафии состоянием умов, только на низком уровне, но вполне в сицилийском стиле. Деревню контролировал, полностью подчинив себе, никем не избранный мафиозо, отстроивший свою строгую, как положено, иерархию. Стиль этот элементарен: например, невероятная манера разговора, цветистого даже в самой простой бытовой ситуации. Вы просите стакан воды в баре или хотите узнать, как пройти туда-то или туда-то, а ваш собеседник начинает в длинных и немислимо закрученных выражениях распинаться в своем к вам величайшем уважении, давая понять в то же время, что делает вам величайшую услугу и, кто знает, может, он как-нибудь попросит вас о чем-нибудь, и вы тоже окажете ему услугу...

Владелец дома, живущий в Риме, сказал мне, чтобы я попросил хозяина местного бара включить водопровод в доме. День прошел – воды нет. Я снова явился в бар, напомнил. Вода опять не идет. Отчаявшись, я спросил совета у бармена. Он послал меня к парикмахеру. Тот объяснил мне, что эта «операция» будет мне стоить некоторой суммы денег. Сторговались на 20 тысячах лир (около десяти долларов). Не успел я войти в дом, как из крана потекла холодная, свежая вода.

В этой «второй» Италии и родился феномен, взбаламутивший весь мир: мафия. В разных частях полуострова она носит разные имена. В Неаполе – Каморра. В Калабрии – Ндрангетта (греческое слово, означающее превосходство). В Сицилии – Мафия. Имена разные, деятельность одна и та же.

Это всё мафия. Организованная преступность, в основе – желание овладеть богатством и властью.

«Центр мафии – Сицилия,» – сказал ведущий итальянский специалист по этим вопросам Пино Арлакки, профессор социологии Калабрийского университета. Это противоречит принятому недавно мнению, что реальный центр ее переместился в северную Италию или даже в США. Арлакки – один из самых серьезных в мире экспертов по мафии. В настоящее время он – главный советник парламентской комиссии по борьбе с мафией, консультант ООН, автор множества книг и статей. Ведет регулярные семинары на эту же тему. Я встретился с ним в Козенце, в самом сердце Калабрии. «Без связи с сицилийской мафией всемогущая мафия просто не может существовать. Сицилийскую мафию нельзя расценивать как простое ответвление американской «Каза Ностра». Так считали многие американские практики, специалисты по борьбе с мафией, но американские социологи им возражали. Вот вам одна из наших трудностей: противоречие между построениями нашими и полицейскими».

Я попросил профессора Арлакки сформулировать, что он считает главным в мафиозной ментальности. Вот его выводы:

«Мафиозная ментальность прежде всего лишена какого-либо подобия понятия о равенстве. Это образ мышления человека на войне. Сознание, которое не может существовать в современной западной культуре. Архаическое и анархическое. Если бы вы читали „Илиаду“, например, не учитывая героического тона Гомера, то вы могли бы обнаружить много общего между сознанием ахейских воинов и современных мафиози. Для них всё – история насилия и истребления. Мир мафиозо – господство силы в чистом виде. Однако оно существует не в изолированном, собственном мире, а в реальном, в котором многие явления вполне сходны с теми, какие обычны для мира мафии. Например, в международных отношениях, которые в конечном счете тоже построены на силе. Власть мафии – один из видов *догосударственной* власти. Согласно этому образу мышления, каждый имеет *право* употребить силу. Если этого не учитывать, то понять что-либо в сущности мафии невозможно. Возьмите хоть классическую, традиционную, хоть нынешнюю мафию, насилие – основное в психологии как той, так и другой.

В наше время есть и бизнесмены от мафии. Выглядят они как обычные бизнесмены, но на самом деле – они совсем иные. Насилие – главное в их натуре. Архаическая, анархическая, дикая натура. Если мафиозо-бизнесмен пользуется современными рациональными средствами экономического воздействия, ведет себя как нормальный менеджер или капиталист, то его другая сторона, иррациональная, все равно присутствует, никогда не исчезая».

– Я сказал бы, – неожиданно добавил профессор Арлаки, – что, если бы мафиозо мыслил рационалистически, он должен был бы уничтожить сам себя. Современная мафия – саморазрушающаяся. Доказательство тому – настоящие войны внутри мафии в Палермо в последние годы. С того времени, как мафия прибрала к рукам европейскую торговлю наркотиками, отняв этот бизнес у марсельского клана вместе с невероятными богатствами, многие из его членов перекочевали в легальный мир. Богатый мафиозо теоретически мог бы убраться в Женеву или еще куда-нибудь и стать вполне легальным, спастись... Но он не может этого сделать. Он не в силах внутренне отказаться от своей культуры – насилия как такового. На это он не способен. Нормальный бизнесмен приходит к согласию с законами рынка, идет на компромиссы, вынужден признать разделение рынка на разные зоны влияния – а мафиозо никогда на это не пойдет. Они уничтожают друг друга физически, борясь за монополию. Многие нувориши из Палермо, накопившие огромные капиталы в последние годы, гибнут в конце концов. Семья Инцерилло, например, погибла почти вся: конкуренты перебили... Они не способны на саморегулирование. Вот почему я называю их архаическими и примитивными элементами.

ОСЬ ПРЕСТУПНОСТИ «СЕВЕР – ЮГ»

Двигаясь на юг полуострова, вы сталкиваетесь с убеждением, что север всегда эксплуатировал южан, а они всегда противостояли северянам. Как говорят на юге, «нас всегда эксплуатировали, но никогда не пытались понять». Государственная власть по традиции тут очень слаба. Тут, в Меццоджорно, полиция, муниципалитеты, здравый смысл, религия, политическая или экономическая стабильность мало что значат.

Важнее всего уметь помочь самому себе. И так на всем юге. Вы можете встретить мафию в Неаполе, в части Калабрии, в западной Сицилии, но Эболи, в 30 км от Неаполя, никогда мафии не знал. Нет мафии и в Козенце, в глубине калабрийских гор. Некоторые места в Сицилии, Сиракузы например, тоже свободны от мафии. Так что же определяет места, зараженные мафией? Что между ними общего? Какие нужны социально-экономические и культурные условия для расцвета этого явления?

Арлакки объясняет: «Некоторые связывают появление мафии с нищетой или слаборазвитостью, другие считают, что она не могла бы сложиться в строгую структуру, будь условия жизни лучше... Историки ищут ее корни в феодальном наследстве. Другие связывают мафию с ростом капитализма в северной Италии. Но большинство изучавших этот вопрос видят основы мафии в крестьянском быте южной Италии.

Я попытался проследить развитие мафии, чтобы что-то объяснить. Общества, в которых мафия присутствует, отмечены определенными социально-экономическими чертами: главную роль среди них играет рынок. Это интенсивный горизонтальный конфликт: личности и группы борются за господство на этом рынке. Слабость или даже полное отсутствие централизованного регулирования социальных и экономических отношений, а также отсутствие государственного контроля над применением силы. Проще – слабость полиции».

Соревнование в борьбе за рынок создает нестабильность, стимулирует стратификацию социальных позиций – необходимое условие для деятельности мафии. Столкновения мафиози между собой обусловлены той же борьбой за рынок. Это кровавые истории, но они и есть обычный вид арбитража. Правда, арбитром может быть сильнейший, и только он. Отсутствие государственной власти создает вакуум, заполняемый наиболее активными и мощными группами мафии.

Далеко не все общины южной Италии создают условия для развития мафии: Эболи слишком нищее место; горная страна вокруг Козенцы, где люди много работают, слишком стабильна, с крепкими традициями. Но в Неаполе или в Джойя Тауро, в 40 км от Козенцы, и во всей западной Сицилии царят самые жуткие организации мафии.

Территории, приносящие прибыль, непостоянны, они должны соответствовать трем условиям: достаточно мощные

группы, борющиеся за рынок; социальные конфликты, порождаемые рынком, всегда горизонтальны, и соревнование поэтому особенно жестокое; отсутствует централизованная координация социально-экономических отношений. Государство не властно прекратить насилие. Вот тут-то мафия и начинает естественно развиваться, обогащаясь по праву сильного.

НЕАПОЛЬ – СЕВЕРНАЯ ВЕТВЬ

Дон Чезаре Феличе мягко усмехнулся, заказывая вторую чашку «кафе ристреттиссимо», и сказал: «Вы шутите: это не Каморра. Только преступления и правонарушения... Я человек уважаемый. Людям часто помогаю, даже деньгами...» У Дона Чезаре контора по уборке помещений. Он чистит все лавочки в своем округе. Грязные или не грязные, одинаково.

Хозяева магазинов видят его людей только в конце месяца, в день и час инкассации. Бомбы взрываются только в грязных лавочках. В тех, которые не приглашают его уборщиков. «Можете мне поверить, – говорит он, – ужас, до чего они замусоривают свои лавки!»

Поезд «Пелоритано» почему-то останавливается на обоих вокзалах Неаполя – и на Мергеллине, и на Гарибальди. Северяне и вообще «континенталы» имеют достаточно времени, чтобы зарегистрировать законную и незаконную коммерцию, которая отличает Неаполь от прочей южной Италии, а может, и от всей Европы. Это видно просто на улицах. Хаос превращает Неаполь в Дальний Запад. Страх – обычная составная часть быта пяти миллионов человек. Здесь носильщик, который несет товар северян с поезда, платит Каморре по 500 лир за каждый перенесенный им мешок.

Неаполитанский бизнесмен рассказывал мне, что любая лавка на главной улице платит Каморре 5 тысяч за каждую пару шелковых трусов, 2 тысячи – за каждый проданный галстук. Сторож автостоянки платит по тысяче за каждую машину, остановившуюся у него. Женщины и дети, сборщики фруктов, отдают Каморре четверть заработка. Контрабандные сигареты «Мальборо» – символ Неаполя, так же, как «Фиат» – символ Турина. В здешней чудовищно разросшейся левой экономике ссуды ростовщического характера достигли потолка: риск приносит даже мелкому бизнесмену около 120 процентов прибыли.

Преступники нуждаются в добыче. В Эболи им нечего делать. Неаполь же представляет собой для мафии добычу просто гигантскую. Майор Валенци в прошлом году рассказывал мне ужасную историю: в Неаполе полмиллиона людей живет в бидонвилях, полмиллиона ищет работу, 300 тысяч существует на неполном рабочем дне, 100 тысяч стариков, 70 тысяч ремесленников, 60 тысяч контрабандистов, 7 тысяч уличных торговцев... Народ отчаявшийся, не ждущий ничего... Хотя «мерседесов» в Неаполе больше, чем в Милане! Меха, шампанское, поездки в горы на лыжные станции, Новый год на Капри... Богатый город накладывается на убожество.

Откуда доходы? От левой экономики. Не платящие налогов семейные предприятия – гаражи, производство мелких предметов необходимости: от плавок до транзисторов. Неаполитанцы – волшебники: в городе полтора миллиона автомобилей! Они богаты. Они все – добыча Каморры.

Воины Каморры видны сразу. По походке. И голубая точка поставлена у каждого в углу рта и на большом пальце правой руки. Каждый связан со своим шефом «пактом крови» и принес такую клятву: «Клянусь на лезвии этого окровавленного кинжала, что буду вечно принадлежать к этому реформированному обществу, отрекаюсь от матери, отца, сестер и братьев до седьмого колена». Это связь на жизнь и на смерть.

Надеяться им больше не на что и не на кого. А Неаполь им платит протекционный взнос. Платит аккуратно. Этот капитал идет на транспортировку кокаина по всей Италии и большей части Европы. Все это – территория Каморры.

Вот отрывки из дневника неаполитанского бизнесмена. Артуро Капассо восстановил по памяти для меня этот впечатляющий документ:

«18 февраля. Письмо от Каморры, посланное из магазина на Корсо Умберто с требованием 500 миллионов лир, с угрозой мне и моей семье и предупреждением не болтать!

20 февраля. Телефонный звонок: „Я ваш друг. Вы получили наше письмо. Приготовьте деньги“. Я отказался.

21 февраля – 24 марта. Частые звонки. Я их записываю на магнитофон. Все тот же голос, оскорбления, требование денег, угрозы, предупреждения.

25 марта. Мой кузен-партнер приехал домой в 2 часа. Только вышел из машины – два парня стреляют по ногам. В больнице на неделю.

28 марта. Полстраницы в газете, моя статья в сегодняшнем «Иль матино». Я сообщаю, что мне угрожают, что Каморра требует денег и что я отказываюсь платить. Моя статья – первый акт гражданского мужества в Неаполе. Прошу помощи у общественного мнения. Чувствую себя, как советский диссидент.

1 апреля. Рассказываю в деталях свое дело префекту.

23 апреля. Наш шестидесятилетний курьер остановлен молодым человеком, который поиграл у него перед носом пистолетом. Капассо должен заплатить, или мы вас уьем. Служащий перепуган. От меня зависят 60 человек. Закрыть торговлю – разорить и себя, и их всех.

4 мая, 5 часов 30 мин. Явно под действием наркотиков юнец пляшет перед магазином № 2 и методично стреляет по витринам. Потом убегает. Когда прибывают карабинеры, телефон начинает звонить. Тот же голос: „Эй, выродец, теперь ты понял? Придется тебе закрывать лавочки!“ Я зверею, он вопит снова: „Не повышай голос, а то приду и башку оторву“. Карабинеры предлагают все же закрыться на несколько дней. „Я не закроюсь! – говорю я им, – но вам придется нас охранять!“

5 мая. По два карабинера в штатском заперлись в каждом магазине. Я с пятью служащими начинаю тренироваться в стрельбе. Из участка сообщают о записанных звонках: тот же голос просит меня к телефону, он же звонит в другие магазины – список немалый: в 9. 30 – звонит в «Эсмеральду», в 9. 35 в «Капассо», в 9.40 к Перини...

10 мая. ...купили сегодня пистолеты, получили разрешение на оружие. У нас тут теперь настоящая крепость.

30 мая. Никаких вестей от Каморры. Знают, что мы готовы. Но я все же чувствую себя мишенью».

ПАЛЕРМО, САД ОМЕРТЫ

«Dum Romae consulitur... Saguntum expugnatur». («Рим еще только собирает военный совет, а Сагунто уже побежден».) На этот раз, правда, не Сагунто, а несчастный Палермо. Громовая речь первого, кто выступил против мафии, – архиепис-

копа Сальваторе Папальярдо, в соборе, на отпевании генерала Делла Кьеза, напоминает Томаса Беккета. Архиепископ совершает предательство, произнося неприличное, запретное слово «мафия». Он предал этим Сицилию. Его проповедь потрясает самый большой остров Средиземноморья и его мафию. Мафия отвечает отлучением еретика, симпатизирующий ей мэр Палермо Мартелуччи заявляет: «Мы не в Сагунто, и Палермо не побежден». Он – один из длинного ряда мэров, которые никогда не говорят э т о г о слова. Как в Эболи. Как в Сапри и в Неаполе. Это выдумка континенталов. Снова, и как всегда в этом мире, все беды выдуманы на континенте. Это о н и предали и распяли южную Италию.

В домашней конторе мафии фоторепортер Летиция Баталья. Полицейское радио передало сообщение: «Карabinieri стреляют». Я мчусь с фотографом на мощном мотоцикле. Прибываем на место раньше, чем большинство полицейских. Сцена из войны между группами мафии в Палермо:

Синий фиат «Ритмо» сворачивает на улицу Скобар и останавливается против нового жилого дома. Капитан Марио д'Алео, специалист по борьбе с мафией и комендант участка Монреале, выходит из машины. Четыре бандита окружают двадцатидевятилетнего капитана и двух его полицейских, еще не успевших вылезти. Пистолет направлен прямо в грудь капитана. Шесть пуль из «Магнума-357», потом из пистолета 38 калибра, потом автоматная очередь... Трое карабинеров лежат в луже крови. Убийцы укатывают на трех краденых машинах. Полиция, журналисты, фотографы. Потом прибывают детективы, судьи, политические деятели... Мэр Эльда Пуччи, босс партии Колоджанни... Приезжает архиепископ Монреале – отпевать убитых. Все бледные... Слабые возгласы, проклятия; полиция тербит в руках автоматы, отталкивает напирющую толпу. Полицейские кричат: «Ну а теперь-то чего вам надо? Вы никогда ничего не видели, не слышали, не знали!»... Черные катафалки из фильмов Копполы увозят окровавленные тела в грубых деревянных ящиках...

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МАФИИ

Неаполитанский писатель Лукиано де Крешенцо описал «зам-пом-консьержа», который говорил: «Я и консьерж тут и

не консьерж», – и всегда выражался в такой двусмысленной манере, по-южному слабо представляя себе определенность утверждений или отрицаний обычного мира; он – родной брат луканийских крестьян из Эболи. Точнее говоря, эта двусмысленность и концепция «вендетты» и «омерты» – и есть почва для мафиозного мировосприятия. Мафиозо может запросто сказать: «Я и мафиозо, и не мафиозо».

Гёте считал Сицилию сердцем Италии, ключом к стране, поскольку все достоинства и недостатки итальянцев тут гипертрофированы. История Сицилии отмечена последовательными вторжениями греков, финикийцев, римлян, гóтов, вандалов, арабов, норманнов, испанцев, итальянцев, немцев, американцев. Это колыбель европейской культуры. Палермо, столица пяти миллионов сицилийцев, отражает эту историю. Автономистское мышление сицилийцев расценивает островитян как граждан второго сорта, как и большинство жителей Меццоджорно, которыми Рим пренебрегает. Сицилийцы долго укрепляли свою безопасность. Они изобрели мафию, чтобы восполнить нехватку государственной власти.

Происхождение слова «мафия» неясно. Может быть, оно родилось от арабского имени Ма Афир, правителя Палермо в период сарацинского завоевания (831 – 1072). Или от арабского слова «муаффат» (защитник слабых). Мафия как организация родилась в западной Сицилии в период норманнского завоевания (1072 – 1181); когда норманны разбили арабов, понятие это намекало на расовое происхождение мафии. Путешественники XVIII века уже называют мафию «достопочтенным обществом».

Власть мафии не только заменила отсутствующую государственную. Она базируется на двух основных южноитальянских концепциях, распространенных от Неаполя до Эболи, от Палермо до Трапани: месть – вендетта – и отказ сотрудничать с государством – «омерта» («молчание»).

Эти принципы необходимы для преуспевания мафии, ндрангетты, каморры, сардинских и сицилийских бандитов, луканийских бригадентов... На юге семья – главный объединяющий фактор. Оскорбление требует отмщения, отмщение – это кровь врага или кого-то из его родных. Все это восходит к наследию феодализма. Система поддерживается «омертой», и нарушителя ожидает смерть. Сицилийское жизненное правило: «Не вижу, не слышу, молчу».

Старой мафии как организации взаимной безопасности давно не существует. Пино Арлакки описывает нынешних мафиози как «союзников сегодня, врагов завтра и дерущихся за власть всегда». В сороковых-пятидесятых мафия пополнилась «людьми чести»: в том смысле, что «честь» есть мера ценности и достоинства для мужчины и его семьи. Заставить уважать себя можно прежде всего убийством. В те времена говорили: «Замечательный человек: пятерых уколошил!»

Сельские мафиози – люди, разбогатевшие в результате неприкрытого насилия. Они контролируют доходы с земель и защищают тех крестьян, которые подчиняются законам, установленным мафией. Центр ее – Палермо. Она сильна потому, что государство слабо. Когда после Второй мировой войны были введены всеобщие выборы, политические партии стали вступать в альянс с мафией, которая обеспечивала победу той или иной партии. Ни один кандидат не мог победить без поддержки мафии.

Эта старая мафия пережила кризис в 50-х – 60-х годах, когда государственная власть в Сицилии укрепилась. К тому же, массовая миграция населения в поисках работы нарушила некоторые связи. Мафия почти сошла со сцены, выродилась в группки городских преступников. Даже принцип «омерты», и тот ослабел. Боссы мафии перед дилеммой исчезновения или сотрудничества с политическими боссами предпочли в обмен на работу кооперироваться с политиками и подчиниться им в какой-то мере. Как Вито Чьянчимино и Сальво Лима. Массовое наемничество в обмен на голоса создало грандиозную систему патронажа, так что патронаж от мафии уже стало трудно отличить. Многие из лидеров христианской демократии, например, контролируют всё: политику кадров и контрактов, полицию и магистратуру, миллиардные фонды...

В шестидесятых годах мафия возродилась как самостоятельная сила, разбогатев на строительных спекуляциях, хищениях и вымогательствах, и окончательно вышла из-под контроля.

По сути дела, новая мафия родилась в 70-х годах: новым видом деятельности ее стала торговля наркотиками. Экономический бум в Италии кончился, эмиграция тоже, а терроризм ослабил государство. Мафия же разрослась и стала намного сильнее политических сил в стране. Она перестала бояться государства, она начала его атаковать. Нападает она и на

тех членов христианско-демократической партии, которые сопротивляются мафии.

Время от времени она оказывает поддержку и неонацистам.

Превосходство свое она выражает так, как и положено мафии: убийства, унижение политических деятелей; общественное мнение задушено, поскольку носители его терроризированы. Государство даже позволяет мафии наводить порядок, как в старые времена.

Сегодня, из-за потерь в междоусобных войнах и сопротивления государства, мафия не монолитна. Политики с неохотой произносят само слово «мафия», но вынуждены все же произносить его. Крупные политические фигуры, с мафией связанные, попадают в поле зрения закона.

Арестованные мафиози начинают колотиться: этика мафии с ее неперменным молчанием выдохлась. Все табу теряют свою абсолютность – имена высокопоставленных покровителей мафии все чаще называются вслух. Даже лидер христианской демократии Джулио Андреотти попал под обстрел за старые связи с банкиром мафии Микеле Сидона.

НОВАЯ МАФИЯ

Американский писатель Марио Пуцо сказал, что мафия – «это бизнес, такой же, как всякий другой, только он иногда стреляет». Кровавая месть – самая грубая сторона мафиозной психологии. Это свойственно и луканийским бандитам, и кампанійской Каморре, и калабрийской Ндрангетте. Но мстительность требует второго компонента, «омерты», – в целях безопасности. Междоусобицы и сведение счетов постоянны, но никто не видит, не слышит и не говорит. Новая мафия – мафия капитала, мафия предпринимательства. Ее инструмент – легальные компании и фирмы. Это оружие тоже может быть средством прямого насилия. Бизнесмены от мафии внедряют новые элементы в мир бизнеса: насилие, чтобы обескуражить конкурента, занижение зарплат, включение в оборот крупных сумм, полученных из нелегальных источников – торговли наркотиками, грабежей, «киднаппинга»...

Мафия работает в области торговли, туризма, строительства – всюду, где можно выкачать наибольшую прибыль. И постоянно вкладывает капиталы в легальный бизнес. В этом

особенность именно сицилийской мафии. Американская организованная преступность стремится вкладывать деньги в тот же нелегальный бизнес, из которого она вышла. Боссы новой мафии отличаются от скромных старых боссов, живших в тени. Новые боссы выставляют свою власть и роскошь напоказ. Они любят, чтобы о них писали, любят давать интервью и изображать себя благотворителями. Журналисты расписывают амбициозного босса, создают ему известность. Но риск, конечно, немалый: другие-то мафиози знают, кто он на самом деле! Когда Тото Инцерилло, босс из Палермо, один из клана, уничтоженного в недавней междоусобице, был убит, другой мафиозо откомментировал: «Не грешно умереть в 38 лет, если вы все сделали, все видели, все имели. Он объелся жизнью».

Новые мафиози вспоминают старую итальянскую поговорку: «Лучше один день прожить львом, чем тысячу – ягненком».

Нынешняя мафия укоренилась в последнее десятилетие, она – продукт трех крупных процессов: рождения мафиозо-бизнесмена, включения сицилийской мафии в мировую торговлю наркотиками и прочие отрасли левой экономики и, наконец, развития широкой политической автономии ее власти.

Это стало возможным в результате обширного распространения мафиозного образа мыслей: недоверия к законам и власти государства, убежденности в том, что государство всегда враг, и обычаев мести и «омерты».

Становой хребет международной торговли наркотиками – сицилийская мафия, калабрийская Ндрангетта, неаполитанская Каморра, марсельские кланы и американская «Каза Ностра». Центр документации в Палермо разработал систему для исчисления немислимых прибылей от наркотиков. Французский «дилер» покупает кило морфина в Ливане за тысячу долларов, перерабатывает, получая кило чистого героина, который продает сицилийской мафии за 4 тысячи. Американский оптовик покупает у них этот килограмм уже за 20 тысяч и продает четырем «дилерам» за общую сумму в 32 тысячи.

Подмешав к продукту три четверти чего-нибудь безобидного для количества, каждый из них продает героин «разносчикам» по 17 тысяч за кило – то есть получает за четыре «разбавленных» кило 68 тысяч долларов. «Разносчик» снова «разбавляет» героин – таким образом первоначальный килограмм

превращается в 16 килограммов героина, готового к употреблению. Это составляет 45 тыс. доз (каждая по 5 долларов в США). Окончательная сумма – 225 тысяч долларов.

Сицилийская мафия открыла, что легальная деятельность – лучший способ «отмыть» столь астрономические суммы. Генерал Делла Кьеза, железный префект Палермо, был убит в тот момент, когда начал понимать, что мафия работает через посредство банков и легальных фирм и с ней можно бороться весьма различными методами. Он занялся сверхбогачами, банками – всеми теми, кто фальсифицирует налоговые декларации; сотрудничеством между мафией и политическими деятелями...

Поставив под рентген некоторые богатейшие семьи, вполне благопристойных и открытых деятелей и такие же фирмы, он хотел понять, почему в Сицилии тысячи банков, почему Палермо – один из первых городов Италии по «валу» потребления, когда этот город – 72-й по официальной сумме доходов.

ТРАДИЦИИ МАФИИ

Эболи на 500 км севернее Палермо. Когда вы выезжаете из Эболи на юг, вы чувствуете близость Палермо. Рим кажется очень далеким.

Старая мафия не пряталась, и все знали, кто был ее политическим протеем, – хотя само слово «мафия» не произносилось. Государственные учреждения отрицали ее существование. Мафия и система патронажа жили сами и давали жить другим. Бывший мэр Палермо Нелло Мартелуччи, недавно снова избранный на этот пост, после сотни разных преступлений мафии, среди которых было немало убийств, сказал: «Ни к чему даже слушать эти общие фразы неокOLONиалистской (т. е. итальянской) прессы. Все болезни Палермо исходят от какой-нибудь тысячи человек». Политики христианской демократии проводили избирательные кампании в Сицилии, не упоминая главной чумы здешних мест – мафии. Длинный список избранных депутатов поддерживали голоса, обеспеченные мафией. Функционер или полицейский, упоминавший о ее существовании, прежде просто переводился в другое место, ни к чему было убивать его. А новая мафия убивает с легкостью.

«Мафия – это форма поведения, – говорит профессор Арлакки. – Неформальная организация». «Традиционный» мафиозо никогда себя так не назовет. Он человек чести. Быть уважаемым значит быть способным утвердиться силой, быть достойным иметь власть. Успешный акт агрессии приносит почет. «Человек чести» не рождается. Он – «селф-мейд-мен». Он вращается в атмосфере свободного соревнования, открытого каждому. Все способы тут годятся. Победителю – высшие почести.

Идеальный мафиозо происходит из народа, пробивается в средний класс, и орбита власти его четко ограничена, он ее завоевал «актом чести», то есть насилем и агрессией. Арлакки считает, что цель мафиозо – богатство. «Почет и богатство неотделимы друг от друга. Быть успешным мафиозо значит подниматься по социальной лестнице, хотя у традиционной мафии богатство не было основным показателем социального положения. В некотором смысле слишком большое богатство отягощало классического мафиозо. Но для новой мафии все иначе. Впрочем, даже современный мафиозо редко может покинуть свой мир. Он может быть связан с местными властями, но у него особое представление о социальной лестнице: сам он непременно должен влиять на политику в пределах своего района и иметь людей в своем распоряжении, иначе он не настоящий мафиозо. Одно богатство еще не делает его настоящим. Как хищный зверь, он сам своей территории не оставит никогда.

В джунглях этой «культуры», в анархическом мире, где мафиозо может умереть в любую минуту, семья есть краеугольный камень, тайна власти. Если терроризм кормится идеологией, то семейные отношения – там, где нормальные социальные связи отброшены, – есть основа основ мафии. Чем больше семья, тем более уважаемой и перспективной она считается. Семьи сицилийских мафиозо состоят из 70 – 80 членов. Свадьбы между членами разных мафий создают новые союзы. Забота о своей семье – добродетель совсем иного толка, не похожая на дружбу, мужество, верность, которые для мафиозо существуют в витиеватых речах больше, чем на деле. Хвастовство традиции ради есть попытка внести порядок в хаос. Вроде фетиша. На деле мир мафии – анархия, лишенная каких-либо общественных ценностей, системы и структуры, соответствующей провозглашаемым ценностям.

В необходимой свободной игре мафиозо не в состоянии соблюдать какие-либо моральные ограничения. Он не выносит никакой закрытой или предварительно определенной системы. Это не то что крестьянское общество с его строгими правилами. Арлакки писал о мафиозной концепции единой семьи: «Она создает систему искусственного родства, согласно которой выбранный тип отношений превалирует над унаследованным. «Крестничество» – результат такой системы. Помимо этого искусственного родства, вырастает множество альянсов, которые, однако, если они вырастают криво, создают поводы для новых междоусобиц. Также в обычае дружба, построенная на определенных корыстных моментах; она как бы выравнивает кривизну семейных отношений, создавая минимальные общественные связи в мире, основы которого полицентричны».

ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ АРЛАККИ

Бывший босс мафии Томазо Бускетта, арестованный недавно в Бразилии и выданный итальянским властям после того, как он решил сотрудничать с полицией, произвел драматическое впечатление на участников борьбы с мафией.

Его показания позволили арестовать сотни человек и открыли так называемый «третий уровень». Свидетельство Бускетты повлияло и на других арестованных: они тоже нарушили правило «омерты» и заговорили.

За долгие годы Бускетта – первый босс мафии, который раскололся. Арлакки утверждает, что «полная лояльность внутри мафии – миф. И всегда была мифом. Предателей у них всегда хватало».

– Но почему заговорил Бускетта? Из мести тем, кто перебил его семью? Это выглядит слишком банальным для мафиозо его ранга.

– Нет, причиной была не просто месть. Тут есть глубокие причины, связанные с этическим кризисом мафии и с новыми законами, дающими немалые преимущества тем, кто идет на сотрудничество. Для этого морального коллапса показательно, что такие вожди, как Бускетта, начинают видеть реальность положения, безнадежность ситуации, в которую попала вся мафия. Мафии всегда нравилось воображать, что ее порядки есть действительно порядки, а не анархия. Множест-

во правил и ритуалов претендует на то, чтобы служить стабильности в этой системе и успешности рекрутирования новых членов: создается впечатление, что мафия – нечто весьма специфическое; но они все больше понимают, что реальное положение вещей очень сильно отличается от того мифа, который они сами о себе создали.

– *Как согласовать с этикой мафии тот факт, что слабого можно презирать, мучить, даже убить. тогда как другие члены той же мафии пользуются почетом и уважением?*

– Мафиози нуждаются в порядке. Они ежедневно находятся между жизнью и смертью. Умереть каждый из них может в любой момент. В моих изысканиях я попытался понять, как мафиозо разрешает такие проблемы, как он умудряется жить с топором над головой.

Мафии нужна этика супермена в самом ницшеанском смысле этого слова. Человеческие существа выстроены на иерархической лестнице. «Реальный человек» на верху лестницы – как «человек чести» из мафии или даже «хороший» полицейский – достоин жизни. Другие, кто на ступеньку-другую ниже, могут подвергаться издевательствам или быть убиты – это не считается преступлением, что видно из множества документов. Антигерой-мафиозо разделяет человеческие существа на пять категорий: «люди», которых очень мало, «полулюди», которых тоже немного, но на этом уровне для мафии принадлежность к человечеству кончается. Далее – «людишки», дети, думающие, что они взрослые; «шестерки», из которых состоит «армия», и «крякушники», место которых в пруду с утками, ибо жизнь их имеет не больше смысла и ценности, чем жизнь утки.

– *В какой степени этика мафии связана с этикой старинного сицилийского общества, которое при слабом правительстве организовывало самооборону?*

– Эта старая этика – этика чести. Это сложное понятие, ибо оно имеет одновременно и агрессивную, и защитную функцию. В этом старом обществе всякий уважал человека чести, почтенного и богатого, положение которого было доминирующим. Опять честь и богатство идут рука об руку. Почет имеет защитный смысл, ибо защищает старые ценности, как, например, неприкосновенность женщин, честь семьи и территориальные интересы. Почет был также инструментом для обретения власти и богатства. Его надо всегда защищать.

– Вы писали, что мафия – «неформальная организация». Теперь, после того как Бускетта описал всё подробно, вы изменили свое мнение?

– Пока что Бускетта подтвердил мою точку зрения. Он описал сложную организацию и показал также, как мафиозо обходит ежедневно ее правила. Он говорит, настаивает, что лишь «комиссия» из десяти человек в Палермо может решать вопрос о любом убийстве, но тут же показывает нестабильность и стихийность повседневной жизни мафии, хотя она и нуждается в том, чтобы контролировать положение, страхуя его от анархии.

– Нашли ли вы основные положения общественного договора в среде мафии, которые управляют всей совокупностью ее действий?

– Этот общественный договор особенно важен для экономической мафии, для тех, кто торгует героином. Как всякие бизнесмены, мафия гарантирует безопасность и регулярность операций. Поскольку они не могут полагаться на полицию в проведении в жизнь их законов, то родство играет важную роль – это одна из традиционных ценностей мафии. Действительно, родство снова стало играть большую роль в значительной части их экономической деятельности.

Они укрепляют семью, что дает возможность хотя бы минимальной безопасности.

– Вы говорите, что центр мафии – Палермо. Каковы отношения между Палермо и прочими мафиями?

– Палермо – центр. Но это еще не всё – имеется и периферия. Если центр слаб, периферия становится сильнее. Крупные преступления решаются и разрабатываются в Палермо, многие и осуществляются тут же. Сегодня сицилийская и американская мафии – не единая организация, хотя пять нью-йоркских паханов сохраняют контакты с Палермо. Бускетта подтвердил наше открытие, что территориальная база для мафии необходима. На севере Италии есть экономическая мафия, лишенная, однако, социально-культурно-боевых сторон, обязательных для настоящей мафии. Только в некоторых районах вы можете обнаружить сочетание экономической мафии с социально-культурно-боевым феноменом: это Неаполь, Калабрия и Сицилия. Я должен отметить, что мафиози не именуют себя так: слов мафиозо, каморристо или других подобных вы никогда не услышите. Я не верю Бус-

кете, когда он утверждает, что они тут зовутся «Каза Ностра», как в Америке. На Бускетту слишком повлиял его опыт американской жизни. Американская мафия усвоила терминологию, касающуюся ее самой, из фильмов и книг Пуццо. Они создают свой образ таким, каким описывают его журналисты. Это, кстати, интереснейшая часть свидетельств Бускетты.

– *Вы упомянули о кризисе этики, которая стала уж вовсе не рыцарской; думаете ли вы, что падение ценностей есть результат большого отделения мафиозо от мафии, ибо он старается избежать этой односторонней дорожки к смерти, в Палермо хотя бы?*

– Я настаиваю на том, что привязанность мафиозо к территории есть основное, и его жизненный путь и его культура на этой территории – тоже. Он не может отбросить этого, если даже и захочет. Сегодняшние мафиози не могут измениться. Но их дети – могут. Мы попытались убедить их детей не идти по той же дорожке, сделав ее рискованной и опасной более, чем когда-либо. Они могут понять, что нормальная жизнь, легальная, куда лучше. Государство должно показать, что опасности жизни мафиозо перетягивают выгоду. В этом – основа новейших итальянских законов, направленных против мафии. Мы конфискуем богатства и имущество мафиози. В Джойя Таура, в Калабрии, государство наложило секвестр на сумму в 40 000 миллиардов лир (40 000 000 000 000 000), но общее богатство этих семей вдвое больше, как мы предполагаем; они за 15 лет сумели кое-что накопить!

Но молодежь видит реальное положение вещей: отцы годами рисковали жизнью, порой годами сидели в тюрьмах, только затем, чтобы увидеть, как их богатство испаряется! Этот строгий закон – единственная возможность разбить мафию.

ИЗ ПАЛЕРМО СНОВА НА СЕВЕР

Леонардо Шаша писал, что, может быть, вся Италия станет Сицилией, что Сицилия поползет вверх, по полуострову... Шаша сравнивает скандалы в Италии с научным открытием, утверждающим, что «пальмовая линия», то есть граница климата, позволяющего расти пальмам, движется на север полуострова со скоростью 500 метров в год. Сицилийский писатель

говорит, что граница крепкого кофе, концентрированного сицилийского кофе, подымается, словно ртуть в термометре. Пальмовая граница, крепкий кофе и мафия взлезают по сапогу Италии.

Миланцы и флорентийцы, которые ездят на юг в вагонах «Пелоритано» и останавливаются в люксовых отелях, любят Сицилию. Смазливые девочки из романа Шаши «Совиный полдень» разваливаются на мягком ковре, потягивая «Карлос Примеро» и слушая нью-орлеанский джаз; вздрагивают изысканнейшим образом, слыша о ревности сицилийцев и сверкающих кинжалах членов «достопочтенного семейства». «Я обожаю Сицилию, – говорит одна из этих девочек. – Однажды я была в Таормине. Но, говорят, вы побывали и глубже?» Герой-карабинер, только что вернувшийся после жестокой схватки с преступниками, не может объяснить, на что в действительности похожа Сицилия. «Это непредставимо», – говорит он просто, пока девочки пьют бренди и разглагольствуют о любви и сексе. Шаша пишет, что эта Италия «непредставима», и в Сицилию вы приехали затем, чтобы убедиться в «непредставимости» Италии. Сицилия, говорит он, это женщина; таинственная, неумолимая, мстительная, прекрасная женщина.

Перевод с английского Василия Бетаки



ZESZYTY LITERACKIE

Caheirs Littéraires : 37, rue Geoffroy St Hilaire, 75005 Paris France
C.C.P. Paris 574286 E

ZESZYTY LITERACKIE

Nr 11 (LATO 1985)

W numerze 11 (LATO 1985): **PROZA I POEZJA:** CZESŁAW MIŁOSZ, Bryczką o zmierzchu; MIRON BIAŁOSZEWSKI, Rajza, Obóz ZMP, Chamowo (fragmenty); ADAM ZAGAJEWSKI, Wiersze; MICHAŁ WYSZOMIRSKI, Mała proza; JACEK BIEREZIN, Nowe wiersze; EWA KURYLUK, Z Platena; X.Y., List do Karola Marksa. **EUROPA ŚRODKA:** ADAM MICHNIK, Białoruska ballada; VLADIMIR NABOKOV, Jubileusz; ALAIN BESANÇON, Lenin; MILAN KUNDERA, Wprowadzenie do wariacji; JOSIF BRODSKI, Dlaczego Kundera myli się co do Dostojewskiego. **SPOJRZENIA:** ANDA ROTTENBERG, Polski barok współczesny. **PREZENTACJE:** RENATA GORCZYŃSKA, Jagody Roberta Hassa; ROBERT HASS, Wiersze. **INTERPRETACJE:** MAREK NOWAKOWSKI, Elegia o umarłym świecie; MAREK ZALESKI, O prozie Henryka Grynberga. **ROZMOWY:** JAN KOTT, Pamięć ciała. **O KSIĄŻKACH:** ALEKSANDER FIUT, O „Nieobjętej ziemi” Miłosza; P.M.K., Niepodległy umysł. **WSPOMNIENIA, NOTATKI, NOWE PUBLIKACJE, NOTY O AUTORACH.**

Numer 11 Zeszytów Literackich ukazał się w lipcu 1985.

Do nabycia w redakcji (CAHIERS LITTÉRAIRES, 37 rue Geoffroy St. Hilaire 75005 Paris; od 1 sierpnia 1985: 44, rue Tiquetonne 75002).

Cena pojedynczego egzemplarza wraz z przesyłką 46 FF (6 \$USA);

poczta lotniczą 55 FF (7,5 \$USA).

Prenumerata roczna — 155 FF (20 \$USA); poczta lotniczą 190 FF

(25 \$USA).

Факты и свидетельства

Александр Ш а т р а в к а

ЕСЛИ ТЫ БОЛЕН СВОБОДОЙ

Отрывок из книги

8 октября Александру Шатравке исполняется 35 лет – из них уже более десяти проведены в заключении. В 1973 году вместе с братом Михаилом он совершил побег через советско-финскую границу. Оба брата и два их поделщика были взяты уже на территории Финляндии финскими пограничниками и переданы советским властям. В следственной тюрьме Александр Шатравка и его брат симулировали душевное заболевание, рассчитывая, как они полагали, отделаться недолгим пребыванием в психиатрической больнице. Их, действительно, признали невменяемыми и отправили на принудительное лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу специального типа МВД (т. е. психиатрическую тюрьму). Александр Шатравка был освобожден в 1979 году, пройдя еще через Черняховскую СПБ и больницу общего типа по месту жительства (он – уроженец Кривого Рога). В последующие годы он неоднократно подвергался насильственной госпитализации, а в 1982 году был арестован за книгу мемуаров «Если ты болен свободой, или Репортаж из желудка людоеда» и за сотрудничество с независимым пацифистским движением в СССР. 15 июля нынешнего года кончался его срок, однако за несколько месяцев до конца срока у него «нашли» наркотики и открыли новое дело.

О, как я не любил в этих стенах утро! Оно начиналось просто: неожиданно на стене включался динамик, и звучал украинский гимн, сопровождающийся шарканьем швабры дежурного по палате. Потом его сменяет гимн самого гуманного и демократического в мире государства.

– Оправка! Вставайте на opravku!

Лязгнул засов, и появился санитар. Начался новый день, не суливший ничего хорошего обитателям этого мрачного заведения.

После завтрака ко мне подошел санитар:

– Пойдем, будешь мыть лестницы в коридоре.

Отказываться нельзя, придется мыть. В противном случае – инъекция аминазина или сульфазина, которые должны,

по понятиям медперсонала, влить в тебя изрядную долю сознательности, поставить на путь истинный и научить покорности всем, кому обязан подчиняться.

Тазик и тряпка уже ждали. Один больной уже заметал лестничный пролет, другой, старый дед, только успевал носить из туалета воду в тазике, а мы с напарником, размахивая по ступенькам тряпками, мыли лестничные марши.

Слабость и постоянное недомогание давали о себе знать. Работа давалась мне с большим трудом. К концу работы я вымотался полностью и уселся в изнеможении на крыльцо, в то время как больные, с которыми я трудился, стояли с санитаром и перекуривали, словно выполнили не Бог весть какую тяжелую работу.

«И так будет продолжаться в течение многих месяцев, а может быть, и лет», – с грустью подумал я, глядя, как на подтверждение моих мыслей, на своего напарника, худощавого парнишку, который драил ступеньки этой лестницы уже не первый год.

Вымыв лестницу, я считал, что моя работа на сегодняшний день окончилась, но, оказалось, ошибся. Лестница лестницей, а отделение – отделением.

Выгнав больных из палаты, санитар разделил все полы, стены и плинтусы на участки и закрепил каждого больного за уборщицами (которые командовали и санитарями, и больными, хотя убирать отделение было их прямой обязанностью). Больные, не жалея холодной воды, терли до блеска плинтусы и панели.

– Часто вы делаете такие уборки? – поинтересовался я у соседа.

– Как нечего делать уборщице, так она и выдумывает эти уборки. Это еще ладно! У нас хоть не каждый день, а в других отделениях от этих уроков житья нет.

...Обед прошел как обычно. Обычно в том смысле, что меню менялось в крайне узких пределах: овес сменяла пшенка, пшенку – перловка и т. д. К пище я, как и большинство больных, успел привыкнуть настолько, что, глотая ее, не ощущал никакого вкуса, ел, чтобы просто жить. Наверное, подобные чувства испытывали и другие, потому как отходов от обеда оставалось очень много. Действительно, многие виды каш и сухую отварную капусту с кисло-горьким вкусом невозможно было есть. Особо тяжело приходилось тем, кто был забыт

всеми родственниками и не имел денег на ларек, – эти вечно голодные бедолаги подбирали куски хлеба или оставленные кем-то объедки от домашних передач. Относить помои на тюремный двор, а стало быть, и побыть несколько минут на свежем воздухе – такой привилегией пользовались только посудомойщики.

...«Выходи на прогулку! Всем на прогулку!» – орал санитар в коридоре и открывал ключом палаты. Люди выходили, брали из брошенного на пол мешка зэковские кепки и строились. «Три часа уже, давай скорей стройся!» – подгоняли сами больные других, более нерасторопных. «Без кепок никого не выпущу!» – визжала пискливым голосом медсестра, нагнетая и без того нервозную обстановку. Наконец все выстроились. Шли драгоценные минуты прогулочного времени. «Ну, где она там? Что она там делает?» – бурчали больные меж собой. Вскоре ОНА появилась.

– Все здесь? А ну, иди, проверь по палатам, никого там не осталось? – приказала санитару медсестра.

– Все вышли, – доложил, вернувшись санитар.

После этого нас выстроили по двое, и сестра всех пересчитала.

– Тридцать семь, – сказала она санитару.

Санитар шел вдоль колонны и, словно какие-то бревна, дергая за одежду, устанавливал тех, кто не стоял в паре.

– Тридцать шесть, – доложил он.

После всего этого взялся за дело за дело мент-надзиратель.

Мы стояли молча, в ожидании, когда закончится эта идиотская процедура. Мент, проверив всё заново и сверив количество людей, выстроенных на прогулку, с количеством людей в надзорной палате, дал наконец «добро». Внизу уже стоял мент-контролер и махал дощечкой учета больных.

– Можно идти? – спросил сестру санитар.

– Стойте, стойте... А кто же из санитаров с вами пойдет? Ты ведь на надзорке остаешься, Латюхин.

Сестра остановила колонну и велела санитару позвать кого-нибудь из его коллег. Латюхин исчез. Колонна дождалась санитаря. Таяло драгоценное время. Санитар пришел только минут через пять.

– Выходи! Не растягиваться, – скомандовал он.

На прогулочный дворик прошли через центральный корпус, длинным обшарпанным коридором через первый этаж, миновали дежурку. Солнце палило безжалостно. Прогулочный двор представлял собой узкое пространство шириною метров пять и длиной тридцать пять. Мне тут же вспомнились и слова, и расстроенный вид нашей сопровождающей: видать, знала она, что это за дыра, коль так расчувствовалась. Двор был отгорожен штакетником и одной своей стороной примыкал к забору из выбеленных шершавых досок. Ржавые таблички, развешанные на нем, указывали, что за ним запретная зона. Едва ли не метровой высоты козырек из ржавой колючей проволоки и системы сигнализации опоясывал весь предзонник. Через двор тянулась длинная скамейка.

Во дворе люди бродили, кто парами, а кто сразу же шел в тень и садился на корточки. Медсестра, зэк-санитар и надзиратель болтали, усевшись в тени под корпусом, наблюдая за больными сквозь щели в штакетнике. Спустя немного времени во двор вывели 12-е отделение.

Солнце палило немилосердно, но, к моему удивлению, раздеваться и загорать категорически воспрещалось. Но и тут находились хитрецы, которые закатывали майки на груди и тайком, озираясь по сторонам, воровали солнечные лучи. Однако эти маленькие хитрости редко ускользали от набитого глаза санитара или медсестры, и нарушителя быстро призывали к порядку.

Жара и лекарственная слабость разморили меня вовсе, и, усевшись на лавке, я принялся наблюдать за больными. Кое о ком я знал кое-что из их биографий и о преступлениях, за которые они тут находились. Многие отбывали наказания за тяжкие преступления, в основном за убийство родственников, своих же детей и соседей. Но меня интересовали люди, отбывавшие наказания по моей статье или за политическое инакомыслие. Одного из таких людей я уже заочно знал и теперь решил поговорить с ним.

Он тасовался* невдалеке от меня, своим широким, размашистым шагом, как маятник, взад-вперед; высокий, с белобрысой щетинкой на голове, – это Андрей Заболотный. Разговор завязался быстро. Мы неторопливо расхаживали по двору,

* Тасоваться (жарг.) – ходить туда-сюда, топтаться на одном месте.

время от времени смачивали головы и узнавали все новые и новые подробности друг о друге.

Андрей сидел с 1967 года за попытку удрать из Союза. История его неудачного бегства меня сильно интересовала, и он обещал мне рассказать ее как-нибудь в другой раз поподробнее. Я, в свою очередь, рассказал ему о своей неудавшейся попытке бежать и спросил его совета: стоит ли давать «раскладку»* или нет.

– Попробуй, но мне кажется: это тебе не поможет. Они диагнозы все равно не снимут.

– Выходи, 2-е! Время кончилось, выходи живей, стройся! – закричали сестра и санитар. – 12-е, готовься!

За разговором неимоверно быстро пролетели 40 минут прогулочного времени. Только сильно давала о себе знать усталость.

По выходе из двора повторилась процедура пересчета, которая отняла еще добрых несколько минут прогулочного времени. Сзади выходило 12-е.

В отделении сразу же была объявлена оправка. Люди шли в туалет, в основном, для того чтобы отмыть ноги от черной угольной пыли, осыпая проклятиями того, кому пришла в голову мысль посыпать тесный прогулочный дворик перемешанной с углем землей.

В палате включили радио: «16 часов – московское время».

– Минут 35-40 погуляли, – произнес, неизвестно к кому обращаясь, Коля-армянин.

– На продукты выходи! – донеслась команда из коридора. Загremели засовы.

Люди выходили в коридор и строились в длинную очередь, набирали в миску кое-что из своего провианта, ставили миску на подоконник и возвращались в палату.

...Прошел ужин – считай и день прошел. Как долго тянулся этот душный, наполненный командами и покрикиваниями день! И сколько таких дней еще впереди! На душе стало мутно и невыносимо.

Каждое утро начиналось с ощущения неизвестности и тревоги: как пройдет этот день? Не сорвешься ли на этот раз, не поддашься ли на провокации, грубость и неприкрытые издевательства сестер и санитаров? Вдруг да и заступишься, не дай

* «Раскладка» (жарг.) – сознание в симуляции.

Бог, за какого-нибудь вконец больного человека, которого пинают ногами или лупят по ребрам большими ментовскими ключами и награждают подзатыльниками.

Проснулся и жду, как ждал и после всех прошлых ночей, этих страшных гимнов нового дня. Обычно стараемся выкрутить регулятор громкости до минимума, стараясь хоть таким образом оттянуть наступление нового дня на каких-нибудь пару минут, дня, который не сулит ничего, кроме душевной, а может, и физической боли. Сколько ни думай, а время идет своим чередом. В напряженной тишине загудело радио. Динамик, выкрученный почти до отказа, заполнил палату омерзительными звуками: звучали позывные украинского радио. Заиграл гимн УССР, сменившийся гимном страны огромной, «где так вольно дышит человек».

– На opravку! – закричал санитар, зайдя в палату, и стащил с Адама одеяло. – Адам, вставай живо за завтраком, тебе говорят!

...Оправка,правка, завтрак,правка,прогулка,правка,ужин и сноваправка... И так все дни... Камера – уборка. камера – стол, камера –правка... Нет, это даже не крытый тюремный режим. Это что-то покошмарнее. Это что-то вроде дома пыток, где всё и всякая мелочь карается – карается страшной физической болью и куда еще более страшной душевной. Это – заведение, где чуть ли не каждый просит смерти, легкой смерти, но где невозможно это совершить из-за постоянного надзора. Не дай Бог какому-нибудь несчастному быть замеченным в попытке к самоубийству, или вдруг его успели откачать и вернуть из блаженного мрака в ужас реальности. Очнувшись, он наверняка проклянет тот день, когда появился на свет, и взмолится о смерти быстрой и легкой.

Шприц, словно злой рок, преследует узников этого ада. Он настигает их за всякую оплошность, а то – просто для забавы санитаров. И ходят, словно тени, его жертвы с перекошенными и оступевшими от нейролептиков рожам, держась от слабости за стенки. Но это не всё, это только начало. Конец и долгая развязка наступят тогда, когда тело и душа превратятся в сплошной комок боли, когда все мускулы будут выворачивать суставы, а душа – разваливаться на непостижимые части, связанные между собой лишь изуродованным болью и судорогами телом. Ты зовешь смерть-избавительницу – но

нет, дорогой, ты обязан жить в аду, и сердце твое, отбивавшее несколько мгновений тому назад последние удары жизни, подхлестнет все тот же неумолимый палач-шприц. Шприц накачает тело физрастворами, кордиамином и прочими живительными влагами, подготавливая его к новым пыткам.

Крепись, коль хочешь избежать всего этого. Старайся ничего не видеть. Не обращай внимания на все оскорбления и унижения. Не замечай любых жестокостей, творящихся вокруг тебя. А главное – молчи, больше молчи и повинуйся.

...Прошел завтрак. Сегодня – день бритья, которого никак нельзя избежать. Тысячный раз проклинаю себя за жесткую щетину, которая никак не хочет поддаваться тупому лезвию бритвы.

– Выходи на бритье! – кричит санитар и выпускает нашу палату.

Возле туалета, поставив на стол тазик с холодной водой, трое больных под бдительным наблюдением санитаров бреют безопасной бритвой других больных. Один из этих «парикмахеров» макает кисточку в тазик и намыливает ее о кусок хозяйственного мыла, после чего мылит по очереди наши рожи, макая время от времени кисточку в тазик, где уже плавает толстый слой соскабливаемой щетины. Намазавшись мылом, стою и я в ожидании, пока моя очередь дойдет до брадоброя. В нос вместе с мылом лезет чужая щетина, сильно хочется чихать.

– Как лезвие? – спрашиваю у брадоброя.

– Можно еще брить – считай, что повезло: ты третий.

Не нахожу слов описать то ощущение, которое я испытывал, – скажу одно: слезы непроизвольно текли из глаз, и казалось, что щетину не сбрасывают с моих щек, а просто сдирают с кожей вместе. В итоге такого бритья всегда оставалось с десяток порезов. Кровь текла, как с резанного поросенка.

– Задери голову, немного осталось, – слышу я и, повинуюсь, зажмуриваю глаза. – Ну вот, вроде и всё. Готов. Как огурчик! – хлопчет брадобрей и берется за следующего.

Умывшись и заклеив лицо бумажками, лежу в палате и размышляю, что надо бы домой написать, чтоб выслали механическую бритву. Жаль, нельзя электрической. Ну, да Бог с ним, хоть механическую – не каждое ж воскресенье такие пытки терпеть. Смотрю в смотровое окошко, скоро ли кончится бритье и раздастся следующая команда: «На письма!»

Ручки, карандаши, бумагу, письма, конверты, фотографии хранить при себе категорически запрещается, в противном случае – «шило» (шприц).

Писать особенно нечего, потому как о том, о чем хотелось бы написать родным, писать запрещено. Если не хочешь подчиняться этому правилу – пиши, и тогда твои письма не пойдут дальше урны в кабинете врача, а твой зад – дальше процедурной комнаты. Не вздумай писать о подлинном своем самочувствии. Пиши просто: «Нормально», – иначе враз подправят тебе его так, что в следующем письме напишешь: «Отлично». Питание, пиши, если не «отличное», то просто «хорошее»: ведь овсяную кашу даже американские астронавты в космосе ели, а ты вдруг на нее вздумаешь жаловаться. Обо всем пиши: «хорошо», – если хочешь, чтобы твое письмо дошло.

...Воскресенье – обычно наиболее спокойный день недели. По крайней мере, нет этих пустых и ненужных врачебных обходов. В воскресенье нет работ на вязке сеток-авосек. Вязание сеток – это не просто работа. Это трудотерапия, то есть лечение. Вяжут сетки, усевшись под стеной в коридоре отделения. Люди, словно пауки, плетут сетки, махая целые дни челноками и получая по 7 коп. за штуку. В течение месяца есть возможность заработать 8-10 рублей на ларек. За вязание сеток платить стали совсем недавно, и еще год назад людей заставляли вязать их совершенно бесплатно, мотивируя опять-таки тем, что это не работа, а нужная и полезная для них трудотерапия.

В воскресенье нет работ по протирке плитусов и панелей, не заставляют перетряхивать постели, и чувствуется, как спадает общее напряжение.

Отсутствие врачей сказывается и на медсестрах. Некоторые забирают всю полноту власти в свои руки и, словно цепные псы, лают на весь коридор всю свою смену с пеной у рта, иногда сменяя крик на дикий смех. Другие сестры, но их было меньшинство, в воскресенье давали нам маленькие свободы. Некоторым, на кого не имел зуба санитар, они позволяли лишний раз сходить в туалет и перекурить, другим – зайти в соседнюю палату и сыграть партию в шахматы или нарды (игры, которые стали доступны больным всего год назад). Такие дни проходят куда спокойней и легче.

После обеда будет фильм, который крутит кинопередвижка, и прогулка. Фильмы показывают, в основном, старые и малоинтересные: про революцию, про войну 41-го или про трудовые будни советских людей. Очень редко показывают фильмы, которые можно смотреть с действительным интересом.

Кино в отделении показывали два раза в месяц, но иногда за несколько пачек сигарет, отданных ээку-киномеханику, удавалось посмотреть дополнительный фильм. Зрительным залом служил коридор отделения. Окно в конце коридора занавешивали одеялом, под стенами ставили несколько скамеек, а кому не хватало места, усаживались просто на пол, подложив под себя тощие подушки, предварительно сняв с них наволочки. Усевшись на лавку, откуда обзор был вообще никудышный, я вместе со всеми жду начала фильма. «Опять, наверно, привезли про этого лысого сифилитика...» – негромко высказался худощавый человек, сидящий возле меня.

Погас свет в коридоре, зажужжал проектор, и на экране действительно появился тот человек, о котором упомянул мой сосед.

Все палаты на время фильма закрывались. Не желающие смотреть кино могли пробыть это время в надзорке. К моему огорчению, все кровати в надзорной палате оказались занятыми, и волей-неволей пришлось до конца досматривать фильм, заполненный революционной галиматьей. Добрых три часа пришлось просидеть на лавке в томительном ожидании, когда этому фильму придет конец. Но, как назло, у киномеханика что-то постоянно не ладилось: то исчезал звук, то изображение, то совсем ломался аппарат, и киномеханик куда-то надолго убежал.

– По-быстроу всем на оправку и по местам! – скомандовала медсестра по окончании фильма, одновременно подгоняя санитаров.

День подходил к концу. В коридоре собирали людей, чтобы идти за ужином.

– Что, Коля, считай еще один день прошел? – тасуясь по палате, спросил я армянина.

– Ай, да ну их! Лучше не считать эти дни, – ответил армянин со своей койки.

Динамик на стене молчал – он всегда молчал, когда по радио передавали редкие эстрадные концерты. Стоит кон-

церту закончиться – как он снова начинает выдавать «информацию».

– Опять, наверно, санитары перемычку поставили, – хлопая по динамику рукой, сказал Адам.

Прошел ужин. За окном темнело. Яркая лампочка освещала палату. Как она надоела! Хоть бы одну ночь проспять в темноте! Когда наступит такая ночь, да и наступит ли она вообще? Я уткнулся лицом в подушку и, зажмутив глаза, стараюсь представить, что нахожусь в темноте; стараюсь вообразить тот далекий будущий день – но ничего не выходит. Он представлялся вроде бесконечности космического пространства, которое трудно объять, да и вообще вряд ли возможно постичь человеческому разуму. От подобных мыслей начинала кружиться голова, и рассудок приходил в состояние ступора. Значит, эта яркая лампочка, врезающаяся не только в глаза, но и в сознание, будет светить не одну тысячу ночей на пути к тому непостижимому концу. Ужасный и тяжелый путь предстоит пройти в сопровождении целой своры палачей: от санитаров до мента, от рядового врача-психиатра до маститых корифеев по части «промывания» и «вправления» мозгов, не желающих становиться послушной шестеренкой параноидных коммунистических идей.

Вечерней прохладой потянуло из окна. Я повернулся и устремился взглядом в бесконечность Вселенной, из глубины которой отдавали холодной голубизной армады звезд – им тоже неизвестна бесконечность их Вселенной и конец их долгого пути. Звезды хоть вольны – они в движении, в отличие от меня, живого существа, для которого время остановилось, замерло. Два года б осталось, если бы судили. Два года – это конечный срок, а не ужас неопределенности. И зачем только связался с этими мракобесами-психиатрами! Сиди теперь в этой ярко освещенной, белой от постелей, стен и людей камере, сиди теперь годами в этой конуре, где нет даже места для движения, где тебя будут брить, и стричь, и гонять, как скот, под наблюдением санитаров-погонщиков. А когда конец? Через 5, 8, 10 лет? Когда?

Адам лежал на кровати, зажмутив глаза, и стучал себе кулаками по голове, приговаривая:

– Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Вот дурак! И надо же! Ай-яй-яй!

Внешне это выглядело забавно и отчасти отвлекало меня от собственных переживаний.

– Что такое, Адам? Что ты ахаешь?

– Ой, Шатравка, Шатравка! И за что только я, бедолага, сижу?

Адам считал меня очень грамотным человеком, потому что я объяснял ему довольно простые, но незнакомые ему слова, услышанные по радио или вычитанные из газет: «демонстрация», «доллар», «якорь» и т. п. Он продолжал жаловаться:

– И надо же ему было так напиться! Старый человек – и так пил! Ай-яй-яй! И зачем он так напивался? Ведь я и в тюрьме никогда не был.

– За что ты сидишь, Адам? Наверно, кого-то замочил?

– Да нет! Отец мой старый... Сколько раз я ему говорил: не пей! не пей! А он всё свое. Такой старый. И что ни день – то пьет да пьет. Ой, и надо же мне было в тот день его пьяного встретить! В калюже валялся пьяный и побитый весь, да и мне – надо ж было выпить в этот день! Ну и вытащил я его с калюжи. Пока тащил – видел, как он еще лупал глазами, а как вытащил, положил его – он и не дышит. Ой, и надо же мне было его встретить! Напился такой старый... Ой-ёй-ёй!

– Ты, наверно, задушил его, пока тащил?

– Может быть... Я его одной рукой за шею тащил, но он, наверно, умер оттого, что побитый сильно был, а теперь это всё на меня записали.

– Сколько, думаешь, придется тебе пробыть здесь?

– Откуда я знаю? Вот уже пять лет как здесь. За это время и мать умерла. Так я ее с тех пор и не видел. Жинка бросила, к другому ушла. Что теперь с моим хозяйством? Как там хата? Кто за ней смотрит, и цела ли она? – жаловался он, тем самым давая мне понять, что раньше жил совсем неплохо.

С великим удовольствием, забыв на время о своем горе и уйдя в счастливые дни своего прошлого, он рассказал, как крал зерно для своей скотинки из колхозного амбара на своем «самом лучшем в мире» мотоцикле М-5, какой он отличный танцор и гармонист и что навряд ли найдется на селе человек веселей его – Адама.

– Влип ты, Адам, но тебе легче – может, выпишут скоро?.. Ну, давай спать, уже отбой, – ответил я ему шепотом, боясь быть замеченным в том, что не сплю.

Адам – «директор» туалета, иными словами – уборщик. И эту свою должность он не отдаст никому. Как-никак туалет в течение дня приходится убирать несколько раз. И на скрутку

табачка он как-нибудь да выпросит. Наверяд ли Адам – шизофреник. Дебил – это точно, хотя хитрости ему не занимать. Посылок он ни от кого не получал. Он был забыт почти всеми, но нет-нет да напишет ему письмецо девочка-племянница. Адам, как и многие другие, работавшие до попадания на спец в колхозах, государственной пенсии по болезни не получал. «Вам не положена пенсия, вы и так находитесь на полном государственном обеспечении», – говорили им врачи. Что правда, то правда: на полном государственном обеспечении находились спецовские колхознички, на таком обеспечении, на которое люди на свободе и надеяться не могли. Только упаси Бог от такого полного обеспечения даже врага, а не то что колхозника.

...Понедельник – день тяжелый.

Утро. Динамик зашипел, прогудел и замолчал. Через несколько секунд зазвучат гимны, возвещая о новом трудовом дне Страны Советов.

Ежедневные бесконечные уборки просто доканывали меня. Лестничная клетка, к которой меня приписали, выматывала не только силы, но и нервы. Хорошо, что сейчас лето и мало грязи, а осенью и зимой придется ее мыть по несколько раз на день. И нет никакой возможности отделаться от нее.

Сегодня до обеда в отделении генеральная уборка: в палате, сдвинув в одну сторону койки, драим и без того чистые панели и плинтусы. Моют все, кроме тех, кто вяжет сетки. И для чего эти частые уборки? – уму непонятно. Наверно, чтобы под воздействием нейролептиков, обладающих сильным снотворным эффектом, не валялись на кроватях без работы. Мы ведь тоже советские люди, и на нас тоже распространяется принцип: «Кто не работает – тот не ест». – Так да здравствует же бессмысленный и дармовой тюремный труд! – сказал я себе, еще усерднее от злобы и горечи в душе натирая панели тряпкой.

По сравнению с другими, я получал небольшую дозу медикаментов: какие-то 100 мг тизерцина, превращавшие мое тело в неуправляемую, тяжелую грудку мышц и костей, мозг – в машину для выполнения простейших природных потребностей организма. Каково же было тем, кто получал нейролептики примерно в два раза сильнее и дозами, которые принято называть лошадиными. И хочешь – не хочешь, а три тряпкой, шевелись – только не спи. Протрет такой робот свой участок

панели и стоит в изумлении, переминаясь с ноги на ногу, повесив руки в локтях, как передние лапы у кенгуру, в ожидании новой команды санитаров.

...Обед. Усилием воли влил в себя кисло-соленую жидкость, именуемую в этих стенах рассольником, которую не рискнул бы съесть даже тот индийский йог, который «гвозди жрал как колбасу», – затолкав его комком сухой пшеничной каши с куском плохо осмоленной щетины. Запил всю эту бурду «компотом» и на этом закончил трапезу, достойную худших колхозных свиарников.

На прогулку собирались так же долго, как и в прошлый раз. Считали и пересчитывали нас сестры и санитары, пихали, тасовали, а кое-кто из замешкавшихся и подзатыльник успел схлопотать, а кого и сильный пинок под зад в колонну загонял. Наконец всех сосчитали, и колонна тронулась.

Снова тот же прогулочный двор, к которому брезгливому человеку надо еще привыкнуть. Как-никак, а с девяти утра до пяти вечера на нем прогуливаются ни много, ни мало 1200 пациентов этой в своем роде оригинальной здравницы, оставляя всякие мыслимые и немыслимые испражнения человеческих ртов и желудков. На посыпанном углем, грязном дворе тут и там виднелись смачные плевки, сморчки, переливавшиеся на свету зеленоватыми и белесыми пятнами, которые приходилось с трудом обходить, и, самое отвратительное, приходилось дышать всеми этими нечистотами. Мало того, был и другой бич – зловонная река мочи. Туалет имелся рядом, в помещении хозобслуги, но туда никого не водили – не положено. И люди были вынуждены мочиться в углу двора, захваченные врасплох или с больными мочевыводящими органами. Это усугублялось еще тем, что многие препараты содержали в себе вещества, усиливающие мочеотделение. И течет желтая, зловонная река мочи, заливая своей поймой едва ли не треть двора. Никакое палящее солнце не в состоянии осушить ее за те минут пятнадцать, пока меняется контингент гуляющих. Сменились – и опять течет река, испаряя зловоние. Не двор для прогулок, а в прямом смысле слова отхожая яма.

Но для узников Днепропетровского спеца и погулять по дну этой отхожей ямы – короткая, но большая радость. Курильщикам здесь и покурить можно. Кури сколько влезет, если ухитрился достать махорки. И подымается голубой махорочный дым от блаженствующих курцов. И походить здесь

можно – хоть и по мерзости, но все-таки не три шага, как в палате, а целых сорок. Правда, тесновато, но в палате не свободнее.

Главная беда не в том, что вонь и смрад стоят в этой помойной яме, где твои легкие, по идее, должны на сутки запастись кислородом, а в том, что и это короткое время прогулки урезается каждый раз минут на 10 – 15. (В тюрьмах тем, кто признан душевнобольными, полагается два часа прогулки.)

В разговоре с Андреем Заболотным узнал кое-какие подробности о его деле. Подобно нам, Андрей отчасти и сам был виноват, что попал на «дурку». Он, как и мы, не подозревал о существовании подобных помойных ям. На Днепропетровском спецу он находился с 1973 года и был переведен сюда с Ленинградского спецза, с одним этапом с двумя другими экаками.

– Одного из них уже выписали – Толика Чинова, – рассказывал Андрей. – Шесть лет он отсидел, а подельнику восемь лет дали. С высшим образованием парнишка, верующий. Они в Ватикан подались, но так как легально нельзя было, то решили рискнуть. Попались. Сейчас Анатолий в Туапсе живет, в зеленом хозяйстве работает. Писал мне, что документы ему на руки не выдают и записали его в материн паспорт. А второй, что приехал с нами, – вон, видишь? – Андрей показал на пожилого, с морщинистым лицом, человека в очках: – Это Борис Дмитриевич Евдокимов, писатель. Он из Ленинграда. Видать, власти не зря его сюда перевели, боятся его связей со свободой. А Днепропетровск – город закрытый, да и родным далеко добираться. Наверно, ему и умирать здесь придется: он уже не первый раз сидит за свои убеждения.

– А когда тебя выпишут? – спросил я.

– Кто его знает? – пожал он плечами. – Вот комиссия в июле будет, но навряд ли что получится.

Андрей говорил обо всех столь важных в его судьбе событиях спокойно, словно речь шла не о нем, а о ком-то третьем, постороннем. Видимо, он свыкся с мыслью, что незачем трагить эмоции на явления, от него не зависящие. Он продолжал:

– Чекисты нас тут держат – вот в чем суть дела. Приезжал как-то Рыбкин, главный психиатр МВД. Многих по нашим статьям вызывал, в том числе и меня. Я ему и рассказал, как симулировал в лагере, а потом и в институте Сербского. Так он меня и еще нескольких человек решил направить в институт

на переэкспертизу. Но суд отказал. Видишь, даже сам Рыбкин тут бессилён. Теперь остаётся только ждать, когда-нибудь должны же выписать.

– Расскажи, Андрей, как ты попался, если не секрет. У тебя ведь тоже связано с границей?

– А чего тут скрывать? Давно решил я покинуть Советский Союз, а основательно взялся за осуществление лишь в конце 60-х годов. Устроился электриком в Одесском морском порту. Там одно наше судно стояло на ремонте, на нем я и решил бежать, как только узнал, что после ходовых испытаний оно должно идти за рубеж. В одном из носовых отсеков хранились всякие мало пригодные для частого пользования материалы: цемент, пластыри и прочая там дрянь. Понемногу я перенес туда продукты и запасаюсь водой, наполнив автомобильную камеру. В этом отсеке меня вряд ли заметили бы, только до сих пор каюсь, что попросил одного знакомого парня-крановщика помочь мне. Он добросовестно мне помогал, но в последний момент, когда судно вышло в море, пошел и выдал меня. Видно, нервы не выдержали, струсил: все-таки соучастник. В нейтральных водах пограничники остановили судно и без особого труда нашли меня со всем моим хозяйством. Посадили в Одесскую тюрьму и дали статью «измена Родине». На следствии дерзил здорово, 12 лет вмазали, чего, по правде сказать, и не ожидал. Писал жалобы. Срок начал отбывать на Потье, но дело все-таки пересмотрели, 12 лет заменили на пятерку.

Андрей помолчал и, вздохнув тяжело, сказал:

– Надо было мне отсидеть эту пятерку – и дело с концом, уже третий год дома был бы. Да-а, – протянул он сожалеючи.

Наверно, в эту минуту он в который раз проклинал себя и тот день, когда ему в голову пришла мысль «свалить на дурку».

– Ты знаешь, это сейчас пятерка, когда на нее смотришь с конца, кажется небольшим сроком, а тогда пятерка... И тем более – за что? Я все равно считал приговор несправедливым. Меня должны были судить за попытку перехода границы. Вот тут-то и решил «гнать». Немецким языком я владею отлично, как своим родным украинским. Начал писать во все инстанции, что я, мол, немецкий разведчик. Результаты долго ждать не пришлось. В конце 69-го дернули из лагеря в институт Сербского. Вот там-то я и постарался от души. Дали диагноз, активировали. Каково было мое разочарование, когда меня привезли

на спец в Ленинград! Во-первых, я узнал, что теперь мне статью заменили на переход границы, а спец, хоть и Ленинградский, с лагерем не сравнишь – дыра настоящая. И пробыть бы мне пришлось на нем неизвестно сколько. Тут-то я и дал раскладку врачам, как «гнал», – только везите обратно в лагерь. Но все мои старания оказались напрасными. Врачи сказали: «Будешь лечиться». На спецу имелись свои профессора, не ниже сербских, так они мне диагноз изменили на более мягкий: «маниакально-депрессивный психоз». Мой врач пообещал мне тогда годика через три выписать. Вот и «выписал», только в еще худшую дыру.

Андрей замолчал. Видать, ему тяжело было вспоминать все это, и он никак не мог смириться с той участью, которую приготовила ему психиатрия.

Повествование Андрея заставило меня задуматься и над моим собственным делом. Истории наших побегов были чем-то схожи, моя даже несколько посерьезней: мы все-таки перешли границу и на следствии дерзили не меньше. И где гарантия, что придется пробыть в этих стенах пять лет? Я старался уцепиться за этот предполагаемый срок, большой срок для человеческой жизни, но очень маленький для этого места.

В оставшиеся минуты прогулки Андрей расспрашивал меня о подробностях моего дела. Выслушав меня, он не меньше переживал за наш провал, приговаривая:

– Идти нужно было, идти как можно дальше вглубь.

В памяти возникла живая картина прошлогодней давности.

...Лес резко оборвался, и глазам предстал выруб, простирающийся на многие километры, с огромными соснами. В синеве туманной дали одиноко стояла, поджидая нас и готовя нам укрытие, поросшая лесом сопка. Там навряд ли нашли бы нас финские пограничники...

Что было, то было! Теперь ничего не изменишь. Перед глазами была Днепропетровская клоака. Я проклинал в душе и себя, и эту финскую баньку.

В уши ворвалась команда мента:

– Выходи, 12-е! Второе, готовься!

Прогулка закончилась.

На следующий день нас подняли еще до подъема – предстояла баня.

– Вставайте! Подъем! Снимайте белье с постелей, баня! – кричал санитар, зайдя в палату.

В тесной, обшарпанной, темной полуподвальной раздевалке раздевались люди, стараясь занять место на вешалке. Медсестра с санитарями стояла в проходе, наблюдая за нами.

Восемь разных леек едва лили теплую воду. Намылившись куском серого, хозяйственного мыла, люди ждали места под лейкой. Обнаженные тела их, за редкими исключениями, выглядели жалко. Бледные лица покойников, тела с атрофированными мышцами отдавали мертвецкой синевой. Животы висели, как надутые бараньи пузыри. Видно было, что этот каменный мешок за годы заточения высосал из них жизненные соки, превратил живых людей в покойников с бьющимися сердцами.

Мой вид становился тоже не лучше. Живот начал выпячиваться на худом теле, мышцы куда-то исчезли. Чем помочь себе, чтоб избежать участи этих людей? Единственный выход – физические нагрузки и движение. Но нагрузки не под силу из-за действия тизерцина, который полностью расслаблял мышцы, а для движения не было места. Как научиться воровать солнечные лучи? Как свести за короткие минуты прогулки прозрачную синеву с тела?

Ополоснувшись, я выскочил в раздевалку. Подойдя к окошку для выдачи белья, я был поражен. Несколько плохо оструганных гробов стояли в комнатухе за окном выдачи. Больной, разложив на них белье и сам почти вплотную прижатый ими к окну, вертелся, выдавая белье.

– Почему здесь гробы? Что их – хранить, что ли, негде? – спросил я его.

– Тут рядом морг, – он показал на дверь в стене.

Вот почему здесь так часто употребляется выражение «выписался через баню». Я догадывался, что оно значит: на тот свет, но что это так конкретно – я не думал.

Мне и еще одному парнишке поручили сделать уборку в бане.

– Только поживее! В раздевалке воду сметите и протрите, – торопил санитар.

Справившись, мы встали в ожидавший нас строй.

– Все здесь, – доложил санитар медсестре.

В отделении существовал строгий порядок в отношении заправки кроватей, за которым ревностно следили санитары

и сестры. Лежать на заправленной кровати категорически запрещалось. Хочешь лечь – раздевайся и разбирай постель. Но сидеть на незаправленной постели не разрешалось. При бесчисленном множестве команд приходилось по многу раз на день заправлять и разбирать кровать. Сидеть в палате было больше не на чем.

Перед самым обедом меня вызвали на свидание.

– Ведите его на свидание, только сначала переоденьте, – приказала сестра санитару.

– Ну-ка, покажись, брить тебя надо? – разглядывая меня, спросил санитар.

Вспомнив, во что мне обойдется это бритье, я счел за благо отказаться от этой затеи. Переодевшись в новый эковский костюм и натянув на стриженую голову лагерную кепку, я пошел на свое первое свидание.

Мне было интересно знать, увижу ли я брата, узнать, как у него обстоят дела с работой и «лечением». Погруженный в эти мысли, я в сопровождении санитары спустился к этим воротам, через которые мы с братом совсем недавно попали в эти психиатрические застенки. От свободы нас отделяли еще двое ворот. Как это мало и как бесконечно много!

Несколько больных в сопровождении своих санитаров стояли у ворот. Вышел мент с кипой бумаг в руках, сделал перекличку и повел в комнату свиданий. Мы вошли внутрь административного корпуса, и нас провели в небольшую узкую комнату. Всех усадили на длинной лавке под стеной в ожидании родственников. Два барьера, между которыми был довольно широкий проход, делил комнату свиданий на две части. По другую сторону барьера стояла скамья для посетителей. В проходе ходил мент в белом халате. Санитары уселись на лавке в конце прохода и о чем-то болтали.

Уселись вошедшие родственники, и завязался оживленный разговор. Мент в проходе следил за разговором и за тем, чтобы ничего не передавали из рук в руки. Вдобавок, за спинами посетителей стояла медсестра, которая тоже старалась не упустить ни слова из разговоров.

– Разговаривать только по-русски, – предупредил мент приехавших на свидание кавказцев.

Старые родители, приехавшие на свидание с сыном из далекого аула, слышали русскую речь, наверно, только по радио или при редких выездах в город. Теперь они вынуждены

были молчать. Они со страхом поглядывали на строгого «доктора» в белом халате, которого они смогли так разгневать своей непонятной для него речью. Молодой смуглый паренек, по-видимому, был младшим сыном своих пожилых родителей. На вид он выглядел очень больным. А может, это было от получаемых им лекарств. Он старался говорить с ними по-русски, сильно коверкая слова, так что его и русский не смог бы понять, не говоря о родителях-горцах. Они только молча глядели на него полными печали глазами, озираясь время от времени по сторонам, и робели, как дети, когда «доктор», прохаживаясь, останавливался возле них.

– Тише! Тише! Прекращу свидание, если будете так кричать. Разговаривайте спокойно, – перекрикивая шум, предупреждал мент, когда комнату заполнял сплошной шум человеческой речи. Но разговаривать спокойно можно было бы только в том случае, если бы говорили всего две пары, и то в разных концах комнаты. Каждый старался сказать хоть немного громче соседа, чтобы родные поняли его слова. Шум нарастал с каждой секундой, перерастая в сплошной гул, и это продолжалось, пока грозный голос мента не водворял временную тишину. Так проходил весь час, отведенный для свидания.

При всех этих недостатках у комнаты свиданий есть свое преимущество. В этом балагане в момент, когда шум голосов достигает своего апогея и мент уже не может толком понять, кто о чем говорит, ты можешь сказать буквально все, что считается непопозволенным, или узнать интересную новость. Желание ментов сделать условия свиданий как можно более жесткими и неудобными сослужило им же плохую службу.

Меня на свидание с родителями привели первого – Мишу приведут позднее. Мать с отцом сидели напротив, не зная, с чего начать разговор после такой разлуки. Тизерцин сильно утомлял меня, и все вопросы, которые я приготовил накануне свидания, совершенно вылетели из головы. Разговор начался с того, что родители сообщили мне новость, которая привела меня в еще большее отчаяние:

– Толик с Борисом находятся в Сыктывкаре – как там называется, на «химии», что ли? Толик работает шофером, Борис сейчас в колхозе на уборке картофеля. Пишет Борис, что устроился неплохо... – сказала мать, смотря на меня своими печальными глазами.

Дальше я уже ничего не мог расслышать.

Со свидания я шел разбитый. Значит, подельнички сейчас на «химии», без конвоя, считай на воле. А тут постоянно думай, как лгать психиатру и сестрам, чтобы убедить их, что ты выздоравливаешь, лгать так, чтобы и самому порой верить в собственную ложь.

А им этого не нужно. Они и представить себе не могут, какую беду мы себе уготовили. Счастливики! А тут жуй овес и запивай его лекарствами. Как эту новость воспримет брат?

До позднего вечера вспоминал я Петрозаводскую тюрьму, где мы были все когда-то вместе. Тюрьма вспоминалась сейчас в самых радужных тонах, и год, проведенный в ней, казался мне годом отдыха. Для Бориса и Анатолия тюрьма – наверняка самое мрачное место в их воспоминаниях, да и то канувшее в далекое прошлое. А здесь – только начало. Самое страшное начало – начало без конца.

Мысль о том, что ничего изменить нельзя, вызвала страшное отчаяние – крик, рвавшийся из глубины души, удалось удержать с невероятным трудом. Крепись, возьми себя в руки. Нельзя, чтобы твое истинное состояние видели сестры или врачи. Если заметят что-либо – решат, что возбуждился, а значит, нужна срочная «медицинская» помощь. Лечить и лечить! Вот тогда шприц и загуляет по твоему заду, тогда-то и будет по-настоящему невыносимо по сравнению с тем, что сейчас.

Крепись! Люди вынесли, и ты вынесешь, куда денешься, старался я как мог успокоить себя. Но легче от этого не стало.

Истоки

К 40-летию окончания 2-й мировой войны

Василь С о к и л

«НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ!»

Авторский перевод с украинского

Под такой рубрикой после окончания 2-й мировой войны в центральной советской прессе стали появляться очерки московского литератора Сергея Смирнова о подвигах неизвестных до тех пор людей, отважно действовавших в оккупированных гитлеровцами областях страны. А начало этим публикациям, насколько помню, положили очерки об отчаянно продолжительном сопротивлении окруженного немцами гарнизона Брестской крепости. Под пером литератора это героическое событие предстало в ярких деталях и живых образах солдат, не сдавшихся врагу и погибших со славой.

Читатели с большим интересом отнеслись к этим очеркам, а вместе с тем – с благодарностью к автору, сказавшему, что никто не останется забытым и ничто, достойное памяти народа, не будет забытым. Сразу же к литератору посыпались отовсюду письма с просьбами не оставить в неизвестности те или иные события времен войны. Среди обращавшихся к нему оказалось много живых участников партизанской борьбы, которые добивались установить правду, изобличить самозванцев, оградить от клеветников, оправдать не только забытых, но и невинно осужденных как изменников родины за то, что оставались в оккупации.

Нет сомнения, литератор взял на себя сложную задачу. Во многих случаях он не мог – точнее, не имел никакого права самостоятельно решать, – что именно не следует забывать и кто не должен быть забытым. Он не только пользовался секретными документами, но и руководствовался «указаниями и рекомендациями» соответствующих органов относительно

отбора событий, определения действующих лиц и характеристики их поведения. Ведь известно, как ошибся А. Фадеев со своей книгой о краснодонцах, написанной, как говорится, по горячим следам и, возможно, достоверно излагавшей юношеский порыв патриотически настроенной группы украинской молодежи донбасского городка, но действовавшей самостоятельно и (какой позор!) без партийного руководства...

Сергею Смирнову, вполне доверенному лицу, не пришлось, как Александру Фадееву, ни в чем каяться, так как люди и события, о которых он писал, предварительно были одобрены к печати.

Журналисты Украины вслед за Смирновым бросились на поиски своих героев. Помню, и в харьковских газетах стали появляться материалы под такой рубрикой. Увы, очень скоро была дана команда воздержаться от этой темы.

Опасность ее заключалась в том, что многое предлагалось забыть, еще больше невыгодно было вспоминать, а тем более воскрешать. Так, например, в число партизанских героев попала моя ученица по школе Майя Вовчик только потому, что в первые послевоенные месяцы при ослабленном контроле в газетах еще возможно было проскочить сквозь цензуру. О ней писали в центральной украинской прессе. Но как только бдительные органы обнаружили, что эта партизанка действовала не в системе запланированной партией программы – а к тому же оказалась дочерью политически сомнительной матери (жены украинского писателя и политического деятеля Василя Блакитного), – как сразу же о ней прекратились все публикации.

Еще драматичнее складывалась история с моим другом, в прошлом директором харьковского исторического музея Федором Сапьяном. Буквально перед самым началом войны он возвратился из сталинской ссылки, в которой отсидел пять лет за «буржуазный» украинский национализм. Не найдя в Харькове своей семьи, поехал в родное село на Днепропетровщине. Пришли немцы, и он организовал небольшой партизанский отряд. Через два года радостно встречал приход советской армии. Но СМЕРШ не поверил ему. По доносу действительных коллаборантов он был арестован... Но ему повезло. Оказалось, что независимо от него его жена была «законной» партизанкой, заброшенной в тыл немецкой армии со специальными заданиями, которые успешно выполняла до конца

войны. И в последние дни погибла героиня. О ее подвигах писали во многих газетах. И это послужило спасением для ее мужа...

А ко многим, которые не смогли оправдаться за пребывание в оккупации, – применили на «полную катушку» принцип «ничего не забыто». Мы, говорили, всё вспомним – никуда от нас не уйдете!

Так и с моим отцом поступили. Он не сумел уехать и остался в оккупации. Карательные органы в первые же дни прихода советской армии арестовали его. И всё ему вспомнили. Не то, что он, заслуженный учитель, и в условиях немецкой оккупации продолжал воспитывать патриотов своего народа, но не забыли его верности Украине, расцениваемую как диверсия, преступнее, чем служение оккупантам. Многое ему, очевидно, вспомнили в застенках СМЕРШа... Не был забыт его «буржуазный национализм».

И погиб он, замученный в днепропетровской тюрьме.
Этого никогда нельзя забыть!

Литераторы смированы о таком не писали. Не писали и о тех, кто погиб в немецком плену. Ни слова не сказали о тех, кому посчастливилось выжить в фашистской неволе, но кого лишили человеческого права возвратиться домой и вместе со всеми радоваться счастью победы.

Да, день победы был большим праздником. Конец страшной, кровавой войне! Солдат возвращался домой! С музыкой, радостью, со славой и надеждами!

Возвращались с войны! Одни – с орденами на всю грудь, другие – с единственной, но самой дорогой медалью «За отвагу». Возвращались одни с большими награбленными в покоренной Германии трофеями, а другие – с полупустым заплечным мешком. Но все рады и счастливы живыми возвратиться к родному дому, к семье. Если, конечно, уцелели они, семья и дом...

Возвращались с войны...

Покалеченные, изуродованные – без рук, без ног. (У этих в самом деле не оказалось ни дома, ни семьи. Немного нашлось верных жен, принявших к себе мужа-калеку. О них писали трогательные очерки. Но в большинстве случаев приходилось клеймить позором бездушных эгоисток, выгонявших из дому безногих победителей.)

Сколько их, несчастных, было на улицах, базарах, в пригородных поездах, на вокзалах! На костылях, на самодельных повозках с «ручным мотором» – руками, отталкивающимися от тротуара; некоторые вооруженные увесистыми палками – как оружием в борьбе за существование. Ходили они среди людей, выставляя напоказ свое увечье и ордена, открыто и громогласно выражая возмущение и злость на всех и всё: «За что кровь проливали? Чтоб теперь руку протягивать – Христа ради подайте орденосцу – герою войны?»

Каждый день с утра до поздней ночи можно было слышать в вагонах пригородных поездов выступления самодеятельных ансамблей и одиночек, старавшихся жалостными песнями-сказками тронуть сердца пассажиров. Это был действительно искренний фольклор о несчастной судьбе человека, которому на войне удалось сберечь жизнь, а в жизни всё потерять. Ни хаты, ни в хате. Ни семьи, ни здоровья, ни надежд. И человеческое достоинство теряешь. Ходишь вот с протянутой рукой, милостыню выпрашиваешь...

Особенно горько зарабатывали свой хлеб насущный слепые и безрукие...

Немало было и агрессивных инвалидов войны. Они злость свою обрушивали на живых, здоровых и благодушных, словно те были виновниками их беды. Эти не унижались до нищенствования, не стояли с просящей рукой, а властно требовали денег у встречных «начальничков и пузатых буржуев», угрожая костылем или дубиной. Вокруг таких орденосцев собирались группы мальчишек, явно сочувствующих смелым героям войны. Зачастую эти юнцы с готовностью становились помощниками-«солдатами», выполняя всякие поручения «командиров». На базарах воровали продукты у торговков, учились деньги у прохожих вытаскивать.

В таком поведении калек – инвалидов войны, обычно одиноких, бездомных, в сконцентрированном виде проявилось всеобщее разочарование людей, ожидавших изменений к лучшему после окончания войны. Сколько она горя и страданий принесла! Какую жертвенность проявил народ, в душе тая надежду, что, когда победит лютого врага, жить станет легче, свободней! Побежден фашист! Восторжествует страна светлого будущего! Так радуйся, веселись, свободный народ!

Настоящей радости хватило только на первые несколько дней праздника Победы, когда все, без различия чинов и по-

ложения, танцевали на площадях, улицах, пели, улыбались, радовались, счастливые как никогда!

Очень быстро закончился праздник.

Еще быстрее все вошло в обычную будничную колею.

Громадные материальные потери за годы войны легли тяжелым бременем на победителей, которым предстояло восстановить разрушенное, производить необходимое для трудовой деятельности, наладить хозяйство страны. На этом фронте народ действовал дружно и самоотверженно. В эти дни и месяцы убедительно проявилось единство людей в восстановлении городов, заводов, транспорта, производства продуктов питания. В этот самый яркий период жизни народ не ожидал «руководства» партии, без указаний которой раньше будто даже солнце не всходило. Без «мобилизаций», без принуждения люди приходили расчищать руины заводов, приближая день пуска цехов. В этом выразилась потребность рабочего трудиться у станка, а хлебороба – на земле. Как бы ни была сложна задача восстановления нормальных условий жизни, она решалась людьми с полной отдачей и с чувством убежденности, что все это делается для них же самих, для народа. Поэтому, мол, не следует жаловаться на нехватку продуктов, на неустроенность, на неполадки. Всё это временные явления, их нужно преодолеть общими усилиями...

Тем временем государственный и партийный аппарат укреплялся и утверждался в своем былом величии. Быстрее, чем хозяйство, восстанавливались и усиливались старые, проверенные опытом прошлого методы руководства, вырабатывались и новые, более эффективные формы управления народом. Дабы не давать волю людям, стали появляться строгие правила трудовой дисциплины, общественного поведения населения. Бюрократическое сооружение начинало все сильнее давить на людей, которым так хотелось вздохнуть полной грудью.

Везде стал утверждаться «порядок». Еще какое-то время власти не знали, каким образом привести к порядку инвалидов – калек отечественной войны. Дать им приют, накормить, одеть, утешить, обнадежить? Есть важней задачи, пусть подождут... Но вскоре эти несчастные герои победоносной войны оказались весьма опасными возмутителями бюрократического спокойствия, не желающими подчиниться милицейским правилам и протестующими против безразличия к их судьбе.

Им, по существу, нечего было бояться. Они чувствовали себя лишенными всего, забытыми, обездоленными. О них журналисты остерегались писать, а если и упоминали, то в большей степени как о нарушителях порядка...

И в один, как говорится, прекрасный день на улицах города не осталось ни одного калеки – победителя фашистов. Они требовали свое – и получили! Были бездомными, брошенными – их бросили в дома навечно. Слухи пошли: создали все условия для полного исчезновения! Проблема была решена...

А с войны еще долго возвращались солдаты. По демобилизации. Живые, счастливые. С наградами. Со славой. И встречали их с почестями: солдат возвращался с войны!

Не все солдаты возвращались. Никогда, нигде ни слова не было произнесено о многих. Слово и не было их...

Не возвращались солдаты из плена. Не удостоены они были радости победы, не заслужили. Заслужили они, по злодейскому закону Сталина, позорное имя изменников родины. Предателем был назван солдат безоружной армии, предательски брошенной верховным командованием на позор и страдания. Оказалось, суждено было ему вынести все муки в гитлеровских концлагерях, чтобы за это сразу же быть отправленным в сибирские лагеря.

Только за то, что не погиб от фашистов.

Нет, об этом не писали. И никогда никакие смиренные не напишут о них. Не было, не существовало таких, чтоб возвращались из плена. Говорили – пропал без вести...

Одиночкам как-то повезло. Мне пришлось встретиться – нет, настоящей встречи не было и быть не могло, – просто случайно удалось узнать о двух хорошо знакомых мне еще до войны людях.

Один из них – талантливейший украинский поэт Василь Мысык. О его пребывании в плену стало известно значительно позже. Да и встретились мы через несколько лет после окончания войны: долгое время ему не было дано чувствовать себя полноправным. Перед самой войной он был выпущен из беломорских лагерей, осужденный по свирепому процессу группы украинской интеллигенции сразу после убийства Кирова зимой в 1934 году, по приговору которого были расстреляны в числе других семь писателей. Мысыка по счастливому стечению обстоятельств пощадили и отправили в север-

ные лагеря. Отбыл положенный срок, возвратился домой в родное село и с ходу был мобилизован в армию. В первые разгромные месяцы попал в плен. Выжил, из немецкого лагеря перед приходом советской армии удалось бежать, и возвратился домой. Нигде, никому не признавался о плене. Это его спасло.

История другого пленного носила несколько странный характер. Возвратился поэт Игорь Муратов с войны как будто по демобилизации. Но через некоторое время выяснилось, что он был в окружении, каким-то образом вырвался из него и оказался по ту сторону фронта, но в немецкий лагерь военнопленных не попал, а стал батраком у богатого немца. Сколько он пробыл у него, неизвестно. Потом новая легенда утверждала, будто он ушел от немца и примкнул к польским партизанам. Возможно, всю историю сочинил сам Муратов. Благодаря этому ему удалось пройти проверку СМЕРШа и все контрольные этапы. Вероятно, он сумел не только оградить себя от наказаний, но и заслужить доверие органов.

Доказательством этого было то, что через пару лет стало известно, что Игорь Муратов служит в оккупационных войсках и находится в Берлине. А еще через некоторое время, появившись в Харькове, с гордостью оповестил, что является ответственным редактором газеты «За возвращение на родину». Не скрывал того, что газета является органом одноименного комитета, возглавлявшегося в те годы генералом КГБ Михайловым.

Без сомнения, редактор Муратов верно служил начальству: был награжден боевым орденом. Видно, многим он «помог» возвратиться из немецкой неволи на родину... В Сибирь или на Колыму.

Третья встреча с бывшим пленным произошла в середине пятидесятых годов. И совершенно случайно, хотя дальнейшее развитие ее приобрело широкую известность.

Однажды моя жена передала просьбу ночного сторожа театра, в котором она работала, встретиться со мной, сотрудником областной газеты. В ближайший свободный вечер я пошел в театр. За кулисами (в это время шел спектакль) в антракте я познакомился с этим, казалось, одним из обычных жалобщиков, так много встречавшихся мне.

В кресле под настенным телефоном и пожарным сигналом сидел грузный пожилой мужчина в теплой не по сезону

стёганке и в таких же ватных чунях на ногах. Поздоровались. Назвался – Бакаев Михаил. Спрашиваю, в чем дело, какова просьба. Как-то робко, с недоверием взглянул на меня и тихо начал:

– Инвалид я, ноги у меня болят, живу в сыром подвале... Сколько ни пишу, прошу самую малую комнатёнку – один ответ: много таких, становитесь в очередь... Говорю, давно стою. Только, видите, ноги не стоят...

«Обычная проблема, – подумал я. – Нехватка жилья».

Расспрашиваю:

– Какой инвалид? Военный, раненый, или что иное?

Помолчал мой собеседник.

– Вроде с войны, – неохотно продолжал, – но не раненый...

– Все-таки, что случилось?

Почти шепотом ответил:

– Я был в плену...

– И там пострадали? А вам теперь не дают необходимой помощи?

– Может, поэтому и не дают...

Мы просидели весь спектакль «Веселой вдовы», в течение которого Михаил Бакаев рассказал совсем невеселую историю.

– Было мне шестнадцать лет, когда началась война. Мы жили в Крыму. Отец мой, татарин, имел небольшую плантацию табака... Может, помните, месаксуди?... Был такой знаменитый сорт...

Будто ножом полоснуло меня по сердцу! Татары, Крым, табак...

В мгновение я почувствовал в своей руке папушу табачных листьев, выменянную на кусок хлеба в далекой казахстанской степи в жгучее лето 1944 года...

Вспомнилось в мельчайших деталях, как мы, группа работников харьковского театра музкомедии, после трехлетних скитаний по городам Средней Азии возвращались домой, в освобожденный от гитлеровцев Харьков...

Пустынная знойная степь и крутые ветры... День за днем еле-еле тянется наш поезд по однопутному пути, подолгу простаивая на станциях, пропуская более важные составы. Челкар, Берчогур, Эмба, Джурун, Кандагач, Алга... Речка Илек...

Илек... Здесь был Тарас Шевченко, поэт-невольник...
Слышится его мучительная тоска:

Тиняючись на чужині
Понад Ілеком, стрів я діда
Вельми старого – наш земляк
І недомучений варнак
Старий той був...
Згадав свою Волинь святую
І волю-долю молодую...

...На глухом переезде в каракумской пустыне долго мы стояли, ожидая встречный поезд. А он, словно не желая прибывать, никак не появлялся. Наконец показался товарный состав, медленно двигаясь, будто с большим и тяжелым грузом. Рядом с нашим поездом остановился. Рыжие деревянные вагоны с плотно задвинутыми дверьми свидетельствовали о важности груза. Никто не обратил внимания на состав, ожидая отправления нашего поезда. Неожиданно я обратил внимание, как из верхнего окошка высунулась рука с пучком желтой травы и послышался голос: «Хлеба!..» Я выбежал из вагона, приблизился к окошку и увидел в зажатой руке не траву, а папушу табака. Окликнул – мол, давай, покажи табак, дам хлеба... Дверь вагона чуть-чуть раздвинулась, и в проеме увидел я старого изможденного человека с протянутым пучком табачных листьев. А за ним смутно виднелась кучка почти голых детей, испуганно выглядывающих из вагона. Растерянный, я спросил: «Что случилось? Что за люди?» Тот раздраженно бросил: «Бери табак, давай хлеба!» – «А сколько просишь?» – «Сколько дашь, только скорей, поезд уйдет!» – еще резче оборвал меня. Бросился я в вагон, схватил полбуханки, возвращаясь, вижу в руках того человека уже две папуши. Мелькнула мысль: мало даю за такое богатство, но тот, увидев хлеб, еле не вырвал у меня его из рук, поспешно отдав табак. Поезда наши все еще стояли, и я еще раз спросил: «Куда едете?» Мужчина помрачнел и отрывисто промолвил: «Куда привезут...» – «А откуда вы?» – «Ты что, газет не читал? – со злостью ответил. – Из Крыма, татары мы». – «Весь этот состав?» – недоумевал я, тогда еще не зная трагедии народа. «И не один такой... Всех вывезли, ничего не дали с собой взять. Нет теперь нас, татар, в Крыму...»

Послышался гудок паровоза, и поезд с невольниками двинулся на восток... Медленно проходили вагоны, из чуть приоткрытых дверей теплушек смотрели на нас старые женщины, девушки, дети, седые деды.

Долго смотрел я вслед длинному поезду, в котором увозили в ссылку, в казахстанскую пустыню, целый народ.

Весь народ был назван изменником! Целый народ, трудолюбивый, мирный, честный, был осужден на гибель! Чем же Гитлер хуже, истреблявший неугодные ему народы?!

Невольничий поезд уходил все дальше и дальше в зыбкую даль, постепенно растворяясь в пыльном море. А я стоял и чувствовал, как в моей руке запекла жгучим огнем папуша табака, вероятно, единственная ценность, которую успели схватить с собой несчастные, когда их выгоняли из родных хат и бросали в грузовики. А теперь табак должен был спасти их от голодной смерти...

Наш поезд двинулся дальше на запад. Медленным, похоронным ходом... В вагоне у многих видны были золотистые листья крымского табака. Но не слышно было разговоров об этой встрече, молчали, одни не представляя, не понимая, другие – боясь затрагивать опасную тему.

Кое-кто хвалил табак.

Это был чудесный, известный на весь мир месаксуди...

Воспоминание о встрече в казахстанской степи вмиг прошло перед моими глазами. Может быть, там был отец Михаила Бакаева?..

– Говори, говори дальше! – попросил я его.

– Война, – продолжал он, – началась, а я по возрасту еще не мог идти на фронт. Но я был азартный и решительный, не мог утерпеть, видя своих старших друзей, мобилизованных в армию, и в первый месяц ушел добровольцем бить фашистов. Не повезло, не удалось как следует повоевать. Под Запорожьем попал в плен. Не буду рассказывать – длинная и тяжелая выпала судьба по лагерям. Куда только ни бросало... В конце концов очутился в лагере военнопленных в северной Италии – меня итальянцы взяли в плен. Условия были сносными – говорили, у немцев пострашнее, а здесь терпимо: хотя гоняли на тяжелые работы, но кормили... Думал, переживу, тем более легче себя почувствовал, когда нашлись земляки – татары из Крыма. Вообще много собралось там национальностей. Лагерное начальство не возражало против землячеств –

были украинские, грузинские, русские. Однажды собрали нас, татар, и перед нами выступил тоже татарин – раньше я его среди пленных не видал, – и начал агитировать против советской власти и вступать в татарский батальон. Обещали свободу. А не желающим воевать против советской власти пригрозили строгим режимом. Как услышал я, к чему меня принуждают, решил бежать из лагеря. Конечно, тайно, никому не говоря, даже друзьям, начал обдумывать побег, разведывал местность. Нас водили на работы в горы, и там я услышал, что где-то в лесах действуют партизаны. Нам приказали особенно их остерегаться. А мне это послужило подсказкой. Если, действительно, в здешних лесах партизаны – так я их должен найти! Конвой у нас был слабенький, никто не предполагал, что кто-нибудь из нас осмелится уйти. А я осмелился. Ночевали мы в лесу, была ранняя весна, но теплая. Перед рассветом я и ушел... Бежал несколько километров по горным тропинкам (ноги тогда у меня были что надо!), наконец набрел на небольшой поселочек. Опять повезло – ведь могли выдать, но, оказалось, там находился отряд итальянских партизан...

– Об этом вы кому-нибудь здесь говорили? – перебил я его.

– Погодите, не спешите, – мрачно отозвался Михаил. – Важные обстоятельства впереди... Об итальянцах подробно только сейчас вам рассказываю. Раньше лучше было молчать. Ничем не мог я доказать участие в партизанах, никаких документов у меня не было. Но вас прошу, поверьте, все, что говорю, – правда, чистая правда, без выдумки. Не буду хвалиться геройством и подвигами, не в этом дело, но, конечно, многое случилось за те годы в горах Италии...

Он умолк, задумавшись. Потом, искоса взглянув на меня, извиняющимся тоном продолжал:

– Я у них имел полное доверие. Делом заслужил его. И все мы были как одна семья. Да и вся партизанская группа состояла из людей одной местности, друг друга все знали. А я считался восьмым сыном отряда, в котором были отец и семь его сыновей. О нем, о командире и его сыновьях, когда-нибудь еще расскажу, сейчас тяжело вспоминать... В одном бою только нас двое осталось в живых. Я и командир Карло. Семеро сыновей, моих побратимов, погибли... О них, говорят, после войны много писали итальянские газеты...

Словно предупреждая мой вопрос, Михаил поспешно заговорил:

– Нет, не обо мне, я не был таким героем, чтоб про меня в газетах писали. И вы, пожалуйста, об этом ничего не пишите. Не был я героем, ни вообще человеком, достойным доброго слова. Я был всего-навсего пленным.

– Но ведь войну вы закончили совсем не как военнопленный!

– Да, – продолжал Михаил, – война закончилась. Я снова оказался в лагере военнопленных, собранных для отправки домой. Какая радость! Мы свободны! Возвращаемся домой! На родину! К родным краям! Ура! Родина зовет! Понаехало к нам в лагерь множество агитаторов из политотделов, призывают, агитируют... Да зачем она нам, агитация, – после таких скитаний и страданий? Все мы с чистым сердцем рвемся к своим родным, к семьям! И вот пришел памятный день. Настроение праздничное. Помню до сих пор советский пароход с серпом и молотом на трубе, разукрашенный флагами, – гремят оркестры, льются наши победные марши и любимые песни, неслыханное, невиданное торжество в душе – конец войны! Мы возвращаемся домой, на Родину!.. Переполненный пароход медленно отчаливает от берегов Италии. «Прощай! – кричу, – родная моя Италия! За эти годы ты мне стала дорогой! Прощай! Ариведерчи!» Люди с берега машут руками. Всматриваюсь, ищу моего партизанского отца. Вечно буду помнить тебя. Ты любил меня как своих родных сыновей! Будь счастлив! Дай Боже, может, встретимся...

Вздыхнул Михаил и продолжал:

– Исчезли итальянские берега, перед нами открылось безбрежное море, и на пароходе воцарилась тишина. Неужели закончился праздник? Нет, не думаю, еще будут встречать. С оркестрами, цветами, торжественными речами... Увы, не было музыки. Не слышно было оркестров. И цветов, и приветствий не было...

Закончился второй акт «Веселой вдовы». В антракте Михаила кто-то из администрации театра позвал, и мне было видно, как он еле-еле поднялся, но помощи моей не принял, даже обиделся: не такой уж я, сказал, калека, сам пойду, ведь на службе я, иначе какой же из меня сторож, – горько улыбнулся...

Начался последний акт спектакля. Михаил продолжал:

– Поздним вечером как-то незаметно, крадучись, тихо причалил наш пароход у какого-то отдаленного пирса одесского порта. Выстроили нас на палубе и приказали сходить с парохода. Сошли на родную землю, которую хотелось поцеловать, – наконец я с тобой, Одесса, а совсем недалеко мой родной Крым!.. Нет, не дали стать на колени и поцеловать родную землю. Здесь же, на берегу, нас ожидал вооруженный конвой. Всех окружили и погнали быстрым шагом в сторону железнодорожных путей. Вот так нас встретила Родина... Не с раскрытыми объятиями... А с открытыми дверьми тюремных эшелонов...

Михаил опять умолк и настороженно взглянул на меня.

– Извините, – сказал, – может, я напрасно так подробно рассказываю... Но уж начал, все скажу.

– Не волнуйтесь, – успокаивал я его.

– Остановился наш поезд где-то в конце дня на подъездных путях к какой-то шахте в Донбассе. Посадили на военные грузовики и отвезли в полуразрушенные бараки. Потом... Долго об этом рассказывать. Всё как в кошмарном сне. Всех нас, «героев отечественной войны», бросили буквально в яму. На восстановление затопленных шахт. Сказали, искупите вину. Какую? За что? За муки в плену? Я попытался бунтовать: «Я убежал из лагеря военнопленных, ушел к партизанам, воевал за родину...» Только усмеваются: мол, заливай, заливай!.. Лучше помолчи, чтоб на Колыму не попал! Молчу, повинуюсь, некуда убежать... Хоть, оказалось, и здесь та же, наверно, Колыма.

Он говорил с большим трудом, иногда распаяясь и сразу же обрывая, сдерживая себя от волнения.

– Работа была адская. Выкачивали воду из шахт. Говорили, что фашисты, отступая, это сделали. Только я слышал, наоборот, наши затопили шахты, чтоб фашистам не достался уголь. Не знаю точно, но нам объясняли, что это вредительство немцев. А раз, по-ихнему, мы в плену служили гитлеровцам, теперь обязаны расплачиваться за все... Вот и расплачивались, искупали, значит, вину свою целый день, стоя в воде по колена. Насосы слабые, шланги дырявые – такое, хоть ведрами выплескивай. В общем счете почти десять лет вот так плескались... Там и заболел на ноги. Здоровье у меня вообще крепкое было, не пропал, выдержал, – только с ногами дело

плохо. Когда начальство увидало, что не могу по-человечески ходить, освободили. Правда, это уже было после Сталина, когда началась реабилитация. Не то, что мне простили плен, а просто сказали: иди, ты свободен... А как идти, если ноги не носят? Ну, раз свободен, начал я ходить по всяким учреждениям – райисполкомам, собесам, комиссиям, – доказывать, что я инвалид труда. Спрашивают, какого труда? Объясняю и говорю: разве это не был труд, да еще каторжный? – «А это вы, – улыбаются, – сами заработали». – «Да я же, – доказываю, – полностью его отработал и поэтому имею все права на помощь. Ведь много не прошу, какую-нибудь пенсию, инвалидную коляску и квартирку, лишь бы сухую, а то живу в мокром подвале, сын родился как раз...» Говорят, пишите заявление. Только не на всё сразу – или на пенсию, или на квартиру. А насчет коляски, говорят, пока и не заикайтесь, много вас, на всех не напасемся, лучше сами смастерите – все инвалиды так и делают: собирают по частям, клепают, мастерят, – и езжайте, будь здоров!.. Словом, издеваются. Но заявление написал. Не одно, а несколько, но всё как об стенку горох, – ни ответа, ни привета... Вот так месяц за месяцем и годы проходят. Спасибо, взяли сюда на работу. Невелики будто хлопоты: после спектакля обойти, проверить, заперты ли все двери, сесть возле телефона, в случае чего – звони. Но беда: не то что ходить – сидеть трудно, ломят ноги, ноют, жилы выкручивают. Мне бы хоть любое лекарство. Да куда там! Вам, говорят, никакие пилюли не помогут, вам грязи нужны для ног. Ладно, – шучу, – сколько лет в воде пробыл – согласен и на грязи, лишь бы дали... Но кто даст путевку? Знаю, есть Одесса и Мацеста. И в Крыму у нас, в Саках, есть лечебные грязи... Но туда дорога таким, как я, закрыта...

Мне в то время уже была известна трагическая судьба крымских татар. Я не стал спрашивать Михаила о его родных. Наверно, их не было в живых. В тот 1944 год, когда он отважно воевал в рядах бойцов итальянского Сопротивления, его родителей везли в невольничьем поезде в казахстанскую ссылку...

Я взялся помочь Михаилу. Написал статью о нем, ее напечатали, вычеркнув, правда, все об Италии как бездоказательный факт, но все же газета поддержала просьбу инвалида труда. В самом деле, через пару месяцев Михаил Бакаев получил инвалидную коляску на основе велосипеда с ручной передачей.

Относительно пенсии вопрос никак не мог решиться : никто не осмеливался засчитать в трудовой стаж почти десятилетнюю каторгу. Но Михаил был и коляске рад, как ребенок. Говорил, что и на квартиру есть надежда, поставили на очередь... А пока обещают сделать ремонт в его подвале. И то хорошо...

Кажется, в 1965 году в Харьков в связи с годовщиной Победы прибыла итальянская делегация ветеранов Сопротивления. Зашли в театр музыкальной комедии и пожелали встретиться с Михаилом Бакаевым.

Жена рассказывала, что это событие вызвало у дирекции невероятный переполох. Иностранцы пришли без предупреждения и без согласования с соответствующими органами! Что за люди и что им нужно от ночного сторожа? Да и нет его, он недавно уволился с работы по состоянию здоровья. И зачем он вам?

Делегаты объяснили: они прибыли по поручению итальянского правительства вручить участнику Сопротивления Бакаеву Михаилу присужденный ему орден. Гром среди ясного неба! Орден герою итальянского Сопротивления! Где Бакаев? Что делать? Куда вести делегатов? В мокрый подвал? Вы с ума сошли! Ни в коем случае! – несется команда из обкома. – Немедленно предоставить квартиру Бакаеву! Обставить мебелью! Немедленно перевезти семью! Какой позор! Герой отечественной войны живет в мокром подвале! Кто виноват? Найти, наказать...

Пока выделяли квартиру, приказали встречу делегатов с Бакаевым провести в театре. На высшем уровне! Будут вручать высокую награду герою Сопротивления! Никто у нас не забыт! Ничто не забыто!..

Теперь прозвучали поздравления и торжественные речи даже от имени городских организаций. Театральный оркестр сыграл туш. Итальянские делегаты рассказывали о том, что им долго пришлось разыскивать синьора Мики Черви, славного бойца партизанского отряда Карло Черви, и наконец нашли его под именем Михаила Бакаева здесь, в Харькове.

Вот он сидит на сцене театра, растерянный, взволнованный, и все, радостно пораженные, смотрят на него, словно впервые видят... Впервые увидели настоящего Михаила Бакаева, о котором никто главного в его жизни не знал. А теперь услышали, что вся прогрессивная Италия чувствует его как национального героя – восьмого сына легендарного ко-

мандира партизанского отряда Карло Черви, отца семерых сыновей, павших смертью храбрых в бою с фашистами.

Я смотрел на него со смешанным чувством гордости и горести, зная, что в «самой гуманной стране передового социализма» он прошел каторжный путь в залитых водой штреках угольных шахт, потерял здоровье, не имел права называться человеком, лишенный малейших надежд на элементарно необходимые условия нормальной жизни, фактически забытый, обреченный на полное забвение. И вдруг – буквально начал воскресать! Чувствовать, как к нему возвращается человеческое достоинство. Видеть признание заслуг!

В тот вечер, когда я с ним десять лет тому назад впервые встретился за кулисами театра, передо мной в кресле сидел старик, мрачный, угрюмый, с потухшими глазами. А ведь в то время ему было всего немногим больше тридцати лет...

Что, действительно, нужно человеку? Немного. Чтоб его считали человеком. А не скотиной. Каждый заслужил это признание. А если, к тому же, у человека есть заслуги?.. Кому позволено унижать человека?

Что, собственно говоря, нужно было Михаилу Бакаеву? Совсем немного – почувствовать себя нормальным человеком в обществе. Он и получил это. Но по какому случайному счастью?! Не было бы этих итальянцев...

Получил он настоящую автомашину с ручным управлением. Кажется, бесплатно. А возможно, итальянцы заплатили. За пару дней оформили пенсию как инвалиду труда и через неделю переселили из подвала в двухкомнатную квартиру.

Кстати, по соседству, в нашем новом жилищном микрорайоне на Павловом Поле.

Мы часто с ним виделись, радовались его прекрасному настроению. Он даже начал понемногу ходить. Обещали дать путевку в Мацесту. Говорил, что никогда в жизни не бывал на курортах...

Почти месяц можно было читать не только в областных, но и в центральных газетах материалы об этой истории. Конечно же, в них не нашлось ни слова о каторжных годах в затопленных шахтах пленного Михаила Бакаева...

А заголовки публикаций звучали торжественно:

«Никто не забыт, ничто не забыто...»

Искусство

Александр Г л е з е р

РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ В ПАРИЖЕ

Для галереи в Париже, где их сотни, один год – возраст младенческий. Как говорят специалисты, минимум требуется три-четыре года для того, чтобы ее только узнали, чтобы у нее появились какие-то первые постоянные покупатели, чтобы стало ясно, на что может рассчитывать и сама галерея, и работающие с нею художники. Так стоит ли сейчас говорить об этой довольно необычной галерее, возникшей год назад в Париже? «А чем, собственно, она такая уж необычная? – скажут скептики. – Русская? Да разве мало других русских галерей: вот, пожалуйста, уже десять лет существует галерея Нахамкина, в Париже несколько лет работает галерея Басмаджана. А были еще совсем недавно, да закрылись, галереи «Москва-Петербург», в Нью-Йорке «ТАТ-галери». И где-то в Питсбурге русская галерея функционирует».

Все верно. И все-таки «Галерея Мари-Терез», открывшаяся в марте 1984 года, – галерея необычная. Прежде всего, впервые русскую галерею создали не эмигранты из СССР, никаких контактов на Западе не имеющие, а парижанка, из старинного французского рода. Во-вторых, впервые русскую галерею открыл человек профессиональный, связанный с изобразительным искусством, более того, искусствовед по образованию. В-третьих, большинство русских галерей либо стремилось только к тому, чтобы заработать, к коммерческому успеху, причем, как правило, к успеху быстрому – сегодня купить, завтра втридорога продать, – а это неизбежно сказывалось на качестве «товара», то есть галереи превращались в магазины; либо ни о каком успехе вообще не думали: другой бизнес приносил прибыль, а наличие галереи, которая не окупалась, позволяло хозяину уменьшать налоговую сумму с основного источника доходов. По этим-то причинам даже русские галереи, существующие по многу лет, ни одному художнику имени не сделали. А ведь именно в этом издавна

заклучалась роль галереи и галерейщика. Открывать таланты, верить в них и продвигать их. Трудно сейчас сказать, сумеет ли «Галерея Мари-Терез» добиться признания для тех художников, в которых хозяйка галереи верит, но как раз такую задачу поставила перед собой Мари-Терез де Фарас, и первый год существования галереи показал серьезность ее намерений, последовательность в ее работе, верность Мари-Терез де Фарас своим словам, сказанным еще до открытия галереи.

Она тогда говорила журналистам: «Я открываю галерею не для того, чтобы заработать деньги. Естественно, галерея должна продавать картины, это важно и для художника, но продавать не любой ценой. Прежде всего, качество, никакой уступки коммерческим подделкам. Я знаю, что среди русских художников, оказавшихся на Западе, немало талантливых мастеров, и я хотела бы им помочь. И, конечно, я хотела бы помочь и тем, кто остался в России, в Москве и Ленинграде. Это трудно, но я все-таки надеюсь, что каким-то образом галерея сумеет получать картины и оттуда».

Может возникнуть вопрос: «Откуда, собственно говоря, у француженки такой интерес к русским художникам?» Что же, она этого не скрывает: интерес у нее не только к русским художникам, но и к русской литературе, и к русской культуре вообще. В роду Мари-Терез де Фарас были разные люди, один ее дед подарил Парижу госпиталь, другой – был меценатом, поддерживал художников. Отец ее, морской офицер, до революции несколько лет жил в Петербурге, написал даже книжку «Донские казаки», полюбил Россию, выучил русский язык и захотел, чтобы его единственная дочь тоже его выучила. В 1973 году, будучи студенткой Женевского университета, Мари-Терез де Фарас впервые увидела работы русских художников нонконформистов на выставке в музее Гренобля. А еще через год она прочла о «бульдозерном побоище» в Москве. И тогда-то у нее зародилась мысль о галерее, мысль о том, чтобы помочь русским художникам, которых преследуют на родине. Но эта мысль смогла воплотиться в дело лишь после возвращения Мари-Терез де Фарас в Париж. В 1982-1983 годах она побывала у многих русских художников в Париже, посмотрела собрание сначала Монжеронского музея современного русского искусства в изгнании, а затем одноименного музея в США, в Джерси-Сити. Тогда же она побывала в мастерских

целого ряда русских художников-эмигрантов, обосновавшихся в Нью-Йорке. В общем, к началу прошлого года ей было уже примерно ясно, с кем из живописцев и графиков она хочет и сможет сотрудничать.

Нужно сказать, что место для русской галереи в Париже Мари-Терез выбрала великолепное: в Латинском квартале, прямо рядом с Нотр-Дам. И очень важно, что она не сняла помещение, а приобрела его. Это важно потому, что если хозяин галереи должен ежемесячно платить за помещение, то в голове у него волей-неволей все время вертится: продавать, продавать, продавать. Продавать любой ценой. А это, увы, как я уже сказал, сразу превращает галерею в магазин. О такой галерее ни один серьезный журналист, не говоря уже об искусствоведе, не напишет. А если нет статей, то имя художникам не сделаешь. Одни платные объявления – не помогут. А о «Галерее Мари-Терез» во французской прессе – и в специальных журналах, и в газетах – писалось не раз, появилась статья и в Швейцарии, сообщило о ней и французское телевидение. Поверьте, за год работы это много, очень много. Благодаря статьям, скажем, в «Фигаро», о галерее узнали за пределами Парижа. Приехали коллекционеры из Западной Германии и приобрели картины. Более того, Дом культуры в городе Мобильяр, неподалеку от границы со Швейцарией, организовал там выставку совместно с «Галереей Мари-Терез», а нынешним летом русская выставка, организованная «Галереей Мари-Терез» и американской галереей, состоялась и в Нью-Йорке.

За неполный год работы (июль и август – практически мертвые месяцы) «Галерея Мари-Терез» провела в своих стенах десять экспозиций, в том числе шесть персональных: москвича Вячеслава Сысоева, находившегося в то время в лагере, парижан Оскара и Александра Рабиных, нью-йоркцев Владимира Пинчевского, Владимира Григоровича и Виталия Длугия. В групповых же выставках, наряду с работами этих художников, демонстрировались произведения эмигрантов Михаила Шемякина, Владимира Титова, Валентины Шапиро, Наталии Якуниной, Леонида Лермана, Вячеслава Савельева, картины и рисунки ленинградца Владимира Овчинникова, москвича Владимира Немухина и умершего несколько лет назад в Москве Владимира Пятницкого. Причем многих художников «Галерея Мари-Терез» показала парижанам впер-

вые, и французские искусствоведы и любители живописи восприняли их творчество с большим интересом. Немаловажно также и то, что для каждой персональной выставки галерея печатает цветные, размером с почтовую открытку, приглашения, при этом половина тиража выпускается без какого-либо текста – просто почтовая открытка с репродукцией работы, скажем, Пинчевского или Григоровича. А это тоже способствует тому, что художников узнают, ибо такие открытки охотно приобретаются теми любителями живописи, которые еще не в состоянии приобретать картины. К первым трем выставкам, чтобы о галерее узнали, Мари-Терез де Фарас печатала и афиши, а к персональным выставкам Оскара Рабина и Вячеслава Сысоева вышли в свет даже каталоги.

«Ну, хорошо, хорошо, – снова заворчат скептики. – Выставки, пресса, интерес... А покупают ли картины?» Ничего не поделаешь, придется их разочаровать – покупают. Французские, американские, западногерманские коллекционеры уже приобрели в «Галерее Мари-Терез» пять работ Оскара Рабина, четыре – Леонида Пинчевского, четыре – Александра Рабина, две – Владимира Немухина, две – Владимира Григоровича, одну – Михаила Шемякина и одну – Валентины Кропивницкой. Учитывая не очень-то низкие цены галереи, и молодость ее, и неизвестность большинства художников, да еще и экономически трудную ситуацию во Франции, это очень неплохой, даже скажем – хороший итог для первого года работы. Недаром же так не нравится советским товарищам эта галерея. Плохо бы шли дела – не продавались бы картины, не писала бы о галерее пресса, глядишь, какая-нибудь «Вечерняя Москва» над галереей даже посмеялась бы, и оставшимся в метрополии нонконформистам показала бы на наглядном примере, как плохо живут эмигрировавшие собратья: никто русским неофициальным искусством не интересуется. Это не мои досужие вымыслы. Масса писем в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов отправлялась из Парижа и Нью-Йорка в Москву и Ленинград, а в них прямо так и писалось: никто здесь русским искусством не интересуется, голодают художники, краски не на что покупать. А потом в Москве, в Горкоме художников особенно непокорным грозили: выгоним на Запад, и подохнете там под забором. И что тут действительно делать: и на родине изгой, и на Западе, пишут, никому не нужны.

И вдруг в центре Парижа француженка открывает русскую галерею. К тому же, известно, что француженка состоятельная, любит подлинную Россию и, естественно, антикоммунистка. К Мари-Терез де Фарас еще до первого вернисажа начали подкатывать с разными предложениями агенты известного ведомства: то предлагали картины возить из Советского Союза, то приглашали приехать в Ленинград, посмотреть картины, выбрать то, что нужно, а уж вывезти ей их помогут, то прикидывались друзьями художников, уверяли, что живущие в Москве и Ленинграде живописцы будут недовольны, если выставлять их вместе с эмигрантами, то намекали на возможность хорошей коммерции, если... А уж после того, как галерея открылась, как о ней стали писать, после того, как начали попадать на выставки работы художников из метрополии, советская агентура и вовсе вышла из себя и даже устроила дважды в галерею нечто вроде скандалов. Когда же информация об этих провокациях попала на страницы газет, то в галерею как «посланец мира», вместе с супругой и приятелем, прибыл «сам» Виктор Луи. О, нет, он не критиковал, он даже ничего не предлагал, он просто благодарил за хорошее дело, а жена его выпрашивала не подозревающую, с кем она имеет дело, Мари-Терез де Фарас о том, о сем, о жизни, о галерею...

Правда, и этот визит в конце концов попал на страницы печати, его даже перепечатали трижды (все-таки Виктор Луи!), и от галереи советские товарищи и друзья Советского Союза пока вроде бы отстали.

Но думаю, что одна уже эта их длившаяся около года суета, их недовольство «Галереей Мари-Терез» говорит сама за себя, свидетельствует о важности дела, которым занимается Мари-Терез де Фарас, о том, насколько серьезно она этим занимается. Собственно говоря, внимание со стороны Запада, то есть статьи в «Фигаро», в «L'amateur d'Art», «L'Oeil», в швейцарской, американской и русскоязычной прессе в Европе и США, появление верных друзей у галереи среди французских коллекционеров свидетельствует о том же самом: «Галерея Мари-Терез» делает большое и нужное дело. «Но у галереи же дефицит», – удовлетворенно хмыкнут скептики... Да, господа, дефицит. Но тридцать девять тысяч франков для первого года работы галереи – это, по словам Мари-Терез де Фарас, даже не дефицит. Это, по ее мнению, абсолютно нормальное явление. Так что вновь приходится скеп-

тиков (а заодно и советских и просоветских товарищей) огорчить: галерея жила, живет и будет жить. Зато, надеюсь, художников и в эмиграции, и в метрополии эта весть порадует.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе
Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

Воздушной почтой

Европейские страны,			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка,			
Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка. В цену входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под редакцией А. М. Некрича.

Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.

Литература и время

Ренэ Герра

ВЛАДИМИР НАБОКОВ В НЕПРИВЫЧНОЙ ИПОСТАСИ

*Заметки о двух последних пьесах Набокова-Сиринна –
«Событие» и «Изобретение Вальса»*

Набоков – драматург. Звучит как-то неожиданно, непривычно, а он оставил нам значительное драматургическое наследие – перу Набокова принадлежат семь пьес и сценарий для фильма по роману «Лолита». Странно, что он все это не собрал однажды воедино, в одну книгу... Еще одна загадка, что задал своим дальнейшим исследователям этот мастер и чародей слова. И, конечно, разрешить ее окончательно навряд ли когда-нибудь представится возможным, но даже и сама попытка сделать это кажется увлекательным и благодарным занятием.

Выберем в качестве предмета для изучения две пьесы, написанные в 1938 году. Время это – «пограничное» для писателя, это «эпоха» двух его последних романов, написанных по-русски («Приглашение на казнь» и «Дар»), канун переезда его с семьей в Америку и преддверие решительной смены языка – не пройдет и трех лет, как появится его первый роман на английском «The Real Life of Sebastian Knight» (1941)... Набоков – на пороге своего сорокалетия, место на вершине русского прозаического Парнаса ему уже обеспечено. Он отлично знает себе цену, знает, что своих вершин здесь он уже достиг. «Русские» романы им уже написаны. В русской поэзии – другое дело. Набокову, как и Бунину, и Горькому, очень дороги некоторые собственные стихи, но, по свидетельству воображаемого собеседника из «Дара» (лже-Кончеева, то есть Ходасевича), «стихов скорее всего уже больше не будет». Как великий поэт Набоков не состоялся. Даже лучшее его стихотворение – о юности – замкнуто на прозаический образ: «Ты давно уж не я, ты набросок, герой / всякой первой главы...»

В прозе писателем перепробовано уже очень многое – от традиционного, более или менее «русского» романа с частично автобиографическим героем («Подвиг») до фантазмагории в стиле «пражской» школы («Приглашение на казнь») или до романа на «западные темы», но почти откровенно рассчитанного именно на западного, не-русского читателя («Король, дама, валет»), или, в меньшей степени, «Камера обскура», или, в еще меньшей, но несомненной степени, – «Отчаянье». И вот Набоков, накануне того, чтобы оставить и Францию, и Европу, русский язык вообще, начинает искать для себя новые пути... (В 1940 году он их найдет: пути эти уведут за океан, в стихию английской речи.)

Но тогда, в 1938 году, только что распрощавшись со ставшей неудобной для проживания Германией, писатель все еще колеблется. И кажется, на какую-то минуту открылась перед ним дорога и к лаврам «русского Шекспира». Кто знает – не достались ли бы они ему и в самом деле, положи он на достижение этой цели оставшуюся, вторую половину своей жизни? Но идее этой пришлось угаснуть, по-видимому, из-за отсутствия сцены, зрителя, а нам приходится судить о Набокове-драматурге по тем немногим образцам, из которых – забегая вперед – явствует, что и в этой области литературы он мог бы достичь многого.

Обратимся к двум его последним пьесам. Одна из них – «Событие» – была написана на Лазурном берегу, в Ментоне, зимой 1938 года и в том же году, в апреле, появилась в ежемесячном журнале «Русские записки». (Дальше все цитаты даются по этому первому и единственному изданию.) Уже в подзаголовке ее, обозначающем жанр («драматическая комедия»), – начинается излюбленная набоковская игра в перевертыши, превращение обыденных вещей в необыкновенные и наоборот. Она продолжается непрерывно на протяжении всего текста, несмотря на то, что в «Событии» как будто нарочно соблюдены «три классических единства», канонизированных правилами драматургии; она же начинается с отсутствия одного из главных привычных приличий классической пьесы: здесь нет списка действующих лиц на первой странице текста – между тем их здесь совсем немало: полторы обычных дюжины – нормальных, а не «набоковских», каковые он, вместе с чертовыми, определял числом «13».

Комедия как театральная условность привлекла Набокова, но, поскольку комедия противостоит трагедии или, по крайней мере, драме, это не могло его полностью удовлетворить. Думается, именно потому, чтобы лучше выявить свой подход, он и снабдил эту свою пьесу подобным двусмысленным подзаголовком, определив ее жанр как «драматическую комедию». Тут, кстати, припоминается подзаголовок, данный Николаем Евреиновым своей знаменитой пьесе «Самое главное» – «Для кого комедия, а для кого и драма». Не исключено, что эта весьма искусная формулировка припомнилась Набокову, когда он писал свое «Событие», в котором, кстати, чувствуется несомненное влияние или, скажем, веяние Евреинова. Уместно вспомнить, что еще в Берлине, после огромного успеха пьесы «Самое главное» по всей Европе, в русской колонии был устроен литературный «процесс» с целью обсуждения-осуждения «теории счастья» Евреинова и на нем Набоков блестяще исполнил роль автора, защищая его тезис.

В 1938 году в тогдашней эмигрантской печати о «Событии» говорили как о «квазиметафизическом водевиле» (см. Г. Адамович, «Последние новости», №6235, 21 апреля 1938), как об обыкновенном водевиле, как о мелодраме – сам главный персонаж, Трощейкин, говорит в первом действии о «где-то виденной мелодраме», а в конце второго о «второстепенной комедии», в третьем же задает себе вопрос: «...Мелодрама?» И сразу же отвечает – «Не знаю...» Писали и как о «фарсе» (см. статью, подписанную «К. П.», газета «Последние новости», №6189, 6 марта 1938) и даже о трагическом фарсе (см. «Последние новости», №6182, 27 февраля, 1938). Героиня же, жена Трощейкина, Любовь Ивановна говорит о «фантастическом фарсе».

Действие происходит в обычном провинциальном городке, как будто бы русском, весьма неопределенном городке и в неопределенное время, утром, в день пятидесятилетия писательницы средней руки, а скорей, литераторши-графоманки, Опояшиной, живущей вместе с дочерью Любой и зятем-художником Трощейкиным. Неожиданно они получают известие – из тюрьмы досрочно освобожден Барбашин, некогда возлюбленный Любви, угодивший за решетку из-за попытки застрелить своего счастливого соперника и изменившую ему подругу. «Погодите, вернусь и добыю вас обоих!» – крикнул он в свое время на прощание. И вот, во взвинченной атмосфере

ожидания исполнения этой угрозы, которое постепенно ощущается как все более неизбежное, и проходит этот вдвойне примечательный день, а вместе с ним и вся пьеса. Показательно, что первым ее «действующим лицом» оказывается не человек. «Сцена сначала пуста, – пишет в начальной ремарке автор, и... выводит весьма занимательного героя: – Затем через нее медленно катится, войдя справа, сине-красный детский мяч». Ему предстоит вплести в канву произведения многозначительный, хотя как будто бы и побочный узор.

Проследим за его движением – оно может оказаться и ключевым. Чтобы понять, откуда появляется эта возможность, следует обратить внимание на чрезвычайно характерное рассуждение в мемуарной книге Набокова «Другие берега». В конце первой главы он рассказывает, как однажды в детстве с ним затеял игру в спичечные фокусы пришедший в гости приятель отца генерал Куропаткин. Показав один трюк, вспоминает автор, он совсем уже было собрался «показать другой, может быть, лучший фокус, но нам помешали – слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин в полтора, как говорится, приема встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии. Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга... Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось всё. Однако, – заключает Набоков, – обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста». Следует добавить, что и в качестве творца он сам неумоимо создавал в собственных произведениях, сплетая и расплетая, множество изысканнейших узоров именно подобного рода.

При этом мяч служил одним из излюбленных набоковских вещей-символов. Описанием его потери и обретения «заколдована» прекрасная поэма в романе «Дар», намеренно остав-

ленная как бы не полностью дописанной в середине; роль мяча можно проследить на втором плане других романов, таких, как «Король, дама, валет» или «Приглашение на казнь».

В нашей пьесе мячей всего пять: Трощейкин пишет «Портрет мальчика с пятью мячами» и появляется на сцене с упреками к Любви за то, что налицо лишь два из них, остальные куда-то все время закатываются; «живой, невероятно милый» мяч мальчика Годунова-Чердынцева из «Дара» не навсегда закатился под нянин комод; он же, красно-синий, закатился и под койку смертника Цинцината из романа «Приглашение на казнь». Любовь удивлена непрменной необходимостью именно в таком количестве второстепенной натуры, она спрашивает раздраженно: «Нельзя ли вообще сперва закрасить мячи, а потом кончить фигуру». На это художник отвечает словами, от которых, вероятно, не отказался бы и сам его создатель: «Видишь ли, они должны гореть, бросать на него отблеск, но сперва я хочу закрепить отблеск, а потом приняться за его источники. Надо помнить, что искусство движется всегда против солнца».

Третий мяч несколько позже принесет Опояшина («Выходит Опояшина, мать Любви, с пестрым мячом в руках»); последние два – служанка Марфа. А вскоре после этого, по окончании сеанса, мальчишка разобьет мячом зеркало. В качестве нового его воплощения во втором действии появится другой объект портретирования – вдова Вагабундова, – влетая на сцену «как прыгающий мяч». Во время сцены «откровения», речь о которой пойдет ниже, Любовь проговаривается, что зеркало будто бы разбил их собственный маленький сын, умерший в двухлетнем возрасте. Через два дня ему должно было бы исполниться пять лет: символика двух и пяти мячей начинает «играть» свою собственную роль в пьесе. Наконец, третье и последнее действие начинается видом картины, все мячи на которой уже дописаны. Трощейкин сетовал, что разбитое стекло – скверная примета (кто-то должен умереть в доме), – и вот тут-то поверие не срабатывает. Фальстарт...

В «Событии» так или иначе обыгрывается, задается или косвенно упоминается множество культурных реалий, но неизменно не в лоб, опосредованно. Набоков был искуснейшим мастером аллюзий: слова его героев метят не в сердцевину, не в яблочко той мысли, какую они хотят выразить, но попадают лишь в край ее, вызывают мгновенную искру и, про-

летев по касательной, удаляются в бесконечное пространство, наполненное первозданной бессловесной тьмой подсознания. Недаром Любовь замечает, что предполагаемый убийца Барбашин «говорил о пьесах, что если в первом действии висит на стене ружье, то в последнем оно должно дать осечку...» Автор перевернутого здесь трюизма Чехов является мишенью создателя «События» в первую очередь. Позже (в 1944 г.) в книге о Гоголе мы найдем разгадку и объяснение этого камешка в огороде Чехова; Набоков напишет тут: «Один прославленный драматург (вероятно, раздраженный каким-нибудь занудой, жаждавшим проникнуть в тайны ремесла) сказал, что если в первом действии ружье висит на стене, то в последнем оно должно выстрелить. Но ружья Гоголя висят между небом и землей и не стреляют: на деле, обаяние его намеков именно в том, что за ними никогда ничего не скрывается».

«Событие» – чистой воды пародия на Чехова от первой до последней строки и, к тому же, разъятие на части, аннуляция чеховских сценических принципов. «Событие» – пародия на психологическую драму чеховского типа. Общий сюжет «События» напоминает прежде всего «Чайку» Чехова. По свидетельству Дона Аминадо, надо полагать, лучшего русского сатирика XX века, «погубили нас птицы – чайки, буревестники и т. д.» (см. сборник «Дым без отечества», Париж, 1921). В «Событии» тоже есть «птичка» – «Воскресающий лебедь» – сказочка, которую сочиняет мать героини – литераторша.

Герои пьесы чуть ли не все взяты напрокат у Чехова из разных произведений: Трощейкин сам в первом акте прямо сравнивает с «Тремя сестрами» жену, тещу и... себя («Мы разлагаемся в захолустной обстановке как „Три сестры“!»); изысканно-пошловата «авторша» Опояшина, а кстати – предел дерзости – ее имя и отчество не случайное: Антонина Павловна (!), дальше идти некуда! Вместе с приглашенным ею на день рождения «маститым» писателем оба явственно несут на себе отблеск соответствующих героев «Чайки». Кроме того, эта литературная дама, мать семейства, – писательница из «Ионыча». Только у Набокова она демонстративно печатает на машинке. А появляющаяся впоследствии сестра Любви Вера, выражая тоску по прошлому, звучит эхом третьей знаменитой чеховской пьесы, чуть ли не называя ее по имени: «Когда папа умер, и был продан наш дом и сад, мне было обидно, что как-то в придачу отдается все, что было в углях нашептано, намуче-

но, заплакано». Вот безусловно совершенно чеховская реплика! Старая служанка Марфа – как бы женский двойник Фирса из того же «Вишневого сада», но, если присмотреться, в ее образе, по сути, произошло жутковатое изменение – в начале третьего действия Любовь вынуждена выговаривать ей за то, что она «недостаточно сочно сыграла» сварливую полуграмотную старуху и просит позаковыристей перевернуть сложные слова. Да и Вера не единственный «чеховский» женский персонаж – не сказал ли Ревшин своей любовнице Любове уже в первом акте: «Тебя задумал Чехов». И, наконец, упоминаемая сыщиком в конце пьесы «блондинка с болонкой» по поводу «ультра-адюльтер, типа Б, серии 18-ой» – демонстративный звоночек к чеховской «Даме с собачкой». Набоков даже не заботится о том, чтобы скрыть «прокатность» своих персонажей.

Вторым прообразом, с которым соотносится наша пьеса, несомненно служит «Ревизор». Недаром Набоков в своей книге о Гоголе решительно (и, как нам кажется, справедливо) назвал его вообще «лучшей из русских пьес (оставшейся непревзойденной)». Принесший «потрясающее известие» Ревшин (имя, которое сразу же хочется переставить в «Вершин», затем в «Вершинин» и т. д., ряд превращений может быть весьма долог) чрезвычайно напоминает пару провинциальных болтунов Бобчинского и Добчинского; и Любовь в конце концов замечает матери о начавшемся переполохе: «Одним словом: господа, к нам в город приехал ревизор». Следует отметить, что в позднем автокомментарии к «Ревизору» – «Развязке», Гоголь вывел идею о том, что подлинный ревизор – смерть. В «Событии» это заметно гораздо явственней, чем в первоисточнике: действительно, угроза смерти приходит «ревизовать» пустое существование Трощейкина, невольно перекликающегося фамильным прозвищем с Хлестаковым (тот «хлещет», этот «трещит»). Причем реплика Любове о сходстве с гоголевской комедией звучит в ответ на замечание ее матери о том, что сама жизнь их наталкивает на мысль сочинить из нее драму: «Смешно, о чем сейчас подумала: ведь из всего этого могла бы выйти преизрядная пьеса». В конце второго действия происходит сцена, представляющая собой любопытнейшую аллюзию на заключительную «немую сцену» «Ревизора» – Опояшина принимается читать своим гостям «только что сочиненную «сказку» из цикла „Озарённых

Озер“», и тут, по воле автора, звучание всего празднества неожиданно смолкает – «собственно, следовало бы, – пишет он в особой ремарке, – чтобы спустилась прозрачная ткань или средний занавес, на котором вся их группировка была бы нарисована с точным повторением поз». На фоне этой обозначающей онтологической пустоты окружения происходит диалог душ Любви и Трощейкина (о том, что это был разговор безмолвный, косвенно говорится впоследствии) – они поднимаются на «мгновенную высоту», из которой столь же быстро летят вниз, «снова сливаясь с жизнью». В этот миг Трощейкин замечает про остальных героев: «Это так – мираж, фигуранты, ничто. Наконец, я сам это намалевал. Скверная картина – но безвредная».

Поминается также, и не раз, другой любимый писатель Набокова, Пушкин. В «откровении» Любовь недаром вспоминает строку «Онегин, я тогда моложе, я лучше...» и еще раз произносит ее впоследствии, в третьем действии. На замечание матери о том, чтобы она не вздумала вновь перемертвуть к старому другу, она лукаво отшучивается: «Я ему с няней pošлю французскую записку...» Наконец, перед финалом, вызванный охранять Трощейкина от покушения «агент» неожиданно затягивает: «Начнем, пожалуй...»

Не оказались обойденными игрой в искусные искажения и иностранные авторы – «маститый» писатель грубовато перевирает начало монолога Гамлета («Вот в чем вопрос»), произнося его по-английски так, что выходит похабщина на церковнославянский лад: «Зад из зык вещан» (причем «е» еще и передано через «ять»). Этот межъязыковый каламбур (то, чего впоследствии будет полным-полно в английских романах Набокова) – тоже черта, свойственная в русской литературе едва ли не одному ему. Правда, как и в случае с прямым указанием на пародийность в репликах насчет Капри и Алексея Максимовича, Набоков читателя (зрителя) здесь «пожалел», оставил шанс то ли пятому, то ли двадцать пятому читателю (зрителю) догадаться, что же, собственно говоря означает эта непонятная, но, несомненно, древнеславянская фраза, она не насчет какого-то говорящего зада, а насчет шекспировского «Вот вопрос» – и имя Шекспира тут же произносится.

Забавная пародия на другое знаменитое произведение замечена самими героями: Трощейкин, вспоминая покушение Барбашина, говорит, что тот открыл огонь, когда художник

держал в руке яблоко: «Продолжает стрелять, – говорит он Ревшину, – а я с яблоком, как молодой Телль». Опять все наоборот: Вильгельм Телль попал в яблоко на голове сына, не задев последнего; Барбашин простреливает руку Трощейкина, держащую яблоко... Всё – от грехопадения прародителей наших в Раю – началось, как известно, с яблока; с яблока началась «трагедия» Трощейкина почти шесть лет тому назад – яблоками всё, видать, и кончается. Не зря же Михей Михеич, явление которого в конце пьесы и аннулирует всю интригу (очень похожий на душку-палача из «Приглашения на казнь»; тот, впрочем, предлагает угостить вишнями), тащит на себе для всех героев корзину яблок, видимо, тех, в которых один из героев «Подвига» тщетно искал «антоновского вкуса».

Есть в числе «занимательных перевертываний» и просто развлекательные мелочи: Хлестакова-Трощейкина зовут так же, как Горького – Алексей Максимович. Он же собирается уезжать на Капри, вернее, убежать! (настоящий план бегства на Капри!). Причем как раз в таком месте, где его имя произносится, т. е. Набоков даже не заботится о том, чтобы скрыть, что это именно камешек в горьковский «огород»; а его коллегу Куприкова автор снабдил знаменитым именем из русской истории – Игорь Олегович.

Не позабыл Набоков и себя самого: в городке, где происходит действие «События» идет «лучшая фильма сезона» – «Камера обскура», несомненно, фильм по роману самого Набокова. Лягнул Набоков не только Чехова, Горького, Грибоедова и других классиков русской литературы и не только русской драматургии. Беспощаден, притом по-гоголевски, Набоков и к самому себе. Даже происхождение самого героя Трощейкина (в оригинале фамилия художника Трощейкина пишется через «ять») от «воеводы четырнадцатого века» – набоковский камешек в свой собственный огород (кстати, через «ять» пишутся только древнейшие княжеские фамилии домонгольских времен). Между тем, главный герой «События» художник Трощейкин, с, может быть, слишком звучным именем, – никак не ничтожество, хотя, по поведению своему, он патологический трус, по словам его же жены, он «феноменальный пошляк», он – «черств, холоден, мелочен, нравственно вульгарен, эгоист, какого свет еще не видал». Но нигде нет указания на действительную ничтожность этого художника именно как художника – и, скорее наоборот, его

«метод двойного портрета» и монолог Трощейкина в первом действии о том, как он напишет на стене зрительный зал, из которого смотрят на него те, кого он знал в жизни, – говорит о том, что Трощейкин – натура действительно творческая, и, как Годунов-Чердынцев из «Дара», – кто угодно, только не ничтожество. Хоть автопортретности в этом персонаже, между тем, минимум миниморум.

Вернемся, однако, к завязке – в ней находится такой обязательный для комедий былых времен атрибут, как вещей сон, с неотвратимостью сбывающийся в финале. Только содержание его, в отличие от далеких его предков, подозрительно абсурдно – сестре Любви Вере накануне привиделось, что Барбашина «кто-то запер в платяной шкаф, а когда стали отпирать и трясти, то он же прибежал с отмычкой, страшно озабоченный, и помогал, а когда наконец отперли, там просто висел фрак». Общий ложный финал сопровождается субдоминантными: первое действие кончается криком Трощейкина, вдруг разглагольствовавшего на улице через окно своего погубителя, – но из начала второго выясняется, что это была лишь ошибка его перепуганного воображения; в свою очередь, второй акт завершается появлением торговца оружием со странным именем Иван Иванович Щель, сообщающего, что в его лавке приобретен приятелем Барбашина, по его голову, пистолет системы Браунинг. Но и эта угроза оказывается ложной. Приятелю художника Ревшину Барбашин даже посылает записку лично «в руки», но записка эта – пустой клочок бумаги...

Наиболее оригинальное в отношении традиций случается впервые в середине второго действия: собравшиеся к Опояшной гости, пародирующие ходячие драматургические штампы, – покуда одна комическая старуха вообще не начинает сыпать «раёшным стихом» (изъясняться раешником, поэтическим размером русского народного театра скоморохов), – представляют собой уже не комедийную компанию, а совершенно явственную сцену из будущего «театра абсурда», который только еще ждет своего рождения не ранее, чем через десяток-другой лет.

Главным сюжетным ходом завершающего действия является как бы подсказываемое друг другу самими героями, намеренное повторение ситуации того дня, когда произошло первое покушение. Любовь, испытывая известное чувство «вос-

поминания о будущем», говорит мужу: «И главное – это всё было уже раз, всё-всё так было: ты сказал «тьень», я сказала «младенец», и на этом вошла мама». Тотчас, действительно, появляется Опояшина, замечающая, в свою очередь, что «все это как-то повторяется».

В первый раз Трощейкина спас случайно ночевавший у них брат Опояшиной Миша; теперь для этой роли появляется человек с «говорящим именем» Михей Михеич Мешаев (он ведь «мешает»!) да еще – второй; мало того, охранять чету от Леонида Викторовича Барбашина приходит нанятый в сыском бюро Барбошин Альфред Афанасьевич (фамилия наверняка от «Барбоса» – столь распространенной клички сторожевой собаки, да к тому же он и Альфред – еще одно имя для России в основном собачье, так что он как бы дважды собака), персонаж совершенно безумный, который первым делом сообщает Трощейкину, что написанные тем собственные картины наверняка являются подделками, и далее ведет себя в том же роде.

Наконец, незадолго до финала, Опояшина упоминает то слово, что принесло имя пьесе – «событие», – под ним она подразумевает возвращение потенциального убийцы. Но для зрителей, равно как и для читателей, «событием», конечно, служит не это, а непосредственно неумолимо надвигающееся покушение...

Между тем Мешаев-второй оказывается доморощенным оккультистом. Он гадает по руке Любви, что она собственно должна была умереть еще несколько лет назад, но раздвоение линии жизни лишает его возможности с точностью определить дату ее действительной смерти. Затем он берет руку агента Барбошина и мимоходом сообщает, что вообще-то его прогнозы обычно точны. Так, однажды он предсказал одному приятелю «всякие катастрофы», а только что встретив его на вокзале, узнал, что тот «просидел в тюрьме из-за какой-то романтической драки» несколько лет и теперь «уезжает за границу навсегда. Некто Барбашин, Леонид Викторович... Просил кланяться общим знакомым, но вы его, вероятно, не знаете». Этими словами завершается пьеса. Медленно переворачивавшийся с ног на голову сюжет окончательно перевалился (вверх тормашками): событие не происходит.

Уместно напомнить, что об этой пьесе писал в «Современных записках» (№ 66) в 1938 году В. Ходасевич, верный по-

клонник В. Сирина-Набокова: «По своему содержанию могла бы она называться «страх» – ведь вся она построена как раз на том, что «события» никакого нет, оно не происходит и не должно произойти... Появление, развитие и внезапное исчезновение этого страха и образуют основную сюжетную линию пьесы».

Канва пьесы любопытным образом напоминает схему рассказа «Занятой человек» из второго сборника рассказов Набокова «Соглядатай». Там некий газетный фельетонист получает в смутном откровении известие, что должен умереть в возрасте Христа, в 33 года. Весь этот год он существует в атмосфере всё возрастающего животного страха; параллельно сообщается, что у него заводится сосед, некто Иван Иванович Энгель (то есть – по-немецки «ангел»). Перемогшись кое-как в течение рокового срока, писатель накануне тридцатичетырехлетия решает пригласить на день рождения знакомых и готовится к их встрече; тем временем сосед его с крайним нетерпением ждет какого-то известия, нервно бегая за стеною по комнате. За час-другой до прихода приятелей герой высовывается в окно. Тотчас на улице происходит случайная перестрелка и одна пуля как будто пролетает мимо его носа... В тот же момент сосед получает долгожданную телеграмму. Утром, выходя проводить гостей, писатель ненароком натывается на нее. Текст, напечатанный латинским шрифтом, гласит: «Продление согласен». А ночью ему снится сосед Энгель с пушистыми крыльями, поющий в каком-то неведомом саду. Сюжеты, таким образом, сходны в главном: «события», вокруг которого построены оба произведения, не случается...

В пьесе нельзя не усмотреть также некоего набоковского опыта, который он ставит над зрителем (или читателем). Несколько раз возникает знакомая тема «театра в театре»: еще в самом начале Трощейкин говорит, будто задумал написать такую картину: «Стены как бы нет, а темный провал... и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды... сидят и смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал, и которые теперь смотрят мою жизнь... Вот так сидят передо мной – такие бледновато-чуждые в полутьме». Почти сразу он, правда, отказывается от замысла: «А может быть – вздор. Так: мелькнуло в полубреду – суррогат бессонницы, клиническая живопись... Пускай

опять будет стена». Но тема эта неумолимо возвращается во время «немного откровения» (при этом наводя на мысль о параллели с последними страницами «Приглашения на казнь»): Любовь замечает, что в этот миг «подъема» их всего двое, два одиночества и «оба совсем круглы»... «Одни на этой узкой освещенной сцене, – откликается Трощейкин. – Сзади – театральная ветошь всей нашей жизни, замерзшие маски второстепенной комедии, а спереди – темная глубина и глаза, глаза, глаза, глядящие на нас, ждущие нашей гибели». Зритель-читатель, искусно подготавливаемый автором, действительно неминуемо поддается этой, не совсем хорошей, страсти – угадать, откуда же придет к героям смерть. И тут автор дает ему больный щелчок по лбу – оказывается, пока он наблюдал за приближением покушения, расставивший сети писатель наблюдал в свою очередь за ним. Всё вновь поменялось местами: подлинным актером невольно был зритель, подлинным зрителем – драматург...

Следует обратить также внимание на самый острый, самый противоречивый аспект пьесы – общий, кстати, для всех почти произведений Набокова: это перевернутая картина мироздания, к которой логически приводят писателя все его изобретательные магические игры с миром. Вот Трощейкин говорит об умершем маленьком сыне: «Умер двух лет, то есть сложил крылышки и камнем вниз, в глубину наших душ, – а так бы рос, рос и вырос балбесом». Тут примечательны не столько обратная логика или звуковая перекличка с «бесом», а направление движения: ангельская душа ребенка с крылышками устремляется, оказывается, после смерти не вверх, а вниз!

При этом многое, даже самое главное, вверх ногами, и на земле – Любовь, единственный как будто персонаж, выписанный так, чтобы вызвать сочувствие у зрителя, в минуту искренности говорит о творчестве вещи, с точки зрения самого автора, безобразные: «Надо писать картины для людей, а не для услаждения какого-то чудовища, которое сидит в тебе и сосет», – потому, что так «судят люди». А Трощейкин решительно возражает, практически повторяя то, что не раз говорил Набоков в интервью о собственном творчестве: «Люба, не может быть, чтобы ты говорила серьезно. Как же иначе, – конечно, нужно писать для моего чудовища, для моего солитера, только для него».

И все же, в целом, пьеса напоминает лучшие романы «русского Набокова» – такие, как «Отчаяние», «Король, дама, валет», «Защита Лужина». Этого нельзя сказать о втором избранном нами для изучения произведении – драме «Изобретение Вальса»: оно как раз является одним из наиболее «модернистских» творений Набокова, приближаясь по поэтике к самому, пожалуй, отвлеченно-сухому роману «Приглашение на казнь». Примечательно, впрочем, что только ее сын автора впоследствии (в 1966 году) перевел на английский язык. Написана же впервые она была в сентябре 1938 года в Кап д’Антиб и напечатана тогда же в одиннадцатом номере «Русских записок».

Здесь тоже нет перечня действующих лиц и представлена не названная страна. Место действия «Изобретения Вальса» – какая-то европейская страна – очень сродни той, в которой происходит действие пьесы Карела Чапека «Белая болезнь». Не Англия, не Франция, не Германия, не Польша (хотя упоминается Польша и самолеты, но это скорее указание на время действия), но и не Россия, как можно вывести путем косвенных умозаключений.

И сама фабула «Изобретения Вальса» на редкость близка к фабуле пьесы Чапека – только со знаком минус. Совершенно неважно, читал ли Набоков Чапека (как неважно для «Приглашения на казнь» – читал ли он Кафку), но сходство пьес налицо.

Вот вкратце фабула «Изобретения Вальса»: к военному министру парламентской республики западного типа, еще недавно бывшей королевством, является некто, называющий себя псевдонимом Сальватор Вальс (то есть, «спаситель качающийся», хотя при желании «форму ван-дер-Вальса» можно найти даже в энциклопедии изд. Брокгауз-Эфрон). Он предлагает потрясающее изобретение – телемор, приспособление, которое посредством скрещения двух невидимых и неведомых лучей вызывает взрыв страшной силы, уничтожающий в любой точке мира все напрочь в радиусе до полутора километров. Придумал его, впрочем, не сам Вальс, а его родственник – «старичок», которому он за полчаса до взрыва дает по радио зашифрованные команды. Министр, естественно, принимает его за сумасшедшего. И далее все следует по хорошо наезженной колее фантастических произведений, каких на свете тыся-чи...

Поначалу от них отличает пьесу лишь новый неодушевленный «проходной» герой второго плана. На сей раз это не мяч, а гора. Уже вторая фраза драмы, авторское описание декораций, гласит: «В окне вид на конусообразную гору». Вальс является по рекомендации генерала Берга (что тоже значит «гора», по-немецки). После того, как ему отказывают в доверии, он взрывает ту самую гору, что виднелась вдали; это производит шок и одновременно приносит ему признание. Подавляющее большинство действующих лиц намеренно безличны, они носят взаимозаменяемые фамилии, составляющиеся из Берга по принципу омонимии или близкие по звучанию; они демонстративно построены из трех согласных звуков с использованием одной, не больше, гласной, причем этого оказывается вполне достаточно, чтобы сделать их «говорящими»: в первом действии это чиновники Горб, Герб, Бриг, Брег, Гриб; во втором – одиннадцать старых генералов на военном совете: Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Граб, Гриб, Горб, Груб, Бург, Бруг – три последних вовсе представлены куклами – в их фамилиях употреблен звук «у». Имена уже полуговорящие: Груб – огрызок от «грубый», Бург – снова по-немецки – «замок», и, наконец, Бруг, слово бессмысленное, надо думать, представляющее собой огрызок бессмертного свифтовского «Струльдбруг»; в третьем – появляются архитектор Гриб, повар Гриб, шофер Бриг, дантист Герб, надзирательница – «мадам» Граб, учитель спорта Горб, садовник Брег, врач Гроб. Накануне финала вновь является по зову самого Вальса генерал Берг, несокрушимо, как гора, выслушивающий его угрозы, после чего за окном воскресает и сама якобы уничтоженная первым взрывом конусообразная гора, символизирующая крушение всей затеи Вальса.

Другой путеводительной подробностью служит повторение сходной ситуации в начале: пьеса открывается странноватой сценой, в ходе которой полковник – секретарь военного министра – пытается вынуть застрявшую у того в глазу соринку. Вскоре заявившийся на прием Вальс следующим образом кратко излагает историю своей жизни: «В ранней молодости я засорил глаз, – с весьма неожиданным результатом. В продолжение целого месяца я все видел в ярко-розовом свете, будто гляжу сквозь цветное стекло. Окулист, который, к сожалению, меня вылечил, назвал это оптическим заревом. Мне со-

рок лет, я холост. Вот, кажется, все, что могу без риска сообщить вам из своей биографии».

Родом такого «оптического зарева» в мировом масштабе оказывается и все происшествие, которому посвящена пьеса. Покуда разворачивается действие медленного признания власти Вальса, из шкафа на подмогу ему является необычный персонаж по имени «Сон», журналист. Автор замечает при этом: «Его может играть женщина». Хотя «говорящее» имя его склоняется в отличие от соответствующего существительного – «Сона, Сону» и т. д. – и пишется с прописной буквы, есть основания полагать, что его следует принимать в двух ипостасях. Вдобавок, когда Сон неожиданно является, теперь уже из ящика с картами, на военном совете и один генерал возражает, что его участие нарушит численный состав совещания, тот же генерал Берг возражает: «Полноте, генерал. Это так – фикция. Ведь это – Сон. Нас столько же, сколько и было».

В ходе этого заседания маразматические генералы соревнуются в глупости, сыплют каламбурами (наводящими на память каламбуры поганенького отчима героини из «Дара»). Хотя Вальс еще заранее заявил министру: «Каламбурами вы меня не удивите. У меня в Каламбурге две фабрики и доходный дом», – между тем нарастает вновь ощущение, что Набоков и тут угадал появление театра абсурда. Вдруг один из стариков встает и читает якобы «заданное» на дом стихотворение «К Душе», некоего поэта Турвальского (тут легко можно угадать, что следует разложить фамилию на «Тур вальса»); выясняется немаловажная подробность: в юности Вальс подвизался как неудачный поэт. Он и прежде проговорился один раз об этом, утверждая, что все юношеские стихи уничтожил; но нет, ему еще пропоет одно из них вслух толстая проститутка в третьем действии. Мало того, когда попытка генералов откупить у Вальса изобретение проваливается, на сцене появляется, вернее, вновь наоборот, не появляется, играя отсутствием (актеры должны лишь воображать его приход), «Господин Президент Республики»; он вынужден уступить свое место самому Вальсу, и тот, в порыве вдохновения победой, переходит на белый стих, которым исполняет всю свою «тронную речь». Он обещает небывалое процветание всему миру под своим управлением и для начала велит уничтожить в государстве все оружие. На стихи переходит и Сон:

Он победил, – и счастье малых сих
Уже теперь зависит не от них.

Так оканчивается второе действие пьесы. Казалось бы, уже две трети ее протекли в хорошо знакомом русле политической фантастики, прорытом Г. Уэллсом и армией его последователей, вроде К. Чапека, А. Беляева («Человек-амфибия») и проч. Но вот третий акт переворачивает, как и следовало ожидать опытному читателю Набокова, всё кверху дном. После выполнения декрета об уничтожении оружия в стране воцаряется хаос, а пришедший случайно к власти – хотя и мечтавший об этом все годы унижения и нищеты – Вальс оказывается неисправимым пошляком, наделенным всеми прелестями комплекса «человека из подполья».

Заявленная любовь его к человечеству оказывается на пробу крайне хрупкой: при малейшем проявлении неповиновения он уничтожает с корнем шестьсоттысячный город и даже готов, попробовав крови, пуститься на более широкий террор. Одновременно он строит планы удалиться на уединенный остров «Пальмора» (варианты – Пальмин, Пальмарий), где надеется выстроить хрустальный дворец со следующими дивами: «Давняя моя мечта... чтоб было такое приспособление, – не знаю, электрическое, что ли, – я в технике слаб, – словом, проснешься, нажмешь кнопку, и кровать тихо едет и везет тебя прямо к ванне... И еще я хочу, чтобы во всех стенах были краны с разными ледяными напитками. Все это я давно-давно заказал судьбе, – знаете, когда я жил в душных, шумных, грязных углах...»

Сродни этим углам и прочие его мечты, среди которых создание библиотеки из «уникумов», изъятых из всех книгохранилищ мира и т. п., вплоть до «салона» из красивейших женщин покоренного государства; притом он оказывается девственником, одолеваемым сластолюбивыми кошмарами, и даже навстречу собраным для его ложа красоткам выходит, из странной стеснительности, не иначе как в дурацкой маске.

Надоедливый честный полковник, ставший по преемству его секретарем, при виде каждого очередного безобразия не устает повторять, что это всё бред безумца, – и неожиданно, при всем несочувствии зрителя к нему, именно его слова оказываются наиболее близкими к истине: по мере все более полного проявления некомпетентности Вальса, проявленной по отношению к хозяйству захваченного государства, все вокруг

него становится жестоко-бессмысленным, переходя грань разумного и вступая в область кошмара. Посреди самых важных занятий ему вдруг начинает мерещиться игрушечный автомобильчик, которым он забавлялся в детстве; приведенные Соном для его потехи слуги оказываются своей противоположностью: спортсмен – немой и не умеющим даже прыгать, шофер – постоянно попадающим в катастрофы неудачником, «наилучшие женщины», вместо тридцати красоток, – двумя шлюхами и тремя чудовищными уродами, – и лишь один врач подозрительно настоящий. В довершение всего Вальс требует к себе, в омерзительных выражениях, дочь генерала Берга, на что тот вдруг отказывается согласиться – пусть хоть весь свет взлетит вверх тормашками. Тут его покидает верный прислужник Сон, сказав, что «игра проиграна» (он и ранее называл всю аферу «игрою», но тогда Вальсу недосуг было обратить на это внимание). Напоследок, перед тем, как исчезнуть прямо за спиной Вальса, Сон открывает ему «маленькую правду»: «Вальс, у вас никакой машины нет». Тотчас перед горе-изобретателем вырастают, повторяя начальную сцену, министр и полковник (только теперь в штатском), и министр велит вывести его вон как настоящего безумца. В порыве отчаянья он выдает секрет: «Машина не где-нибудь, а здесь, со мной, у меня в кармане, в груди». Тем не менее его насильно выпихивают, несмотря на крики – «Оставьте меня, меня нельзя трогать... я – могу взорваться». – «Осторожно, ушибете беднягу», – звучит вдогонку финальная реплика военного министра... Бредовая попытка захвата мира подловатым и пошлым диктатором из подполья оказывается только мороком, манией сумасшедшего.

Набоковский герой уже переходит вплотную к традициям, стилю и приемам еще одного крупнейшего русского драматурга XX века – Евгения Шварца. У того в «Голом короле» королю «хочется не то музыки и цветов, не то зарезать кого-нибудь», прямо из корыта ревет на сцене белугой персонифицированная белуга (это уж совсем по-набоковски). Хочется Вальсу всего того, чего хочет Тень в пьесе «Тень» у Шварца, женившись на принцессе. У Чапека правительства мира принимают ультиматум Галена, он собирает свой чемоданчик и бежит спасать человечество, народ то есть, каковой его тут же на улице и затаптывает. Вальс – герой изначально пустой, его и убивать-то автору противно, как противно было

убивать Достоевскому младшего Верховенского в «Бесах». Вальс просто оказывается сумасшедшим, все то, что произошло на сцене, – оказалось его бредом, все только еще должно начаться, – ход в драматургии XX века вообще-то популярный, стоит лишь вспомнить «инспектор пришел» Дж. Б. Пристли, но в русской драматургии едва ли не впервые примененный Набоковым.

Место Вальса – в сумасшедшем доме, вместе с князем Мышкиным и уже заодно с капитаном Гаттерасом, если брать персонажей только уже упоминавшихся здесь писателей. Драматургический эффект пьесы по мере движения действия от первого акта к третьему все более напоминает сон и развивается по логике сновидения, по той, которая самим Набоковым описана в романе «Машенька»: «...А дальше уже совсем ерунда». Не зря основной герой, руководящий действием в пьесе, носит имя Сон. Логика «Изобретения Вальса» – логика сна, приснившегося сумасшедшему: то-то и то-то он заказал судьбе, до остального ему дела нет, и он начинает говорить стихами. Не лишне будет вспомнить один из возможных образов Вальса, от которого у этого литературного героя, несомненно, многое – и геростратовы замыслы и поэтическое графоманство, и имя: это печально знаменитый Горгулов, убийца французского президента, писавший, как известно, скупные стихи под псевдонимом «Бред».

Комментарии к этим пьесам Набокова можно найти в его книге о Гоголе (1949 г.), когда он пишет о «Ревизоре»: «Персонажи – кошмарные существа, из числа тех, что населяют сны как раз тогда, когда вы думаете, что проснулись, а на самом деле вы только что вошли в самую ужасающую область (ужасающую своей ложной реальностью) сна».

Таким действием во сне, имеющим вид фальшивой реальности, и является действие в «Изобретении Вальса», а по существу, и в «Событии» – мотив мнимого ревизора-фантома, порожденного страхом и грехами персонажей, – являющегося для проверки состояния государства (в «Изобретении Вальса») и состояния души и совести (в «Событии»), мотив, центральный в обеих пьесах.

Кстати, как в «Событии», так и в «Изобретении Вальса» много деталей, отсылающих к Гоголю и создающих гоголевскую атмосферу. Министр несколько напоминает Городничего – «уже постаревший на службе и очень неглупый по-свое-

му человек» (ремарка Гоголя). Как у Городничего, у министра, в отличие от его генералов, достаточно сложный характер. Его отношения с генералами, с которыми он обращается как с непослушными школьниками, плохо воспитанными детьми, несколько напоминают отношения Городничего с чиновниками (но генералы гораздо примитивнее и призрачнее гоголевских чиновников). Напоминает он перед Вальсом и Городничего перед Хлестаковым, когда, например, говорит: «Я старый человек, много испытал» и т. д., или дает слово старого солдата. Прямая цитата из «Ревизора»: «Тут все свои». – «Ну, здесь свои» – «Ревизор» (д. I, явл. I). По гоголевскому типу, но с гротесковым усилением – фамилии генералов, слуг и т. п. Все эти Брег, Бриг и т. д. невольно напоминают Бобчинского и Добчинского. Принцип именования, отличающегося одной буквой, означает механическую тождественность персонажей, различающихся «на одну букву» – какой-нибудь мелкой чертой, дающей этой фигуре «индивидуальность». Бобчинский и Добчинский и тождественны, даже «оба с небольшими брюшками» (черта, на которой Набоков останавливается в книге о Гоголе), и индивидуальны – Добчинский немного выше и серьезнее, Бобчинский развязнее и живее. Подобно этому и у генералов – свои маниакальные «индивидуальности»: один все время рисует, другой протестует и тут же берет свой протест назад, третий на аукционе говорит «миллион» и т. п. Немой Горб, объясняющийся знаками, – параллель гоголевскому бессловесному Гибнеру, издающему один и тот же звук. Но, конечно, гоголевские герои гораздо живее, набоковские – призрачнее, и некоторые представлены куклами (щедринский мотив). Лицо самобытное среди генералов – Берг: его здравый смысл и его спокойное сопротивление в конце концов и разрушили весь кошмар.

Набоков в этой пьесе отчасти вышивает по гоголевской канве, пользуется мотивами «Ревизора», цитирует из него, но в целом его пьеса самостоятельна. В ней своя, уже не гоголевская, тематика, принадлежащая XX веку: тоталитарное государство (превращение либерального в тоталитарное), тирания науки, новое страшное оружие как путь к власти и господству над миром. Параллелей на эти темы в драматургии XX века много, пьеса Набокова – пародия на все эти темы европейского театра.

Можно гадать, насколько тесно увязывал автор свою пьесу с окружающей политической реальностью 1930-х годов; судя по опубликованному в это же время (1938 г.) и в тех же «Русских записках» рассказу «Истребление тиранов» и позднему комментарию, проводящему аналогию между ним и вторым английским романом «Bend Sinister» (1947), связь эта была достаточно тесной.

Сирин-Набоков – художник со слишком острым, интуитивным чувством, чтобы можно было допустить, что он оставит эту банально утопическую историю в ее реалистическом состоянии: как в «Истреблении тиранов», он делает под конец драмы ловкий ход с открывающимся за ним новым, углубленным планом – не то это бред, не то быль – во всяком случае, никакого прибора у Вальса не было и нет, и вся разрушительная сила сконцентрирована у него в груди. По мнению критика Г. В. Адамовича (см. его статью в газете «Последние новости»), именно к концу пьесы само собой возникает сходство – от всякого родства с которым Набоков отрекся бы: «На что это похоже? К чему близко это водворение здравого смысла в правах, после долгих испытаний его? К «Балаганчику». Конечно, совсем другой тон, гораздо меньше лиризма, гораздо больше уступок злободневности, но приемы те же: генералы у министра на совещании (во втором действии) – почти слепок с блоковских мистиков».

К чести пьесы, нужно, на наш взгляд, признать, что, в отличие от крайне тенденциозного рассказа, в котором искренняя ненависть уложила на лопатки художественность повествования, драма о Вальсе написана гораздо более артистически сбалансированно. Нельзя отрицать, что по прочтении ее охватывает тягостное чувство, как будто бы на первый взгляд родственное «привкусу» от произведений Кафки, Орвелла и т. п. Но сходство это мнимо: по сравнению со всеми этими авторами, от которых Набоков принципиально предпочитал отталкиваться, созданная им вселенная не безнадежна, безумные поползновения не застыт в ней полностью солнца и спасение возможно.

В тронной речи Вальса звучат мотивы Великого инквизитора из Достоевского: власть над людьми во имя любви к человечеству, счастливое послушное человечество, счастье людей как следствие их несвободы, детское счастье людей внутри «ограды»: «внутри пределов, незаметных детям, мир будет

счастлив». «Но так пылать такой любовью к людям и не спасти слепого мира – нет, как можно мне от власти отказаться?» Это – Великий инквизитор. («Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы». «Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, с хором, с невинными плясками». «Будут тысячи миллионов счастливых младенцев...») В третьем же акте уставший инквизитор больше похож на Хлестакова: распад сознания, легкость в мыслях необыкновенная, и слова, по гоголевской ремарке, вылетают из уст неожиданно («Не понимаю, почему не делают того, что я хочу. Какой садовод, где? Не нужно мне садоводов»). Возникают здесь в его капризах и мотивы русской волшебной сказки: кровать, сама везущая в ванну, – Емеля, ездящий на печи; постройка дворца за 10 дней. В тронной речи пародированы и мотивы «Интернационала» («Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир построим...»), и советский декрет о мире: «вот декрет, которым я начинал свое правление».

Однако вновь в этой пьесе, как в «Событии», явственно ощущается жутковатая «предельная метафизика» автора. Стоит сравнить «Изобретение Вальса» с одним из лучших романов Сирина-Набокова «Отчаяние»: сюжет его вкратце складывается из того, как уже не мерзкий подпольный подлец, а прирожденный художник, хоть в данном случае по профессии и предприниматель, но с поэтически организованной душой, встречает неожиданно своего двойника-люмпена. Увидев потрясающее внешнее сходство, он задумывает – не из какой иной корысти, кроме художнической, – организовать по всем правилам искусства его убийство так, чтобы оно было принято за самоубийство самого героя и ему была бы выплачена страховая премия (все признаки «реального» детектива являются здесь ничем иным, как сознательной пародией на «Преступление и наказание»). Его афера терпит крах по как будто бы вполне простому поводу (из-за оплошности на месте убийства забыта палка с вырезанным на ней подлинным именем), но настоящая причина неудачи куда более метафизическая: оказывается, никто и не думал видеть сходство между убитым бедолагой и героем. Главная предпосылка теперь уже не отрицательного, а вполне сочувственно написанного персонажа оказывается трансцендентально битой. Художник вотще

поверил своей звезде – на самом деле она увлекает его в пропасть.

«Набоковиана», созданный писателем мир, в том виде, в каком он на самом деле мыслил организацию космоса, оказывается существенно жестоким; это вселенная, в которой творец играет со своей тварью в замысловатые и зачастую далеко не милосердные игры. Он, этот набоковский творец, способен фатально обмануть, хотя и сделает это мастерски, сродни самому писателю.

Таким образом, поэтика набоковского творчества – наиболее игровая, по преимуществу театральная, из всех других русских писателей; но она же дальше всех их заходит в сторону от традиционной христианской нравственности и учения о спасении. Апофеоз этого отклонения представляет собой последний роман писателя – «Гляди, гляди на арлекинов!», – где он замахнулся на самое историю, попытавшись объегорить судьбу и переписать свою собственную биографию, представив в прошлом события по личному усмотрению. Знаменателен в отношении его «игровой вселенной» эпизод, давший имя роману: некая двоюродная бабушка героя-протагониста, по имени «баронесса Бредова», постоянно кричала ему, когда он мальчишкой был оставляем на ее попечение:

«– Прекрати хандрить! Гляди на арлекинов!

– Каких арлекинов? Где?

– Ох, везде. Всюду вокруг себя. Деревья – это арлекины. Слова – это арлекины. А также ситуации и сущности. Соедини вместе две вещи – шутки, образы, – и ты получишь тройного арлекина. Начинай! Играй! Изобрети мир! Придумай реальность!»

«– И я это сделал, клянусь Юпитером, – признается рассказчик, – начав с того, что выдумал самое эту свою двоюродную бабу...»

Набокову пытались приписать тяготение к гностицизму, масонству и т. д. Действительно, какие-то элементы подобия с ними несомненно есть в его творчестве, однако позволительно сомневаться, чтобы он когда-либо захотел примкнуть к какой-либо организации, будь то политическая, творческая или религиозная: ему, по его собственным словам, претили люди, настырно стремившиеся внедриться в подобные структуры с тем, «чтобы энергично в них раствориться», – тем не менее, ему было присуще личное знание о невидимой реально-

сти, о которой он, будучи подлинным художником, позволял себе говорить чрезвычайно осторожно, и исключительно в образах. Показательно в этом отношении одно из немногих его почти прямых признаний в известном стихотворении «Слава»:

Но однажды, пласты разуменья дробя,
Углубляясь в свое ключевое,
Я увидел, как в зеркале, мир, и себя
И другое, другое, другое...

При всей несомненной игровой подоснове и крайне своеобразной духовности, обеспечивающих зрелищность набоковского искусства, позволительно задать вопрос о том, насколько сценичными были созданные им пьесы.

Они давно уже не идут на подмостках, однако постановка «События» Ю. Анненковым в 1938 году в «Русском театре» в Париже была, по словам В. Ходасевича (см. его статью в «Современных записках», №66, 1938), «действительным событием русской театральной жизни». Пьеса прошла четыре раза, и, судя по воспоминаниям Н. Берберовой («Курсив мой»), это означало большой успех. А в 1941 году «Событие» было поставлено на нью-йоркской русской сцене Г. С. Ермоловым в художественном оформлении другого известного театрального художника, М. В. Добужинского, – и опять большой успех.

Зато «Изобретение Вальса» так и не было поставлено в «Русском театре», хотя оно было объявлено в постановке Ю. П. Анненкова (см. газету «Последние новости», №6430 за 3 ноября 1938 г. и №6439 за 12 ноября 1938 г.) и должно было быть третьей постановкой третьего сезона «Русского театра» в Париже. Однако премьера новой пьесы В. Сирина, объявленная на 10 декабря 1938 года, не состоялась...

В рассмотренных здесь пьесах есть немало сценически выигрышных мест, но одновременно немало и таких, явно сознательно сделанных эпизодов, которые вполне могут быть восприняты и поняты лишь при чтении, да и то «медленном». Набоков и тут, как всегда, верен себе – в сочетании «Театр Набокова» надо делать ударение на втором слове.

В заключении приходится сказать несколько слов об одном факторе, составляющем несомненную ущербную сторону Набокова-драматурга, ущербную именно сценически:

о том, что происходит с чудесной набоковской прозой в ремарках. В «Изобретении Вальса» – «входит полковник и передает министру в машинальную руку письмо»... Точно так же прозвище Ревшина в «Событии» («Волосатый глист») – из пьесы при постановке выпало бы, оно наличествует только в ремарке... Как и чудесное, чисто набоковское замечание, что Вера мягче и ручнее сестры... Режиссеру-постановщику делать с этим нечего, радость от этих фраз – удел только читателя, дальше которого – к зрителю – набоковские пьесы по сей день почти не дошли. Зато Адамович, со своей стороны, считал, что мейерхольдовская сухая ироническая фантазия могла бы внести в спектакль то, чего не может дать чтение, поэтому для постановки набоковских пьес нужен был бы режиссер мейерхольдовского склада. Вообще можно только пожалеть, что никакой театр по сей день не заинтересовался набоковскими пьесами; правда, сын Набокова, Дмитрий, перевел на английский язык «Изобретение Вальса» в 1966 году, а «Событие» – совсем недавно, в 1984 году.

Пора бы, кажется, собрать в один том и издать пьесы Набокова, ведь лучшие из них, в первую очередь «Событие», ставят Набокова в один ряд с лучшими русскими драматургами XX века – с Булгаковым, Платоновым и Шварцем.

Также интересен вопрос о месте набоковской драматургии в истории русского театра вообще, которая в принципе довольно коротка – срединное ее течение от «действ» XVII века, через трагедии и комедии классического XVIII века к «Борису Годунову» Пушкина, «Ревизору» Гоголя и пьесам Островского в XIX веке и, наконец, к Чехову в начале XX-го. Следующим звеном и является театр Набокова, параллель которому соблазнительно попытаться найти в пьесах несостоявшегося русского сюрреализма и, например, в «Елизавете Бам» Хармса. Но при ближайшем рассмотрении сходство оказывается ложным – у обэриутов и «сверхсущностников» мир был в принципе бессмыслен и абсурден, у Набокова же он представляет собой совершенно иное: это все-таки гармония, но гармония в основе своей необычайно, «до ужаса», своеобразная.

Все волосы, впрочем, на одиннадцать частей не расщепить, а покойный Набоков уже о нас и о всех грядущих литературоведах, занимающихся его творчеством, более или менее полно высказал свое мнение в позднем предисловии (1963) к

«Защите Лужина», где для недостаточно внимательных литературоведов расшифрован демонстративно-издевательски мотив «матового стекла», – так что воздержимся от дальнейшего анализа.

Париж, 1985

ГЕРРА Ренэ – французский славист – родился в 1946 г. во Франции. Окончил Сорбонну, доктор Парижского университета. С 1975 года читает лекции о русской зарубежной литературе в Институте восточных языков. Автор монографии о художнике С. Шаршуне и ряда статей о русских эмигрантских писателях и художниках. В 1982 г. опубликовал библиографию Б. К. Зайцева (изд. Института славяноведения при Парижском университете).

Колонка редактора

ВНИМАНИЕ: ПРОВОКАЦИЯ!

Недавно в статье Виктора Некрасова, опубликованной в «Русской мысли», я прочитал о выступлении киноактера Николая Бурляева, знакомого советскому и западному зрителю по фильмам Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Выступление это имело место на собрании в Доме кино, посвященном памяти известного сценариста Геннадия Шпаликова.

По свидетельству, полученному Виктором Некрасовым из Москвы, выступление это носило откровенно антисемитский характер. На первый взгляд, в случившемся нет ничего из ряда вон выходящего: всегда, насколько я помню, в среде нашей творческой интеллигенции находились отдельные личности, которые не считали нужным даже скрывать свои юдофобские настроения. Вспомним хотя бы недоброй памяти главного редактора «Дружбы народов» Василия Смирнова или его однофамильца поэта Смирнова Сергея. Настораживает другое. Впервые за последние годы антисемитская вылазка не вызвала не только публичного отпора, но и кулуарного возмущения.

«Я, – пишет Некрасову его московский корреспондент, – был единственный, кто ходил по фойе и возмущался, а все шархались от меня, как от глупого, бестактного ребенка».

Вот это, на мой взгляд, и есть то угрожающе новое, что дало себя знать в самое последнее время в среде советской интеллигенции.

Разумеется, советская система умело провоцирует и подогревает антисемитские настроения в обществе, пытаясь отвлечь сионистским жупелом внимание народа от действительно насущных проблем печальной советской действительности: духовных, политических и экономических. Но, к сожалению, росту этих настроений в немалой степени способствует и та оголтелая русофобская, а зачастую и откровенно расистская пропаганда, которую ведут на Западе некоторые политологические и советологические круги совместно с частью нашей новой эмиграции.

Во многих возникающих и вскоре исчезающих, как грибы после дождя, газетках и журнальчиках, а заодно и по многим радио, вещающим на *русском языке*, *русскому* читателю и слушателю сообщается о его духовной и политической неполноценности, о его врожденной жестокости и раболепии, о полном отсутствии или нищете его истории и культуры. Вся эта, с позволения сказать, продукция, конечно же, проникает прежде всего в образованную среду, а оттуда в виде пересказов и слухов распространяется во все слои нашего общества. И, разумеется, советская печать с охотой цитирует этих новоявленных сирен, выдавая их человеконенавистнический бред за «общественное мнение» Запада. К счастью, подлинно представительная часть западной общественности придерживается совершенно иного мнения. Но, тем не менее, как мы теперь убеждаемся, разрушительный яд русофобии делает свое дело, вводя в заблуждение легковверных и помогая советской системе шантажировать русский народ мнимыми опасностями.

Дело иногда достигает пределов, в цивилизованном обществе почти немыслимых.

Совсем недавно, к примеру, некие самозванные представители еврейского и украинского народов воздвигли в Израиле памятник «украинским жертвам нацистов и русских». Это уже пахнет не только преступной глупостью, но и просто провокацией в духе нашей незабываемой Лубянки, ибо ни еврейский, ни украинский народы, уверяю вас, не имеют к этой гнусной затее ровно никакого отношения.

Разумеется, расистские завывания разного рода околотературной и околополитической публики, компенсирующей этим свою профессиональную несостоятельность, не могут вызвать у нормальных людей ничего, кроме брезгливости и презрения, но яд ее русофобии и человеконенавистничества, как свидетельствуют реальные факты, уже оказывает у нас в стране своё разрушительное влияние.

Поэтому всякий раз, когда розенберговские наследники в западной советологии, политологии и славистике, а также в нашей собственной среде выплескивают на страницы западных и русскоязычных изданий свои убогие по уровню, но воинствующие по содержанию псевдоконцепции, мы обязаны предупреждать наших читателей, как на Западе, так и в тоталитарном мире:

– ВНИМАНИЕ: ПРОВОКАЦИЯ!

Наша почта

Дорогая Редакция:*

В №42 «Континента» Вы спрашиваете, может ли статья Л. Лосева о романе А. Солженицына «Красное Колесо» или даже сам роман быть поняты в каком-то смысле как антисемитские, а также может ли сын «безродного космополита» (видимо, Л. Лосев) оказаться к тому же и антисемитом. К сожалению, ответ на оба вопроса положительный: может.

Дело однако не в антисемитизме. Каждый заметный в истории народ имеет недоброжелателей. Справьтесь, к примеру в «братских» республиках об их пожеланиях «старшему среди равных». Если бы роман А. Солженицына исчерпывался историей, как «беспольный, ироничный, черный» еврей Богров, «извиваясь», убил «мужественного, крепко стоящего, светлого» русского Столыпина (я цитирую выборки Л. Лосева из романа А. Солженицына), ни сам роман, ни рецензии на него не представили бы интереса.

Ноги, однако, растут не из антисемитизма, а из неразумного про-русского национализма. А. Солженицын выступает не столько беллетристом, сколько историческим философом (вроде как Л. Толстой), чтобы вместе с читателем осмыслить те полные ужаса и величия десятилетия, которые прервали неторопливое течение века прошлого и составили события нынешнего. И вот именно тут А. Солженицын оказывается неспособен справиться с материалом. Почему? Ведь столько подробностей перерыто...

Неверно главное: историологическая концепция. Слишком легко *верующий* писатель принимает расхожую идею Бога-пенсионера, поручившего человеческие дела героям, злодеям, а то и просто производительным силам. Кому и зачем молится человек А. Солженицын, если Бог на историю влияния не оказывает? А если оказывает, то руководит ею – не ходить же Ему в подчинении у царей, президентов или безродных акул Уолл-Стрита.

* Стиль и правописание автора письма оставляем неприкосновенными. – Прим. ред.

А если Бог руководит, то первый вопрос: Что в духовном развитии Российской Империи привело к произошедшему? Ведь смешно полагать, что без Божьего ведома В. Ленин с несколькими тысячами почти безоружных сторонников разорил и покорил за 4 года державу со 170 миллионным населением. «Какое наказание от Бога» – спрашивали у Иеремии его сограждане. «Я покину вас» – отвечает Бог – говорил им Иеремия.

Общий ответ видится из слов философа и социолога кн. Е. Трубецкого, цитированного в том же №42 «Континента»: «Несомненный, бросающийся в глаза рост материального благосостояния пока (1913 г.) не сопровождается сколько-нибудь заметным духовным подъемом». Отсюда и воинственность левых партий (ведь это не просто партии, а люди, которые шли на почти верную смерть – зачем?), и туповатость правящих кругов, и сам царь, который своей предательской нерешительностью устраивал, хотя и в каждом случае по-своему, почти каждую из борющихся партий (Россия имеет опыт смены царей, которые не устраивали...)

Многонациональная, схваченная единым обручем – русским народом Россия росла не в доброе, мирное, демократическое государство как утверждает Л. Лосев, а в самодовольного колосса-угнетателя с которым через 10-15 лет не справился бы никто в мире. Даже и сейчас, после двух Мировых и одной Гражданской войн, Сталинского террора и 40 лет экономико-алкогольного вырождения, когда русская женщина за свою жизнь родит в среднем лишь одного ребенка, да и то не всегда нормального, – даже и сейчас это – держава, которую боятся больше, чем любую другую державу мира.

А тогда век только начинался. Рождаемость была рекордная, Теория Относительности была уже опубликована, а будущие создатели атомной бомбы ходили в школу – отличники. Мир ожидало глубочайшее подавление Духа в нем (тоже уже описанное тогда в «Железной Пяте» Дж. Лондона). Да и всему «культурному» миру сверхчеловеков и колонизаторов, кому «гипотеза» Духа была не нужна, – этому миру предстояло меняться. В него пришел Меч.

Всего этого нет в философско-историческом мышлении А. Солженицына как оно выглядит со страниц «Красного Колеса» и «Письма к Вождям». Дух замещен кумиром под названием «русский народ», который вот уже скоро два века ри-

суется по стандарту: носитель правды, доверчивый, талантливый, трудолюбивый, всеми притесняемый страдалец, готовый за правду на великие подвиги. Тут нужно оговориться: я жил среди многих народов и не нашел, что слова: русский, немец, еврей или американец означают, что один человек лучше или хуже другого. Эти слова говорят о языке, о том какая школа жизни возможно пройдена, но не о человеке самом. Лишь когда скажут, кто это конкретно, о нем можно судить по его словам и делам.

Но народы – это собирательные группы, не имеющие человеческой телесности. Любой народ – и правдолюбец и лжец, и талант и тупица, и т. д., и т. д. Название народа – его конкретное имя.

Современный русский народ далек от кумира того же названия. Это давно уже не группа «чистых» потомков «руссов» – славян, живших на землях вокруг г. Киева, а пестрая смесь еще и татарских, польских, немецких, французских, еврейских и т. д. кровей, вовсе не сцентрированная вокруг Киева (теперь это – столица украинского народа, который не торопится считать себя русским), но соединенная русским языком и культурой.

В свою очередь, современный русский язык – опять в значительной своей части построен на корнях, взятых из других языков, а все языковое древо белых людей растет из санскрита – языка древних индусов. Культура русского народа, как и других народов Европы и Америки, основана на иудо-христианской и эллинской традициях со значительной частью взаимно переведенного материала. Более давние привнесенные пласты: византийско-греческий и татарский. И язык, и культура любого народа в своей основе сотворены всем миром.

Где живет русский народ? Столица его – Москва, но живет он по всей территории СССР: в Сибири и на Дальнем Востоке, народы которых частично выбиты, а частично руссифицированы, и во всех «братских» республиках от Прибалтики до Средней Азии. Живет, как и 100 лет назад, на правах центрального народа Империи: его язык – ее официальный язык, его культура – ее культура.

Каковы слова и дела русского народа? Они далеко не всегда вызывают восхищение человечества. Точнее: это – один из *наименее* любимых народов мира со времен более ранних, чем 1917 г. Если этот народ, вместо любования своими стандартными изображениями, трезво посмотрится в зеркало,

согласится ли он собраться отовсюду на житье в болотистые леса Севера, как зовет А. Солженицын, чтобы в скитах молиться Богу, Который почему-то – еврей? Не разорят ли и не разгонят ли его потом даже небольшой военной силой по всему миру на последующее уничтожение?

Русскому народу сейчас плохо. Ложная система, принятая и поддерживаемая по духовной слабости, политической неграмотности и взаимному небрежению (потому и перерезали друг друга, дав Ленину власть) – убивает его. Но ложью ложь не выправишь.

В статье «СССР – Россия Сегодня, Завтра?» я писал, что нужно покинуть кумир национализма, а выход искать в единстве людей, персонализации всей экономики страны и на этой основе – в переходе русского народа на статус центрального (как в США) народа чтобы каждый мог числиться «русским». Если русский народ и его соль – интеллигенция духовно достаточно еще сильны чтобы начать – спасутся. Но статьи о посконной исконности, ведущие в болото, вы печатаете, а мою в течение двух лет не собрались.

Теперь снова о статье Л. Лосева и романе «Красное Колесо». Ложная концепция ведет к лживому тексту: еврей Богров отвернул Россию от ее прекрасного будущего. Всем нам из-за этого теперь плохо. Какие выводы будем делать? Слов нет, Столыпин был серьезный политик и реформатор, а его идея персонализировать владение землей и образовать новый для России класс фермеров – блестяща и актуальна до сих пор.

Но правда ли, что его убийство свернуло Россию на рельсы войны, революции и т. д.? – Нет. Не правда. По тому же «Красному Колесу», Столыпин к моменту убийства был уже политический труп, и отставка его была делом недель: каждому заштатному генералу дали охрану, а премьер-министру и министру внут. дел – не дали. Настолько был не нужен! (Кстати, а кто мог не дать?) Царь после убийства доволен: не надо беспокоиться снимать с должности – это по «Красному Колесу». И еще: если бы не был он политическим трупом, его линия не погибла бы, а была доведена последователями.

Мог ли Столыпин хотя бы повлиять на решение вступать или не вступать в Войну, предупредив царя, если бы был не убит, а просто отправлен в отставку? За это «бы» не забывает зацепиться А. Солженицын.

Опять – нет. Смена Столыпина была звеном большой цепи, а переориентация на страны Антанты и участие в Мировой Войне на их стороне готовились годами, а не произошли за несколько дней, как это представлено в романе. Поважнее на тот момент, чем отставной без роду премьер предупреждали царя против Войны: Г. Распутин, П. Дурново – в глубоко продуманных прочувствованных словах. Ничего к ним Столыпин не добавил бы. Да и что добавлять? Не убивай – сказано Нюю, т. е. всем людям земли, сказано Моисею – значит всем, кто чтит Библию. Добавлено особо Христом. Не эта ли бесчувственность страны послужила последней каплей?

Много еще в чем можно упрекать автора романа и рецензента. Но пока довольноно.

С уваж. В. Львов

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы публикуем это письмо не в силу его убедительности, а лишь потому, что оно довольно показательно отражает уровень и направление мысли, весьма характерные для той части современной советской интеллигенции, которую теперь метко окрестили «образованщиной».

Здесь всё – от оценки роли Столыпина в русской истории до взглядов на Первую мировую войну – из стандартных советских учебников. Наряду с целым рядом справедливых критических замечаний по адресу первых томов «Красного колеса», мы сталкиваемся в этом письме с «большим джентльменским набором» расхожих банальностей, изложенных, с одной стороны, в терминах «Науки и религии» (в той части, где автор пишет о Боге и Божьем Промысле), а с другой – на уровне тех советологов из западных университетов, для которых наши дилетантствующие недоучки из новой эмиграции являются оракулами всех мыслимых познаний о России.

Разумеется, не «В. Ленин с несколькими тысячами почти безоружных сторонников разорил и покорил за 4 года державу со 170-миллионным населением», но в то же время автору прекрасно известно, что в эти самые сто семьдесят миллионов входили тогда не одни русские и что среди «нескольких тысяч почти безоружных сторонников» В. Ленина были также не одни только представители русского народа. Кстати сказать, многие единомышленники автора письма оспаривают теперь

даже русское происхождение самого Ленина. Что ж, мы уверены, русские с удовольствием уступят эту сомнительную честь всякому народу, который на нее претендует. Правда, едва ли такой народ на земле отыщется.

Заранее оговоримся: мы далеко не сторонники мнения, что русский народ – «носитель правды, доверчивый, талантливый, трудолюбивый, всеми притесняемый страдалец, готовый за правду на всякие подвиги». Мы утверждаем и не перестанем утверждать, что русский народ ни в чем – ни в плохом, ни в хорошем – не отличается от всех других народов земли, ибо, по своим убеждениям, мы прежде всего интернационалисты. Мы только полагаем, что этот народ несет точно такую же ответственность за все случившееся в России, как и все народы, населявшие ее в тот период и продолжающие населять ее по сей день. Не более, но и не менее.

В самом начале своего письма автор справедливо замечает, что «каждый заметный в истории народ имеет недоброжелателей», но несколькими абзацами ниже делает неожиданный вывод, будто русский народ – «один из наименее любимых» в мире.

Проблема любви и ненависти к каким-либо народам – тема сложная и требует особого разговора. К примеру, наиболее нелюбимым народом в мире (если судить не только по советским, но и по европейским средствам массовой информации) считается самый, на наш взгляд, великодушный, щедрый, демократичный и незлопамятный американский народ. И тоже «со времен более ранних, чем 1917 г.». Не одна только коммунистическая пресса в Европе ведет оголтелую антиамериканскую пропаганду, не отстают от них и вполне уважаемые буржуазная печать, радио и телевидение. Ненависть к Америке открыто насаждается в университетах, интеллектуальных и научных кругах. И не одни только распропагандированные недоумки в Европе во всеуслышанье твердят, что Америка – главный враг человечества. Почитайте-ка хотя бы многочисленные выступления по этому поводу таких, казалось бы, вполне умеренных политиков и интеллектуалов, как Вилли Брандт, Улаф Пальме, покойный Генрих Бёлль или Гюнтер Грасс.

Мы уж не говорим о так называемом Третьем мире или Латинской Америке, где слово «гринго» давным-давно служит синонимом всего самого негативного на земле.

Поэтому, когда мы говорим о «нелюбимых народах», то следует, на наш взгляд, уточнить: кем нелюбимых? Господином Львовым и двумя десятками его комплексующих единомышленников? Но русский народ (как, впрочем, и любой другой!) в их восхищении не нуждается и «нелюбовь» их как-нибудь переживет.

В противном случае, в «нелюбимых» окажется и еврейский народ, ненависть к которому в арабском мире (разумеется, умело подогреваемая и культивируемая!) давно перешла всякие допустимые эмоциями границы. А в каком тоне писала цивилизованная западная печать об Израиле и его народе после трагических событий в Сабре и Шатиле, к которым ни Израиль как государство, ни, тем более, его народ не имели ровно никакого отношения!

Если бы Советская Россия вызывала в мире хотя бы сотую долю той, мягко говоря, «нелюбви», которая распространяется средствами массовой информации Европы и Третьего мира по адресу Америки и Израиля! Может быть, это способствовало бы тогда большей мобилизации сопротивления распolzанию по земле чудовищной тоталитарной системы.

С еще большими основаниями в «нелюбимых» может оказаться и немецкий народ, некоторые и далеко не лучшие представители которого загнали в душегубки шесть миллионов – и чаще всего лучших – представителей другого народа, не считая уже всего остального.

И так далее, и так далее.

Антирусские настроения среди народов, населяющих Советский Союз и Восточную Европу, вполне объяснимы, ибо русские для них являются персонификацией тоталитарной системы в целом, но, к сожалению, в западном мире по отношению к Советской России и советским русским наблюдается совершенно обратная тенденция. Почти каждому новому эмигранту приходилось быть свидетелем того, как растекаются в радушной улыбке многие западные лица, едва вы называете себя русским, и как угасают эти улыбки и замыкаются эти лица, стоит вам добавить, что вы – эмигрант. В связи с этим нам вспоминается эпизод, рассказанный одним нашим правозащитником. Летом 1983 года он возвращался с конференции, которая происходила в курортном городе Картахена в Колумбии. К несчастью, ему не удалось сохранить своей въездной анкеты, и он должен был заплатить за это штраф. Дело, за-

метим, происходило на следующий день после трагедии с южнокорейским самолетом, сбитым советскими истребителями.

Правозащитник встал в очередь к окошку, за которым сидел принимавший штрафы офицер *гражданской авиации*. Здесь мы вынуждены дать пояснение: каждый участник конференции носил на лацкане пиджака флажок той страны, из которой он приехал. Считая себя представителем советской оппозиции, наш друг носил красный флажок с обозначением «СССР». Едва взглянув на этот флажок, офицер *гражданской авиации* восторженно осклабился:

– Вива Андропов! Со своих денег не берем!

И поставил в паспорте гостя желанный штамп. Это происходило, повторяем, на другой день после известной всему миру трагедии с южнокорейским самолетом.

Разумеется, радушие многих на Западе относится не к русским как таковым, а к советской системе и к ее «прелестям». И это после всего, что о ней написано и засвидетельствовано. После Берлина пятьдесят третьего, после Познани и Будапешта пятьдесят шестого, после Праги шестьдесят восьмого, после солженицынского «ГУЛага», после Афганистана наконец!

Не кажется ли господину Львову, что, сложись сейчас на Западе схожая с российской семнадцатого года экстремальная ситуация, как некто в сером «с несколькими тысячами почти безоружных сторонников» разорит и покорит в этом мире все, что еще остается процветающим и свободным?

Пикантно также и замечание автора о людях, которые шли когда-то во имя своих идеалов «на почти верную смерть». Зачем? – не без пафоса спрашивает автор. В сегодняшнем мире, где чуть не каждый день кто-нибудь идет на смерть, чаще всего нелепую и бессмысленную, движимый национальным, религиозным или идеологическим фанатизмом, вопрос этот звучит, по крайней мере, наивно.

В заключение автор письма уже просто переходит на язык советских пропагандистских клише. Конечно же, в таких случаях появляются «страны Антанты» – понятие, уже отстоявшееся в советской психологии как нечто априорно негативное, а ведь это всего-навсего коалиция *демократических* стран, объединившихся для сопротивления агрессии, спровоцированной самой кайзеровской Германией. Но автор этого не рас-

шифровывает – или по причине элементарного исторического неведения, или с тем, чтобы не напоминать лишний раз читателю, что императорская Россия вступила в эту войну, пытаясь спасти незащищенную Сербию, и не на стороне политически близкой ей Германии, которой, кстати сказать, управлял двоюродный брат Николая Второго, а на стороне демократии, и оставалась, в смертельный ущерб себе, до конца верной своим союзническим обязательствам. К сожалению, партнеры по коалиции не оплатили ей за это взаимностью, наперегонки поспешив вскоре после окончания войны на поклон в Москву к тем, кто в самую трудную для Европы пору заключил в Брест-Литовске позорный сепаратный мир с немцами.

Так что, причем здесь «Не убивай», одному автору известно.

Под занавес невольно хочется вернуть В. Львову его заключительные строки: «Много еще в чем можно упрекать автора... Но пока довольно».

Р. С. К сожалению, автор не гнушается и прямыми передержками, утверждая, что «статьи о посконной исконности, ведущие в болото» мы печатаем, а его «в течение двух лет не собрались». Пересмотрев все сорок четыре вышедшие до этого номера «Континента», мы не нашли ни одной *статьи*, которая бы соответствовала этой характеристике. Что же касается его материала «СССР – Россия сегодня, завтра», то она была отвергнута нами лишь из-за ее полной профессиональной беспомощности. Если это не так, то почему материал этот (насколько нам известно) до сих пор не появился на страницах какого-либо другого русскоязычного журнала, тем более, что среди них немало таких, что выступают с близких ему позиций?

Да и публикуемое нами письмо отнюдь не блещет уровнем стиля и изложения. К тому же, и не отличается элементарной грамматической и синтаксической безупречностью, не говоря уже об оборотах вроде «общий ответ видится из слов», «покинуть кумир национализма», «поважнее на тот момент, чем отставной без роду премьер» и т. д., и т. п.

К сожалению, факт пересечения границы между двумя мирами еще не свидетельствует о несомненном публицистическом даровании любого эмигранта. Но – увы! – некоторые авторы придерживаются прямо противоположного мнения. Тем не менее, мы бессильны чем-либо им помочь.

ПО ПОВОДУ АРЕСТА ОЛЕГА АЛИФАНОВА

Мы глубоко потрясены судьбой Олега Алифанова, тщетно просившего политического убежища в посольстве Франции – одной из стран свободного мира, подпись которой стоит под Хельсинкскими соглашениями, вдобавок той страны, которая всегда гордилась тем, что она – «земля политического убежища».

Нет ничего удивительного в том, что советские власти обрушили репрессии на рабочего, посмеявшегося желать покинуть страну, порядки в которой он твердо, на конкретных фактах разоблачает в своем письме, адресованном в ЦК КПСС. Произвол – вечное оружие коммунистической власти. Она может выхватить человека из тюремной камеры и, не спрашивая его желаний, отправить его на Запад в обмен на своих шпионов или коммунистических главарей. И она же может бросить – и бросает – людей в тюрьму за одно лишь желание расстаться с советским гражданством и советским образом жизни.

Все это не удивительно. Удивительно, что французские дипломаты и не подумали хотя бы заручиться гарантиями относительно дальнейшей судьбы доверившегося им человека, прежде чем убедили его покинуть посольство. Удивительно, что они не сочли необходимым заявить советским органам, что посольство желает в дальнейшем быть осведомленным о судьбе Алифанова и уверенным, что он не подвергся преследованиям за то, что обратился к Франции с просьбой о помощи.

Похоже, что политические и государственные деятели свободного мира все чаще закрывают глаза на советский произвол, лишь бы сохранить возможность праздновать годовщины не исполняемых Советским Союзом соглашений и подписывать с ним новые, которые он точно так же не будет исполнять.

Для молодого московского рабочего начался Бог весть какой тяжкий крестный путь. Для свободного мира – произошла очередная капитуляция.

Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Зинаида и Петр Григоренко, Эдуард Кузнецов, Владимир Максимов.

22 августа 1985

Критика и библиография

СТИХОТВОРЕНИЯ ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ

Хорошо помню, как напряженно прислушивались мы в той, другой жизни к голосам эмигрантских поэтов. Они казались настроенными по другому камертону, и мнилось, что здесь, на свободе, поэту открывается новый горизонт, что просветление, может быть, дается труднее, а может быть, и легче, но оно – иного качества, и уже в этом оставившему отечество – повезло.

Сходные чувства испытываю я сейчас, читая литературу, создаваемую на родине.

Я согласен с теми, кто говорит о единстве русской словесности. Однако есть немаловажная оговорка: в реальности это единство осуществится лишь в будущем, и вполне возможно, что «жить в эту пору прекрасную» нам уже не доведется. А вот болезненный раскол русской культуры – это проблема сегодняшняя, и я не упоминал бы о ней, не приобрети она за последнее десятилетие таких поразительных масштабов.

Ходасевич писал о подвиге литераторов-эмигрантов. С ним не поспоришь. Я, в свою очередь, мог бы уподобить этот подвиг монашескому спасению где-нибудь на Афоне. Но что же тогда сказать о тех, кто подвизались в глухих северных скитах? а на Соловках? а в сотнях других монастырей, раздавленных в недоброй памяти времена? Будем же бережно читать и перечитывать создаваемое дома, достигающее нас с невероятными оказиями, навлекающее беды на авторов. Впрочем, как пишет Инна Лиснянская в стихотворении, посвященном эмигранту-поэту, «теперь и оказий, Как будто мы в разных галактиках, нет...» – и завершает пронзительным:

Здесь связи тесней, чем соцветья сирени,
Но как холодеет душа на юру!
А что до меня, монреальской сирене
Не веря, в привычной неволе умру.

* Инна Лиснянская. Стихотворения. На опушке сна. Анн Арбор, 1984.

В семидесятые годы казалось, что времена Воронежа и Елабуги безвозвратно миновали. В восьмидесятых годах Лиснянская пишет, что отечественный алтарь не жаждет крови поэтов. Отчего же тогда сквозят в этой книге то сушение сухарей, то лес, «перестуканный дятлами, словно тюрьма?» Отчего так много в ней говорится о свободе – ведь по-настоящему свободный задумывается о ней не больше, чем здоровый – о своем здоровье?

Только «не жалеть, не жаловаться...», и тогда получаешь в дар такую свободу, какой уже никто у тебя не отымет – свободу горя, свободу обездоленности. Свободу чистого, почти невесомого бытия, в котором нет места страху, в котором поэт научился, вглядываясь в зеркало, грустно улыбаться.

Ночью – бессонница, днем – гололедица,
Желтый ледок.
Ночью заходит Большая Медведица
На огонек.

И до зари у журнального столика
Тесно сидим.
Тихо страницами дряхлого сонника
Мы шелестим.

Нам-то, бессонным, его толкования,
Нам-то к чему?
Но недоступные опыту знания –
В радость уму.

Что-то неуловимое роднит эти стихи с мандельштамовским «Мы с тобой на кухне посидим...» – поэтика, может быть, разная, позиция – сходная, и я назвал бы ее – цитируя того же Мандельштама – чувством собственной правоты. Приписать ли женской мягкости то, что Лиснянская, слывящая «отщепенкой в любимой стране» и сетующая – «видно, железное сердце во мне», находит в себе силы тех, кто записал ее в «отщепенки», – простить?

Рот закушу до самой черной алости,
Мое молчание – моя броня.
Не мучайте меня – умру от жалости,
Мне жалко вас – не мучайте меня.

Не слушают – прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Книга Лиснянской вышла не в любимой стране, а за океаном, в России она будет запрещена, будет отбираться у пытающихся провезти ее через границу, на обысках – изыматься, а затем, согласно акту, сжигаться в присутствии соответствующих должностных лиц. Есть на вооружении наших органов такое словечко – ущербная литература.

И то сказать, при всей внутренней свободе, при всем бесстрашии, книга эта – далеко не оптимистична. Книга эта – чуть лунатическая, неторопливая, пешеходная. Мир, доступный взгляду и прикосновению – лишь повод для скорби, для нервной и неровной, для ночной мелодии. И много в ней – смерти и кладбищ. И невозвратного – много.

Никогда ни о чем не жалею,
Никогда ничего не изменится,
Лей слезу, голубой Водолей,
На голодную зимнюю мельницу...

В мимоходной толпе облаков
Встречу тени друзей и врагов,
И, потоком сознания подхвачена,
Я под легкие звоны подков,
И под клекоты колоколов,
И под всхлипы души околпаченной
Обойду все родные места –
От бакинской лозы до креста
На лесистой московской окраине.
Наша память о жизни – мечта,
Наша память о смерти – раскаянье...

Признаться, мне меньше по сердцу те стихи Лиснянской, где она повествует, доказывает, анализирует. Результат довольно часто четок, афористичен, но уж больно понятен. Конечно, «слово и болезненней ребенка, и неблагодарнее его». Конечно, «о смерти затеваю речь, а получается – о жизни». Это – добротное. Но Лиснянская умеет по-другому, менее доступно и более безумно. Ей даются стихи безадресные и исполненные горячечного дыхания.

Петляет Руза в полусне.
Петляй, петляй, меня пугая,

Что скоро горло сдавит мне
Твоя веревка голубая.

.....

Как в забытьи, на склоне дня
В Москву-реку впадает Руза,
И тут по имени меня
Внезапно окликает Муза.
Лишь мне слышна, лишь мне видна,
Незримая для посторонних,
Ко мне приблизилась она
С двумя птенцами на ладонях...
Не бойся! Берег есть иной,
Есть мост висячий над петлею
Меж небесами и землею.
Не бойся и ступай за мной!

Почему же два птенец на ладонях? – спросит должностное лицо, пролистав книгу перед сожжением. Почему Руза впадает в Москву-реку на склоне дня? Да и что за иной берег? Смерть, бессмертие, вдохновение?

Не знаю. Не знаю, и счастлив этим, «недоступные опыту знания – в радость уму».

Нельзя писать об этой книге, не упомянув стихов о любви. Любовь в стихотворениях Лиснянской – не романтическая, не пылающая юным пламенем или отчаянием тютчевской последней любви. Это скорее обреченность любящих друг другу перед лицом страшного мира. Попытка отгородиться от него, заранее осужденная на провал. И – бесконечная друг другу преданность. Настолько безграничная, что даже иронии она не боится. «В эфире – глушилка, в квартире – бедлам. К чему нам усталость делить пополам? Не слишком ли поздно пришел ты ко мне? Пол-мира обуглилось в черном окне. И только глушилка, как сердце мое, Еще заглушает себя самое. К чему нам известья из тьмы мировой? Транзистор разбей, а гитару настрой. Гитару настрой, да по струнам ударь, Да так, чтобы числа забыл календарь...»

Как просто и страшно. Где же идиллия: «я с книгою, ты с вышиваньем»? Я вспоминаю развитие этой пастернаковской строчки в трогательной миниатюре раннего Бродского: «штопай мое белье, не зажигая лампы – от золота волос светло в углу...» В обоих стихотворениях подруга поэта безмолвна – но

вот в похожей ситуации, двое в уединении, она бросает свою иглу и обретает голос – который оказывается горьким и хриплым, а как же еще, когда на плечах двойная ноша: и чужая судьба, и свой собственный дар? Любовь становится поневоле не предметом особого описания, а лишь пространством, в котором удваивается жизнь и судьба... Впрочем, лишь до известного предела. Эта любовь так сильна, что едва возникает риск ее потери – как поэт срывается на крик; тот самый любимый, о котором иронизировалось – «бунтуешь? я тоже бунтую, как видно, и я зажила...», преобразается – и любовь вдруг затмевает все, даже Бога. И становится ясной ее настоящая цена.

Возьми меня, Господи, вместо него,
А его на земле оставь.
Я – легкомысленное существо,
И Ты меня в ад отправь.

Пускай он еще поживет на земле,
Пускай попытает судьбу.
Мне легче купаться в кипящей смоле,
Чем выть на его гробу.

Молю Тебя, Господи, слезно молю:
Останови мою кровь.
Хотя бы за то, что его люблю
Сильней, чем Твою любовь.

«Дерзко жить и гибнуть не ропща...» – вот лейтмотив этой книги. Легко сказать, труднее – подтвердить собственной жизнью, еще труднее – почти невозможно! – воплотить в стихи. Недаром Лиснянская так часто жалуется на молчание, на то, что даже на званом пиру приходится «справлять поминки по себе». Стихи – сгущенная сущность жизни; эта последняя – далеко не непрерывный ряд подвигов, и сама ее медлительная безнадежность выводит поэта из себя. Настолько, что вдруг рождаются стихи о похмелье, о слезах, о том, что «спокойно только на кладбище, среди могил знакомых и чужих...» Но – рождаются и живут. И нищета, и обреченность, и минуты слабости побеждаются, а побежденными – становятся частью творчества. В этом преображении и преодолении ежедневного – еще одно достоинство таланта Лиснянской. Я мог бы, впадая в некоторую высокопарность, сравнить ее музу с ласточкой,

сидящей на подоконнике современной, полупустой, не слишком прибранной квартиры и готовой в любую минуту сорваться в гибельные небеса. Только сама Лиснянская вряд ли со мною согласится. Она видит свою мечту, свою музу в образе другой птицы:

Нищает дух не от того ли,
Что мы иной желаем доли,
Что жизнью вечно не сыта
Ночная хищница-мечта?
Прикинувшись звездой заветной,
С пути сбивая незаметно,
Высасывая свет из нас,
Горит ее совиный глаз,
И под неподвижным желтым глазом
Мы медленно теряем разум,
И, чувствуя блаженный страх,
Трепещем в розовых когтях.

Пожалуй, ради этой метафоры я с охотой откажусь от своей.

24 мая 1985

Алексей Татаринов

ВЕЛИКИЙ «РЕНЕГАТ»

Имя Карла Каутского (1854–1938) известно почти каждому советскому человеку, сколько-нибудь соприкасавшемуся с принудительным изучением «марксизма-ленинизма» в СССР, ибо он заклеен Лениным как «ренегат» в полемической брошюре «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Ярлык ренегата так плотно прилип к Каутскому в политической литературе СССР, что уже в двадцатых годах Валентин Катаев описал незадачливого человека, который должен был

Massimo Salvadori. Karl Kautsky and the Socialist revolution. 1880–1938. NLB, London, 1982. (Перевод с итальянского).

правильно заучить ответы на вопросы на экзамене по политграмоте, причем один из вопросов гласил: «Кто ренегат?» – и на него надо было ответить: «Каутский!»

На самом деле, Карл Каутский был один из главных вождей немецкой социал-демократии, служивший одно время предметом почитания для большевиков и в особенности для Ленина, но сразу после большевистской революции резко ее осудивший и сделавший борьбу против большевизма главным содержанием остатка своих долгих лет.

Его сокрушающая и непримиримая критика советской политической системы совершенно неизвестна русскоязычному читателю, а она по своей глубине, вероятно, превосходит все, что было сказано по этому вопросу представителями неталитарного социализма.

Эта критика занимает большое место в фундаментальном исследовании о Каутском, принадлежащем перу известного итальянского историка, профессора Туринского университета Массимо Сальвадори.

Оставим в стороне критику Каутского как марксиста, ограничившись замечанием о том, что Каутский пришел к совершенно иному, чем Ленин, взглядам на природу социалистического общества, ибо, по его взглядам, демократия была необходимым *предварительным* условием для построения социализма. Обобществление производства без демократии, по твердому убеждению Каутского, могло привести только к худшей деспотии, чем любое капиталистическое общество, причем это мнение Каутский высказывал еще до большевистской революции.

Когда началась мировая война, Каутский высказал предположение, что ее результатами будут: 1) упадок Европы; 2) подъем антиимпериалистической борьбы в колониях; 3) рост роли США, которые возьмут на себя лидерство в капиталистическом мире; 4) падение монархии в России.

Вместе с тем он считал, что наученные горьким опытом мировой войны капиталистические страны постараются предотвратить ее повторение и создадут нечто вроде капиталистического Интернационала. Таким образом, он отвергал представление Ленина о том, что империализм и стремление капиталистических стран захватить страны-источники сырья является последней стадией капитализма. Он предвидел, что капиталистические страны придут к соглашению о мирном разделе

сфер влияния, зон источников сырья и рынков сбыта, чтобы не потрясать войнами свое существование. Такую систему Каутский называл «ультра-империализмом». Отсюда следовали важные практические выводы. Согласно Каутскому, капитализм далеко не изжил себя, как утверждал Ленин, оправдывавший своей теорией империализма необходимость немедленной революции и захвата власти.

Каутский приветствовал Февральскую революцию в России, говоря, что первоочередной задачей в России является созыв Учредительного собрания. Но он не мог предполагать, что большевики от имени марксизма поведут дело к захвату власти и полному подавлению демократии. Как пишет Сальвадори, «Каутскому – ветерану-теоретику организационного единства пролетариата, теоретику необходимости парламентарного большинства как необходимого условия для захвата власти, теоретику технической незаменимости парламента и представительной демократии во всех крупных современных государствах, теоретику гражданских и политических свобод как общего наследия всех обществ, большевизм представился как демон раскола в рядах рабочего класса, безжалостной и варварской силой, разрушающей политические свободы, добытые народной борьбой в течение десятилетий, лидером непримиримой бюрократической, полицейской и военной диктатуры. Как будто призраки Вейтлинга, Бланки, Бакунина и Ткачева, соединившись в одно, стали расхаживать по земле, на сей раз вооруженные всей силой и методами насилия бывшей царской империи, благодаря перевороту, совершенному против демократии и истинного социализма».

Начиная с 1918 года вся энергия Каутского направляется на борьбу против большевизма. Им написаны многие книги, брошюры и статьи, почти целиком направленные против политической системы СССР и ее идеологии.

Большевики, по мнению Каутского, отошли от социализма, как только они разогнали Учредительное собрание и отменили всеобщее избирательное право. Тот факт, что большевики победили в гражданской войне, вовсе не говорит о том, что это победа социализма. Они победили потому, что отошли от его принципов. Если бы они были верны своей программе, они наверняка бы были побеждены. Анархический в своей первой фазе, говорил Каутский, большевизм в своей второй фазе стал незаконным наследником прежней деспотии, кото-

рую он далеко превзошел. Большевизм «является деспотизмом, равного которому по степени угнетения Россия не знала», говорил Каутский еще в 1920 году. Большевизм неизбежно обречен на то, чтобы стать реакционным оплотом борьбы против пролетариата. Чтобы сохранить свою власть, вожди большевизма пойдут на сотрудничество с западными капиталистами в борьбе против русского пролетариата. Уже в 1919 г. Каутский приходит к заключению, что «большевистский режим, основанный на диктатуре партийных лидеров, политически и экономически более угнетает рабочий класс, чем сам капитализм».

Каутский резко отрицательно отнесся к идее Третьего Интернационала, видя в нем лишь инструмент государственной политики Советской России. В 1925 г. Каутский говорил, что «советское правительство вот уже несколько лет занято, главным образом, тем, чтобы поработить, разложить, ослабить и оболванить пролетариат как внутри, так и вне России, делая его все более неспособным к самоосвобождению».

В середине двадцатых годов он еще раз указывает на причину жизненности большевистского режима. По его мнению, как только большевики заметили, что революция терпит поражение, они беззастенчиво взяли на себя функцию контрреволюции.

В 1930 г. Каутский едко высмеивал тех, кто защищал советскую систему из опасения, что иначе в СССР может возникнуть бонапартизм:

«Что еще должен сделать Сталин, чтобы прийти к бонапартизму? – говорил Каутский. – Или же мы будем считать, что там нет бонапартизма, покуда Сталин сам себя не коронует?»

После победы фашизма в Италии Каутский обвинил большевиков, что именно они послужили школой репрессий для Муссолини. По его словам, «фашизм – не что иное как напарник большевизма. Муссолини просто обезьянничает с Лениным».

Каутский, вопреки всеобщей вере в то, что в СССР якобы воцарилась плановая система, вообще отрицал плановый характер советской экономики. По его словам, т. н. советское планирование является лишь использованием целой государственной экономики на службе деспотической воли и частных интересов «нового правящего класса». Таким образом, в своей

критике «нового класса» Каутский предвосхитил Джиласа. Этот класс экспроприаторов, говорил Каутский, необходимо экспроприировать: то, что они называют себя коммунистами, ничего не меняет. Он полностью отрицал возможность внутренней эволюции советского общества.

Каутский резко осуждал тех социал-демократов и меньшевиков-эмигрантов, которые говорили, что существующая в СССР власть все же лучше, чем грозящая ей «контрреволюция». Каутский же утверждал, что нет ни единого соображения, согласно которому существующая система должна почему бы то ни было поддерживаться социалистами. На этом основании он полностью отрицал какое бы то ни было сотрудничество социалистов с коммунистами. Каутский резко осуждал лидеров австрийской социал-демократии, полагавших, что СССР идет своим национальным путем к социализму, хотя этот путь и неприемлем для других стран.

Каутский возложил ответственность и за победу нацизма в Германии на коммунистов, чье презрение к демократии сломало рабочее движение и дало нацистам, как и Муссолини, урок репрессивной техники.

Каутский первым предсказал возможность сближения СССР и нацистской Германии.

Невозможно в краткой рецензии передать все мысли Каутского касательно советской системы. Но дело в том, что он вовсе не был «рenegатом». Вся его критика большевизма основывалась на его фундаментальных марксистских воззрениях, которые одно время так восхищали Ленина. Каутский до самой смерти оставался убежденным марксистом, теоретиком социал-демократии.

Кто же представляет истинный марксизм: Ленин или Каутский? Известный французский радикал-социалист Жорж Сорель говорил еще в начале века, что марксизм противоречив внутренне. И Каутский, и Ленин развивали различные потенции марксизма, придя к совершенно обратным выводам.

Было бы крайне важно, чтобы кто-нибудь решил перевести книгу Сальвадори на русский язык, лучше, конечно, с его итальянского оригинала. Это стало бы важным вкладом в русскую общественную мысль. Великий «рenegат» это заслужил.

Михаил Агурский

ГЛАЗАМИ ПОБЕЖДЕННОГО

ОТ РЕДАКЦИИ: Не разделяя апологетическую точку зрения автора рецензии, мы, тем не менее, считаем, что наш читатель вправе знать любой альтернативный взгляд на положение в Никарагуа и вынести из противоположной информации самостоятельное суждение.

Книга, называющаяся «Предательство Никарагуа», бывшего президента этой страны ген. Анастасио Сомосы, была выпущена американским издательством «Western Islands» в 1980 г. В это время ген. Сомоса проживал в изгнании в Парагвае, там он наговорил в течение трех месяцев свой рассказ журналисту Джеку Коксу, и вскоре была выпущена книга. Через некоторое время ген. Сомоса был убит.

Его отец, ген. Сомоса, был президентом Никарагуа в течение трех периодов, начиная с 1937 г. и до 1956 г., когда он был убит террористами-сандинистами. Сандинисты – это прокоммунистические террористы, назвавшие свое движение по имени ген. Аугусто Цезаря Сандино, боровшегося против американцев за много лет до этого.

Ген. А. Сомоса-сын был выбран президентом Никарагуа в 1967 г. В 1974 г. он был переизбран на второй срок, который должен был окончиться в 1981 году. Президент Сомоса был большим другом Америки, глубоко верящим в прозападные демократические идеалы. Его страна всегда голосовала в ООН вместе с Соединенными Штатами.

Сандинисты начали активную деятельность в 1963 г. при помощи Советского Союза, Кубы и некоторых других стран советского блока (которые решили захватить Никарагуа для последующей подрывной деятельности против стран Центральной и Южной Америки). Они просачивались через границы соседних государств, устраивали террористические акты, а также пытались своей пропагандой воздействовать на население. В то время они не представляли никакой опасности для правительства. Национальная Гвардия и армия, верные правительству, подавляли все беспорядки. Левые беспорядки поддерживало много иезуитских священников, которые вели прокоммунистическую агитацию, студенты Национального

А. Сомоса. Предательство Никарагуа. – Western Islands, 1980.

университета и левая оппозиция, имеющая свою прессу. Но ген. Сомоса, верный принципам демократии, не хотел лишить университет автономии и запретить свободу слова для оппозиции.

В 1972 г. в Никарагуа было сильное землетрясение. Ген. Сомоса, который был в это время начальником вооруженных сил, был назначен правящей военной хунтой военным губернатором столицы и руководил всеми спасательными работами. Даже его враги признают, что он делал это очень успешно.

В 1978 г. сандинисты начали вторую фазу борьбы против законного правительства Никарагуа, которое на муниципальных выборах в том году получило полную поддержку населения. 22 августа переодетые в форму правительственных спецчастей террористы, вооруженные кубинским оружием и натренированные в лагерях ООП, захватили Национальный Дворец в Манагуа и взяли множество заложников, в том числе и иностранных дипломатов. После очень долгих переговоров заложники были освобождены, а террористам дали возможность покинуть страну.

В 1976 г. в США к власти пришел президент Дж. Картер. Он и его люди в Белом Доме сразу же начали борьбу с режимом ген. Сомосы. Была прекращена военная помощь Никарагуа; начались политические действия стран-членов Организации американских государств против Никарагуа – при поддержке США; начались бесконечные нападки американской прессы на Никарагуа, где ген. Сомоса обвинялся в нарушении прав человека и действиях против свободы слова и религии в Никарагуа; начались засылки в Никарагуа всякого рода комиссий по правам человека и разжигание ненависти к режиму со стороны оппозиции этими комиссиями и т. п.

Американское правительство игнорировало отчеты многих американских конгрессменов Конгрессу о действительном положении дел в Никарагуа, о том, что за действиями сандинистов стоят Советский Союз и Куба. Американские послы в Никарагуа требовали ухода Сомосы в отставку с поста президента и чтобы он и его семья покинули Никарагуа. Американский государственный секретарь С. Вэнс в своей речи в ОАГ заявил, что «надо заменить существующее правительство правительством национального примирения, которое покончит с прошлым». Президент Сомоса пытался заручиться поддержкой некоторых государств-членов ОАГ в своей борьбе с левы-

ми террористами, но его никто не поддержал – по указанию Соединенных Штатов. Более того, несколько государств, в т. ч. Панама, Коста-Рика и Венесуэла, почти открыто помогали сандинистам и давали им прибежище на своей территории. Американские дипломаты обещали Сомосе сохранить Национальную Гвардию и демократические свободы в Никарагуа (после того, как он уйдет в отставку), и что коммунистам не дадут захватить власть в стране. Но Сомоса отказался уйти в отставку, т. к. он видел, что после падения его правительства не будет никакой свободы в Никарагуа.

В сентябре 1978 г. правительственные силы отбили наступление левых партизан и было на время восстановлено спокойствие. Но в начале июня 1979 г. началось генеральное наступление сандинистов с участием коммунистов из других стран, одновременно с Коста-Рики и Гондураса. В то же время Соединенные Штаты всячески пытались помешать Никарагуа купить оружие в других странах. Так, они не дали израильскому судну с оружием подойти к берегам Никарагуа, в то время, как Национальная Гвардия и армия этой страны отчаянно нуждались в нем. Т. о. защитники страны остались без оружия. Армия Никарагуа и ее Национальная Гвардия не были разбиты. Они были просто *разоружены*.

23 июня 1979 г. под давлением США ОАГ вынесла резолюцию, которая призывала к замене режима Сомосы демократическим правительством, к проведению «свободных выборов», к замирению Никарагуа и обещала соблюдение всех прав человека в стране. В резолюции говорилось также о «страданиях народа Никарагуа при режиме Сомосы» – и это тогда, когда было известно, что население поддерживает его. В конце концов 17-го июля ген. Сомоса был вынужден уйти в отставку – только потому, что его вооруженные силы остались практически без оружия для продолжения борьбы. Он решил уехать в Соединенные Штаты, но вскоре Картер отказался разрешить ему въезд. Тогда ген. Сомоса уехал в изгнание в Парагвай – единственную страну, которая согласилась предоставить ему убежище.

Что произошло в Никарагуа после захвата власти сандинистами – всем известно. Страна превратилась в коммунистический плацдарм для захвата остальных стран Центральной Америки и для помощи левым террористам Сальвадора, Гватемалы и др. стран Южной Америки. В самой стране царит

террор, нет никаких гражданских свобод и, конечно, свободы слова. Тысячи граждан Никарагуа были убиты, и имущество их разграблено. Тогда-то президент Картер поднял крик о нарушении прав человека в Никарагуа. Но было уже поздно.

Президент Рейган проводит иную политику. Но надо помнить, что коммунистические силы не прекратили свою деятельность с захватом Никарагуа, а продолжают угрожать всей Центральной и Южной Америке.

Следует прочесть книгу ген. Сомосы, чтобы получить наилучшее представление о том, как Запад предаёт своих друзей.

Б. Хайнман

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Ю. Алешковский, В. Максимов,
М. Лехмин, И. Малер**

Поэзия:

**И. Елагин, Б. Кенжеев,
С. Петрунис**

Публицистика:

**Э. Неизвестный, Р. Берг,
С. Черток, В. Блинов**

По страницам журналов

«НАРОД И ЗЕМЛЯ», №№ 1, 2. Иерусалим

Журнал «Народ и земля», начавший выходить в Иерусалиме в конце прошлого года, представляет собой довольно необычный эксперимент. В подзаголовке его стоит: «журнал еврейской культуры» – и, по замыслу его создателей, журнал должен знакомить русскоязычных израильтян и евреев, живущих в СССР, с явлениями еврейской культуры разных времен и стран. Конечно, порой перед составителями и редакторами встает задача необычайной трудности: во-первых, потому, что на русский язык приходится переводить с самых разных языков: с английского и иврита, с литовского и идиша... и отсюда вытекает вторая трудность: как определить – что имеет отношение к еврейской культуре, а что лишь тематикой или происхождением автора только слегка ее касается... Трудность вполне понятная, ибо возможно точнее определить, что должно, а что не должно быть опубликовано в этом журнале – задача не из легких: условия ее сама история не потрудились точно и определенно сформулировать.

Но обратимся к конкретному материалу, и все эти соображения покажутся маловажными. Впервые на русском языке мы прочтем в двух номерах журнала знаменитый роман американского писателя Бернарда Маламуда «Милость Господа Бога» в мастерском переводе И. Мошковича – сквозь прекрасный русский язык просвечивает манера, стиль американского писателя середины нашего столетия.

То же относится и к переводу поэмы Шломо ибн Гвириля, того самого, который известен в средневековой Европе как Соломон Авицеброн, а в арабско-мавританской культуре Испании как Сулейман-ибн-Джебриель. Необходимо отметить, что переводы поэта Михаила Генделева действительно превосходны.

Интересны и стихи А. Розенфельда, пишущего по-польски, и, конечно, большая подборка стихов разных лет одного из лучших русских поэтов наших дней Семена Липкина. В номере 2 журнала опубликована подборка его стихов на религиозные темы. Философская поэзия Липкина, классическое звучание его стиха – воистину украшение журнала.

При некоторой спорности, неопределенности отдела, именуемого «Звенья», самым интересным пока остается в журнале отдел воспоминаний. И тут центральное место, безусловно, занимают мемуары одной из создательниц государства Израиль, первого посла Израиля в сталинской Москве, впоследствии премьер-министра страны Голды Меир.

Это рассказ не просто очевидца, а активного участника многих важнейших событий. Тут и о борьбе за иммиграцию евреев в Палестину, и о кипрских лагерях и «Эксодусе», о борьбе едва родившегося государства за существование и, наконец, о жизни в Москве, о встречах с такими жуткими личностями, как Молотов, Эренбург, и прочими сталинскими опричниками... И о том, как «через пять месяцев в России не осталось ни одной еврейской организации». Через пять месяцев после того, как в Москве появился посол Израиля и дипломатические отношения были официально установлены... Парадокс? Но таких парадоксов немало на страницах мемуаров, да и вообще на страницах журнала.

Наряду с такими уникальными историческими и человеческими документами, в журнале попадают материалы, которые никак не украшают его страницы, и более того – провоцируют неминуемо у всякого непредвзятого читателя резко отрицательное отношение. Такова прежде всего статья Ш. Маркиша «Пример Василия Гроссмана». Как пишет автор, интересует его прежде всего «путь этого писателя в указанном выше русско-еврейском контексте». Анализ творчества В. Гроссмана, сделанный вполне профессионально, в основном посвящен роману «Жизнь и судьба». Но «пример» Гроссмана, по Маркишу, состоит в том, что он «русский писатель и еврей. Русский писатель еврейской судьбы». И прежде всего в том. С этим аспектом можно было бы и не спорить, образ писателя у каждого критика свой, но Ш. Маркиш почему-то считает необходимым для подтверждения такого взгляда на писателя изложить свое понимание того, что он именует «историософской схемой Гроссмана». Ш. Маркиш пишет: «Мыслители и пророки России, ее сильнейшие умы и сердца воспевали русскую душу и предрекали ей великое будущее, но они не видели того, что русская душа – тысячелетняя раба. Именно поэтом избранником ее стал Ленин». Далее это утверждение критика подкрепляется цитатами из Гроссмана, но цитаты эти все – по два-три слова, вырванные из контекста, и судить по ним, мыслил ли Гроссман так, как говорит Маркиш, или не совсем так, весьма нелегко. Во всяком случае цитаты едва ли убедительно подтверждают эту весьма модную среди западных

расистов концепцию. К счастью, такие «историософские» пассажи в журнале – исключение.

В том же разделе «Звенья» есть серьезные материалы, как, например, «Загадки древних цивилизаций» Б. Мойшезона, который подходит к вопросу изучения дописьменной истории человечества с максимально возможной научностью, объективностью, предупреждая читателя, что именно история древнейших обществ может легко быть использована всякими идеологиями в нечистых целях.

Интересна и статья М. Хейфеца «Мост длиной в 120 книг», в которой автор, историк и сам недавний эмигрант, анализирует причины того, что многие из интеллигентов, при немалом культурном багаже, входя в израильскую культуру, чувствуют, что их знания, относящиеся к области культуры общеевропейской и в частности русской, оказываются здесь, в Израиле, недостаточными, несмотря на явную обширность: «Привыкнув считать себя образованными людьми, мы вдруг оказались в положении невежд и полужнаек». И эту пропасть между двумя культурами и призвана заполнить «Библиотека Алия», мост из 120 (пока 120!) книг.

В конце 1-го номера есть еще один специфический, но интересный раздел «Хроника», где вкратце отражается культурная жизнь еврейства в разных странах Европы, как западной, так и восточной.

Журнал явно обретает свое лицо, во всяком случае старается его сформировать.

В. Б.

ОТ РЕДАКЦИИ: С легкой руки некоторых литературоведов в штатском, осевших на Западе по предварительному соглашению с Лубянкой, розенберговский миф об исконном русском рабстве принялся разгуливать по страницам определенного рода русскоязычных изданий в нашем Зарубежье. Замысел авторов этой, давно скомпрометировавшей себя идеи хрустально прозрачен: помочь советской дезинформации спровоцировать в Советском Союзе волну ответного массового антисемитизма.

Печальнее, когда наживкой такого низкопробного сорта соблазняются люди, интеллектуальная репутация которых выглядела для нас до сих пор совершенно безупречной.

В таком случае мы считаем себя вправе задать автору столь откровенно расистского заявления Симону Маркишу несколько вопросов:

1. Если «рабский» русский народ добровольно «избрал» Ленина (хотя это чистая ложь: на первых свободных выборах – в Учре-

дительное собрание – ему было отдано не более 15% голосов), то почему его избрал также и отец автора – прекрасный поэт Перец Маркиш со товарищи, каковые себя, конечно же, русскими никогда не считали? Причем не только Ленина, но и Сталина, которому служили верой и правдой, как пером, так и делом, возглавляя погромы еврейской культуры в «освобожденных областях» Западной Украины и Западной Белоруссии, поддерживая травлю «Джойнта» и участвуя в работе так называемого Антифашистского комитета, созданного, как известно, незабвенным Лаврентием Берией для промывания мозгов еврейской общественности на Западе. Трагическая гибель этих людей еще не освобождает их от ответственности за жизнь тех, кто погиб до них по их милости и при их содействии. В противном случае нам пришлось бы оправдать многих жертв сталинского террора, которые, к великому нашему сожалению, не заслуживают никакого оправдания, ибо они откровенно соучаствовали в этом терроре.

2. Чем также объяснить активное «избрание» Ленина «представителями» других, вполне свободолюбивых народов: поляков (Дзержинский, Мархлевский и др.), латышей (Лацис, Берзинь, Петерс и др.), грузин (Берия, Гоглидзе и др.), армян (Микоян, Шаумян и др.) и так далее, и так далее?

3. Почему также среди русских, прибывших на Запад с третьей волной эмиграции, нет *ни одного* марксиста, тем более ленинца, а вот среди представителей так называемых угнетенных народов таковых вполне достаточно? К примеру, один из них (кстати сказать, довольно заметный диссидент), внук бывшего министра иностранных дел большевистского правительства, несмотря на свое «свободолюбие», «избравшего» Ленина, – едва приземлившись в Риме, прямо заявил, что не хочет иметь никакого дела с буржуазной прессой, но только с коммунистической газетой «Унита». Правда, последняя не поспешила навстречу своему новому почитателю.

4. И чем же объяснить тогда «историсофскую концепцию» самого Василия Гроссмана, если до конца жизни он носил в кармане партийный билет, на котором красуется силуэт «великого вождя мирового пролетариата»? Правда, может быть, этот билет ему навязали силой, под пытками?

Но тем не менее, этих верных ленинцев автор, судя по всему, считает не рабами, а свободными людьми. Своеобразная и весьма удобная логика, не правда ли?

Но, говоря всерьез, замечательный русский писатель Василий Гроссман здесь ни при чем. Просто иные сообразительные сочини-

тели пользуются сегодня его именем и наследием, чтобы приписать ему свои собственные, глубоко оскорбительные для его памяти идеи по принципу: «мертвые сраму не имут».

Мертвые – нет, а живые, на наш взгляд, должны, хотя бы в минимальной степени.

А. Э. ЛЕВИТИН-КРАСНОВ

(К 70-летию со дня рождения)

Жаркий португальский октябрь 1983 года. Большой зал отеля Ритц в Лиссабоне, где проходят 4-е Сахаровские Слушания, и я среди выступающих свидетелей с сообщением о разделении медицины в нашей стране на медицину трудящихся и медицину партийно-государственной элиты, сравнивая обе их по содержанию, говорю о всех ограничениях, чинимых властью медработникам.

Все 4 дня Слушаний рядом со мной в зале сидел седой, интеллигентного вида, в роговых очках, мужчина. Порой он вскакивал и что-то выкрикивал по ходу выступлений участников Слушаний. Как и многие другие, он возмущался весьма ограниченным временем, дававшимся на выступления свидетелей. Его импульсивное поведение было понятно, ибо всё, о чем говорили свидетели на тему различных ограничений в нашей стране, начиная с жесткой цензуры и кончая ограничениями в приобретении больными медикаментов, – было ему близко. На 4-е Сахаровские Слушания он приехал по приглашению организаторов, придавая большое значение этому политическому событию.

Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов.

Человек высочайшего интеллекта и блестящей памяти, с богатейшими знаниями русской истории и христианства. Так состоялось наше знакомство, перешедшее в дружбу. Пересказывать биографию Анатолия Эммануиловича – нет смысла. Он ее изложил более чем подробно в четырех талантливо написанных книгах: «Лихие годы. 1925 – 1941», «Рук твоих жар. 1942 – 1956», «В поисках нового града» и «Родной простор». Коротко: он родился в Баку 21 сентября 1915 года в семье юриста, отец его был крещеный еврей, мать русская. Вскоре семья переезжает в Петербург, где прошли детские и юношеские годы Анатолия. С детства он познал православие и приобщился к церкви. Это не мешало ему блестяще закончить университет им. Герцена, а затем аспирантуру в Театральном институте. Из-за плохого зрения в годы

войны Анатолия в армию не брали. Затем последовала голодная блокада в Ленинграде, эвакуация и скитания по Кавказу и Средней Азии. Он нашел пристанище в Ульяновске, куда была эвакуирована Патриархия и руководство обновленческой церкви. В последней митрополитом Александром Введенским он был рукоположен в дьяконы. По окончании войны Анатолий Эммануилович обосновывается в Москве, где работает преподавателем литературы в средних и вечерних школах. За правду, именуемую властью «антисоветской агитацией и пропагандой», в годы разнузданного сталинского террора, в 1949 году, он получает «почетную десятку» по 58-й статье. После реабилитации, совместно с бывшим эзком Вадимом Михайловичем Шавровым (ныне покойным), с которым судьба его связала в лагерях, он пишет монументальный труд о путях и обновленчестве русской православной церкви. Затем включается в активную правозащитную деятельность, за что снова, преследуемый властью, получает новый срок заключения. В 1975 году он вынужден эмигрировать из страны.

Обладая блестящим литературным мастерством, А. Э. Левитин-Краснов пишет свою известную книгу «Суровый спутник», в которой делает детальный разбор творчества великого Ф. М. Достоевского. Эта книга, наряду с другими, войдет в золотой фонд русского литературоведения. Затем следует книга «Два писателя», в которой подробно разбирается творчество двух выдающихся современных русских писателей – А. Солженицына и В. Максимова. Вспоминая последние годы в России, Анатолий Эммануилович написал книгу «В час рассвета – 20 лет спустя».

Помимо литературной деятельности, А. Э. Левитин-Краснов принимает активное участие в общественной жизни Зарубежья. Он постоянно выступает с протестами по поводу преследований священников и верующих, как и против всех репрессий, которые власть обрушивает на правозащитников на нашей родине.

Я посетил Анатолия Эммануиловича в Люцерне (Швейцария) накануне его юбилея. В течение двух дней, когда он показывал мне достопримечательности города, мы беспрерывно вели беседы. Он полон творческих планов. На очереди – серия книг о 10-летнем пребывании в эмиграции и интересных встречах. Первая книга из этой серии «Из другой страны» (1985) уже увидела свет.

По своей натуре А. Э. Левитин-Краснов – оптимист в буквальном значении этого слова. Он убежден, что Россия избавится от ненавистного коммунистического режима, он верит, что в деле освобождения сыграет основную роль молодежь, новое поколение. Он верит, что православная церковь на нашей родине из прислужницы тоталитарного режима преобразится и станет поистине свободной. Лозунг уничтоженных большевиками социалистов-революционеров «В борьбе обретешь ты право свое» стал для Анатолия Эммануиловича девизом.

В 70-ю годовщину верующему христианину и талантливому писателю А. Э. Левитину-Краснову хочется пожелать долгих лет жизни и дальнейшего плодотворного творчества!

август 1985 г.
С. Бадаш

Наша анкета

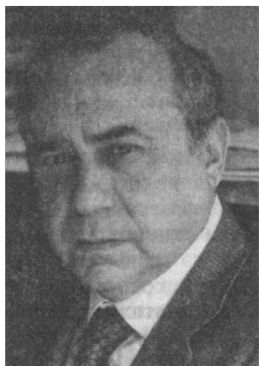
«ВЕСЬ МИР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МАФИЮ»

Интервью с Леонардо Шашей

Ведет интервью Гейтер Стюарт

«Весь мир превращается в Сицилию, – сказал Леонардо Шаша. – Весь мир превращается в мафию».

Шаша в своих произведениях стремится связать Сицилию с Италией и со всем миром, но одновременно он видит признаки того, что мир «сицилианизируется». «В той степени, в какой исчезает общественный темперамент, в той степени, в какой идеи значат все меньше, или становятся нужными только для того, чтобы властвовать над народом, ровно в той самой степени весь мир превращается в мафию».



Один из героев Шаши – двадцатипятилетний, но уже отпетый сицилийский «немыслимый». Капитан карабинеров, только что закончивший долгое дело, один из эпизодов бесконечной борьбы с мафией, говорит, что Италия целиком «немыслима». Но, как и Гёте, как другие, кто наблюдал итальянский мир, он считает, что надо попасть в Сицилию, чтобы понять это по-настоящему. Этот капитан Беллоди уже достаточно взросл, чтобы заметить, что все в Италии «сицилианизируется».

Итак, Шаша говорит, что *весь мир* становится Сицилией. Небо черно над долинами, разрезающими скалистые хребты, оттесняя горы от Палермского залива. Машины карабкаются вдоль улиц сицилийской столицы, на полколеса в грязной воде. Стрелы молний раздергивают бледное небо. Дождь хлещет, и гомерический гром разгуливает в зимнем небе, словно эхо непрерывных ружейных перестрелок мафиози. Черно-серая Сицилия. Печальная Сицилия. Сицилия без улыбки.

Сицилийские контрасты гротескны в сравнении с литературной Сицилией. Где она, Сицилия знойных вечеров и томных ночей? Да существует ли она? Изменчивые женщины, мужчины, одуревшие от ревности и рвущиеся к мести? Зубчатые скалы на фоне тяжелого неба опровергают этот романтизированный образ острова. Эти дикие скалы, местами острые, как ножи, слабо освещенные прорывающимися сквозь низкие тучи лучами неверного солнца. Они отползают перед потоками темноты. Но воздух еще теплый: это рассветный ветер, сирокко из Северной Африки. Эта вечная Африка вечно рядышком. А Сицилия воистину странная. Сама странность Сицилии – странная.

Застряв неожиданно в пробке на улице, превратившейся в реку, я вспомнил старого друга, профессора политических наук из Мюнхена, который спасался от североафриканского ветра, называемого в Баварии фен, тем, что замыкался от всех, отгораживался от всего мира. Запирал двери, надевал халат, шарф, темные очки, чтобы не подвергаться влиянию этого злодейского ветра.

В Сицилии нет убежища от его горячего дыхания. Может, потому, что слишком близка порождающая его Африка. Как только «Африка» начинает спускаться по полуострову», к Неаполю и ниже, это дыхание африканской пустыни всегда рядом с Сицилией.

Шаша никогда не пытается уклоняться от своей судьбы сицилийского писателя, со всем отсюда вытекающим. Он отстаивает свою близость к Сицилии, свои отношения с ней: «Не могу жить с тобой, но не могу жить и без тебя». Он замечает, что похож на своего героя – карабинера, который после нескольких лет борьбы против мафии не раз пытался послать Сицилию ко всем чертям. «Но всегда возвращался», – вздыхает он. Такова и судьба Шаши: вечно возвращаться в Сицилию. «Мои отношения с Сицилией, как у сицилийцев с совестью: отношения любви-ненависти». Шаша-художник прикован к миру, о котором пишет, как прикован к своей тачке каторжник. «Быть сицилийцем – значит быть на передовой, – говорит он. – На самой линии фронта, лицом к проблемам всей Италии, которые здесь обнажены. Потому-то Гёте и многие другие утверждали, что Сицилия – ключ к пониманию Италии. Тут итальянская действительность – как на ладони. Вся. Потому что все достоинства и все недостатки итальянцев тут возведены в куб. Они видны тут безо всяких очков. Это же я говорю и по поводу мафии, хотя мафия – не только сицилийская и вообще не только итальянская реальность. Так что быть сицилийцем – значит не только бороться с этой странной

любовью-ненавистью, но и бороться со всеми здешними проблемами. И бороться с мафией».

Несмотря на самоуверенный оптимизм, взгляд Шаши на жизнь скорее мрачноват: роль сицилийского интеллектуала – не из легких. Шаша – как капитан Беллоди, который очень хочет бросить Сицилию и перебраться в комфортабельную Парму, на Север, с ее спокойствием, порядком, с ее северо-европейскими женщинами. Но ему трудно найти свое место в мире конца XX века.

Его надежды на модернизацию южного склада ума и на возникновение каких-то демократических элементов сознания в Сицилии разбиваются о скалы этого склада ума. Он пытался физически отдалиться, но критики упрекали его в том, что его идея слишком проста. Он пробовал замолчать, оставаясь в своем доме, в современном квартале Палермо, в окружении галереи картин и огромной библиотеки... «Я даже не знаю: может, отправиться в деревню сегодня вечером. Чувствую себя плохо, писать не могу...» Он кашляет, но закуривает новую сигарету, пока его жена подает кофе. Кашляет, жалуется на здоровье, но его болезнь на самом деле – болезнь духа. Это как итальянские черты в Сицилии. Шаша накрепко связан с основными явлениями времени, как всякий «ангажированный» писатель, с основными идеями современного интеллектуала, создающими движущие силы современности: это фашизм и коммунизм, это разрыв Европы, его старой Европы с налетом французской культуры, между двумя сверхдержавами, а в самой Италии – вечная битва между просвещенческой светской мыслью и идеями Католической Церкви... В Италии он переживает разрыв между севером и югом Европы, между древностью южного склада ума, экспансией мафии, моральной коррупцией, с одной стороны, и просвещением – с другой.

(Если Сицилия «немыслима» и сицилийцы тоже, то немислимо и то, как сицилийцы Шаши напоминают многих русских, которых я знал в разных концах света.)

Леонардо Шаша родился в 1921 году в Ракальмуто, деревне с населением в 5 тысяч человек в бывшей греческой провинции Агригентио. Хотя величественные греческие храмы глядят с высоты на юго-западное побережье Сицилии, хотя этот район считается важнейшим среди исторического наследия острова, но сегодня это беднейшая часть его. Шаша никогда не забывает эту деревню, в которой он проводит лето, в которой он написал лучшие свои произведения. Зимой он проводит

в Палермо, в лучшие времена – в Риме, читает, роется в архивах, готовит материал для своих лаконичных книг.

Он рассказал, что читать начал в восемь лет. «Ничего печатного не пропустил». Самыми значительными для него из прочитанных до 14 лет книг – а было их не менее трехсот – оказались Гюго, Дидро (он всегда хотел стать современным Дидро), Вольтер, Руссо (которого он не любит, считая «писателем вне жизни, писавшим античеловеческие книги»), Стендаль, его соотечественник сицилиец Пиранделло (даже земляк – из Агригенто!), Толстой, Достоевский, Гоголь, которого Шаша обвиняет в крайнем пессимизме: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», – вот суть этого пессимизма. Шаша пытается опровергнуть (весьма оптимистически) ярлык пессимиста, который в течение 15 лет на него навешивают итальянские интеллектуалы. «Я должен ответить им, вот я и спрашиваю: а разве за последние 15 лет итальянская действительность не стала хуже, чем прежде?»

Фамилия его – Шаша – происходит от арабского слова, означающего чадру, и очень часта в Тунисе – в стране, куда в прежние времена эмигрировали многие сицилийцы и вообще итальянцы. Один Шаша был долгие годы губернатором Туниса. Но это было давно... Однако Африка для Леонардо Шаши закрыта. Мальчиком в этом мире, опустошаемом сирокко, что веет из Сахары, он познакомился с мафией.

Шаша рассказывает, как в 1927-29 гг. фашисты попытались истребить мафию в Сицилии. Ракальмута была крепостью мафии. Убийства стали ежедневными происшествиями. Армия carabinieri явилась в деревню покончить с мафией по простой причине: двум мафиям тесно в одной стране. При фашизме государство было настоящей мафией. Мафиозное государство уничтожало мафию как соперника.

Следующий его контакт с мафией – после американской высадки в Сицилии, во время Второй мировой войны. Мафия предпочла стать «антифашистской», притом в точно рассчитанный момент, как раз перед высадкой союзников, доставивших список людей, которым можно было доверить общественные должности: это были – все! – старые мафиози, указанные американской мафией армейским секретным службам. Шаша знал, что в США мафию используют для участия в организации высадки в Сицилии.

Так сицилийская мафия снова объединилась и реорганизовалась после войны, и все официальные должности послевоенной Сицилии так или иначе достались мафии. Восстановление мафии – дело сицилийских сепаратистов и коллаборантов с США в надежде, что остров станет «49-й звездой американского флага». Когда эта мечта лопнула, мафия кинулась поддерживать Христианско-демократическую партию, только что организованную, тоже союзника американцев: мафия, – подчеркивает Шаша, – всегда рядом с властью.

Идеал Сицилии для Шаши – экономика на основе сельского хозяйства и туризма. Он был расстроен и не согласен с решением Рима проводить быстрыми темпами индустриализацию.

«Эта дикарская индустриализация создает не так уж много рабочих мест, но будет непропорциональна нашим истинным нуждам. Она принесет множество беспорядков и загрязнение среды, а с другой стороны – предоставит мафии огромное поле деятельности, позволит эксплуатировать всё и всех. Мафии ничего больше и не надо! Мало-помалу она перехватит в свои руки промышленность; поставит своих менеджеров, среднее руководство... Она превратится в новый класс, контролирующей политику. Новая мафия уже стала классом – посмотрите, как традиционная мафия инфильтрировала высший класс в Лампедузе! Мафиозо наследует аристократу: он уже землевладелец! И Дон Фабрицио тоже уступит свое место в сенате какому-нибудь мафиозо. Мафия как класс напоминает буржуазию в известный период ее истории. Сегодня, конечно, это просто преступность, которая, однако, имеет склонность становиться похожей только на капитализм. Она долго не будет связываться с землевладением. Сегодня мафия участвует в производстве, лишь когда речь идет о наркотиках».

Шаша напоминает тезис английского ученого Хобсбома, который писал, что «мафия – дитя буржуазии». Шаша считает, что это единственный вид буржуазии, возможный в Сицилии. Единственная разница между мафией и нормальной европейской буржуазией в том, что мафия эксплуатирует людей, опираясь на насилие, стремясь получить наибольшую прибыль в наикратчайший срок. Эта буржуазия-мафия подчиняется разным законам: если кто-то родился не мафиозо, но стал таковым, власть не наследуется, а захватывается; богатства мафиозо не легализируют его власть, поскольку приобретены насилием. Мафиозо может быть свергнут в любой день сильнейшим – значит, ему каждый день надо воевать за свою власть. В этом причина того, что мафиозо вечно воюет. Мафия не знает иного существования. Выжить она может только при помощи оружия.

С другой стороны, как и нормальная буржуазия, мафия поддерживает тесные контакты с государственными и общественными организациями и учреждениями. В Сицилии мафия долго была синонимом Христианско-демократической пар-

тии. Разница еще недавно состояла лишь в том, что мафия прямо не участвовала в обычном управлении страной, поскольку ее отношения с властью базировались на подкупе в форме взяток или на покупке голосов при выборах. Так же, как и буржуазия, мафия ненавидит беспорядок и помогает государству, играя роль некоей субполиции. Мафиозо – пуританин, он немыслимо строг в своем социальном поведении. Он – сторонник всех традиций, устоявшихся социальных порядков, норм; он не терпит отклонений. В этом мафия и политические власти объединены против народа.

Шаша – против этой коалиции. Он возлагает свои надежды на пробуждение в Сицилии духа гражданственности, считает необходимым появление реальной политической оппозиции. Политики в Сицилии резко разделены на два лагеря: христианские демократы и коммунисты. Шаша, однако, видит иные возможности. «Левые партии, левая оппозиция, а также коллаборанты, сотрудничающие с христианской демократией, оставляют всю оппозиционность неофашистам. Настоящая культурная революция невозможна, пока нет здоровой оппозиции».

«Я никогда не был коммунистом, но я верю, что они были бы вынуждены установить в этой стране некоторую строгость. Правда, мое мнение поколебалось, даже переменялось после опыта с коммунистами в городском совете Палермо. Тут они были вместе с христианскими демократами, правили вместе с ними и никогда не выступали в оппозиционной роли. Все, что происходило тут за эти сорок лет, происходило в присутствии коммунистов. Я пришел к выводу, что вместо 14 коммунистов в городском совете нужен был бы, например, один радикал – он бы оказался куда более действенной оппозицией».

Так или иначе, после множества разочарований Шаша делает упор на то, что «истина вовсе не простая вещь». Но теперь его подводит здоровье. «Не могу работать, – повторяет он, – когда дожди льют и льют из темных туч над Сицилией. Если мы поедem в деревню в этом году, мы с женой будем там так одиноки!..» Молодой человек из итальянских радикалов вошел в салон-библиотеку и поцеловал его: «Все еще курите», – проворчал он. «Не могу бросить», – вздохнул писатель. Курить – условие, на каком он согласился на интервью. Но он просто задыхается после каждой фразы. Его речь, как то было

и у другого большого итальянского писателя, Игнацио Силоне, часто прерывается долгим молчанием. Менее хрупкий, чем я предполагал, он вовсе не соблюдает спокойствия и достоинства чистого интеллектуала. Я придвигаю микрофон поближе к нему и включаю магнитофон по его кивку. Мы отматываем, чтобы проследить ход его мысли с начала.

Я спросил Шашу, действительно ли существует Мафия с большой буквы, Мафия всевластная, централизованная, та организация, которая описана в популярной литературе, – или же это только образ мыслей, жизненная философия, как утверждает немецкий ученый Хеннер Хесс в своей книге «Мафия», к итальянскому изданию которой Шаша написал предисловие.

– Нельзя сказать, что мафия не существует. Хотя многие ученые утверждают, что мафиозо сам не знает, что он мафиозо. Он просто живет в тех социальных условиях, без которых мафия не могла бы существовать. И только. Но это была теория, лет 25 тому назад так думали, с тех пор понимание предмета очень изменилось. Нынешняя мафия – многонациональная преступная организация, ассоциация с главным штабом в Сицилии, с ответвлениями по всему миру. Она может проникать в другие страны, в другие государства.

– Но что родилось здесь, в Западной Сицилии? Есть ли что-то особенное в этом районе, в этом населении? Означает ли мафия насилие одного человека над другими, означает ли это, что сицилийцы более жестоки, чем другие народы?

– Есть множество ответов на этот вопрос, большинство – историчны, но не радикальны. Есть некоторое разделение в типах землевладения тут, феодализм тут задержался надолго, множество чужеземных влияний противостояли друг другу много веков, против них сицилийцы защищались самостоятельно. Государство для народа – нечто чужеродное. Мафиози – это замена реальной местной полицейской власти. Все это и создало мафию, ее особый тип мышления. Сицилийцы ничуть не более жестоки, чем другие народы. И надо помнить, что первоначальная мафия была куда более жестокой, чем та, которую мы видим теперь.

– Вы написали об отношениях мафии и общественных властей в прошлом. Как вы определите эти отношения сегодня?

– Ситуация сложная. Если раньше контакт с политиками был тесным, сегодня они стараются держаться на некотором расстоянии от мафии. Вот почему мафия так воинственно реагирует на репрессии государственной власти. Старый мафиозо был соблазнен политикой. Быть всевластным боссом мафии значило иметь и политическую власть. С другой стороны, политикам соблазняли легкий путь к власти и деньги, которые предлагала им мафия. Это было видно с достаточной ясностью в США. Связь с политической властью гарантировала мафиозо безопасность действий, направленных на приобретение немислимых богатств. А политикам это приносило и деньги, и голоса. В моей пьесе «Мафиози» я хотел показать, как мафия, еще под властью Бурбонов и особенно под властью Италии, могла манипулировать избирательной машиной. Это противоположно положению при фашизме: режим не переносил свободных выборов и не нуждался в голосах, поставляемых мафией. Печально констатировать, что почву для развития мафии дает демократия. Короче, класс политиков был марионеткой мафии. Хотя эти отношения точно неопределимы, но мафия довольна защитой всех государственных органов. Иначе нельзя объяснить ее прочность и долгое существование. Теперь, когда эти отношения кончаются, еще существует проблема ареста множества судебных чинов за сообщничество с мафией. Это проблема общенационального масштаба, острее всего она в Риме. Та же самая коллизия – в США, хотя сегодня правительство, кажется, предпринимает более серьезные усилия к тому, чтобы искоренить мафию. Воля центрального правительства необходима для этого. Большая перемена и тут, в кругах крупной буржуазии Сицилии, да и все общество начинает все больше отдаляться от мафии. Перемена стиля жизни играет решающую роль. В Сицилии мафия мыслит по старинке; прежний образ жизни, тяжелый труд, опасный труд нужен, чтобы разбогатеть, а потерять все очень легко. Надо жить подпольной жизнью. А вместо этого даже молодые мафиози просто хотят радоваться жизни.

– Является ли ценностью для современного мафиозо то, что он внушает страх и играет отчасти роль защитника, осуществляя свою власть над населением? Каково влияние подпольной мафии на мафиозный склад ума?

– В прежние времена мафиозо нуждался в том, чтобы все знали: это он – власть! Тому гарантией было его оружие. В каждом городе Сицилии каждый знал, кто здесь командует, кто глава мафии. Сегодня мафиозо маскируется. Подолгу бывает неизвестно, кто же сейчас босс. Раньше в известности не было никакого риска, если не существовало прямых доказательств преступлений. Сегодня это рискованно, и мафиозо уже не играет роли мирового судьи. Сегодня он занят только организованной преступностью.

– Что значит быть сицилийцем сегодня?

– Как я сказал, быть сицилийцем – значит прежде всего быть на передовой. Встречать все итальянские проблемы лицом к лицу. Верно, что многое теперь стало яснее, но многое и безнадежнее. В общем, быть сицилийцем – это иметь волю к борьбе, отречься от себя, быть непохожим на других.

Для не-сицилийцев быть сицилийцем – все равно, что персом из произведений Монтескье. Они задаются вопросом, как вообще возможно в Сицилии быть сицилийцем. Но можно быть сицилийцем в борьбе. Прогресс заставляет Сицилию сражаться с самой собой, поэтому я сегодня оптимист. Борьба с мафией началась. Риск в том, что в этой борьбе можно потерять чувство законности. В Италии у нас есть мафия и Красные бригады. Борьба против них разъедает представления о законе и справедливости. Поэтому мой оптимизм условен. Ведь слабость представлений о законности – это серьезно! Такие массовые испытания – когда у вас сотни преступлений в Неаполе или террористы в Риме – приводят к пренебрежению законностью. Если Сицилия будет продолжать бороться с мафией без смягчающего влияния законов, она будет обречена на неудачу.

– Вы писали, что реальное государство для сицилийца – это семья, что официальное государство – только внешняя сила, навязывающая военную службу и взимающая налоги. Идея семьи – также основа мафии. Существуют ли еще в Сицилии могущественные семьи? И какова роль женщин в этой Сицилии, которую вы определяете как женщину?

– К несчастью, значение семьи в Сицилии невероятно. Сицилия может вообще считаться патриархальным общест-

вом. Но не в этом причины всего. Она вместе с тем и наиболее близкое к матриархату общество во всей Италии, которая вообще-то в основном «матриархатная нация». Женщина тут играет огромную роль, она полностью решает судьбу своих детей. Это можно видеть во многих романах о Сицилии. Сравнение с другими народами это тоже показывает. Сравните с Францией или Германией – роль женщин в Италии совсем иная. Порой, однако, сравнение в пользу Италии: жизнеспособность итальянцев намного выше. Это энергичная страна, как сказал Стендаль. С другой стороны, привязанность к семье частично порождает дух гражданственности, ощущение общественного и заставляет уважать общественную собственность.

– Как выжила сицилийская культура под всеми иностранными завоеваниями, при всех лишениях и бедности? В чем сила самосознания сицилийцев?

– Основное – сознание островного жителя. Своеобразие лучше выживает на островах. Сицилия, Сардиния, Корсика имеют свои особенности в большей степени, чем другие районы. География всегда определяла историю. Сицилийцы, пережившие столько завоеваний, столько иностранных оккупаций, замкнулись и всегда старались защищать свою национальную самобытность активнее, чем любой другой уголок Европы.

– Верно ли, что сицилийцы – прежде всего сицилийцы?

– Никто не может забыть, что Сицилия – это Италия. Сицилийские проблемы – это итальянские проблемы. Были сепаратисты, тянувшие к прежним временам, но они никогда не играли важной роли. Если старая сицилийская концепция называть Италию «континентом», отрезанным от Сицилии, еще существует, то она потеряла радикальный характер. Италия едина. Культурно это одна страна. Если и существует экономическая разница между югом и севером, то это проблема, которую хорошее правительство легко может разрешить. Короче, итальянская культура включает в себя и сицилийскую. Конечно, есть разница между Римом и Палермо. Я это знаю, очень даже есть. Мир стал бы скучным, одетым в униформу и потерял бы всякую привлекательность без этих раз-

личный. Но я не верю, что есть такие различия, которые оставляют Сицилию за пределами Италии или делают ее хуже, хотя верно, что чувства сицилийцев мало учитываются государством.

Так же, как в Восточной Европе, народы не хотят забывать собственную историю, свои обычаи, свой образ мыслей, свой собственный взгляд на жизнь. И это их право, даже если государство старается нивелировать все это, стереть, сделать приемлемым для своих, государственных, целей. Каждый народ защищается как может.

– Что вы имеете в виду, когда говорите, что вся Италия и, может быть, весь мир становится Сицилией?

– В той степени, в какой падает общественный дух, в той степени, в какой идеи теряют значение, не принимаются в расчет или служат лишь для господства над народом, ровно в такой степени мир становится «Сицилией». Он превращается в мафиозо. Я сравниваю это с коммунистической «идеей», которая в странах «реального социализма» – инструмент господства. Я вижу в этом инструмент для мирового господства. Я не верю в то, что это всё – социализм в большей степени, чем в США. Не верю, что социализма больше в СССР или Чехословакии, чем в США. Сегодня я думаю, что в смысле экономики США или Италия – гораздо более социалистические страны. В том смысле, что человек использует власть, чтобы господствовать над другим человеком, весь мир становится Сицилией. Словно весь мир бредит, словно всему миру снится кошмар о мафии.

– Вы пишете, что многие плохие обычаи экспортируются из Сицилии по всему миру. Например, омерта (молчание и отказ давать информацию при опросе полицией). Думаете ли вы, что это тоже становится всеобщим?

– Любое общество может заразиться омертой, или мафиозной психологией. Любое общество может приобрести подобные качества. Это не расовый и не национальный признак. Омерта диктуется страхом. Если, говоря о чем-то, я вижу или знаю, что этим подвергаю свою жизнь опасности, ясно, что молчание – моя защита. Если мафия занимает в умах сици-

лицев первое место, а полиция – второе, страх – вполне законное чувство.

– Ваш герой, Кандидо, говорит, что коммунизм естественен, как половой акт, что он – дополнение к надежде. Как связано это утверждение с вашими убеждениями?

– История Кандидо – это история моего поколения. Даже те, что не были коммунистами, были субъективно коммунизмом очарованы, хотя бы в некоторых смыслах, но наконец во многом эти иллюзии лопнули. Мы начали понимать, что коммунизм ничего нового предложить не может этой стране, ничего доброго и отличающегося от всего прежнего.

– Вы выразили сомнение по поводу социализма в Восточной Европе. Какое будущее видите вы для этих стран? Может там что-нибудь измениться?

– Я думаю, что кое-что должно измениться. Я думаю, что очень важно, когда вместо восьмидесятилетнего человека во главе страны становится пятидесятичетырехлетний. Молодые люди думают иначе, чем старики. Я думаю, что начнется процесс «распутывания» системы. Я думаю, что появится некоторый прагматизм. Даже Китай со своими старыми вождями в конце концов видит, что надо обновляться, и становится прагматичным.

– Каково влияние русской литературы на ваши произведения?

– Толстой для меня очень важен. Он и Стендаль научили меня видеть вещи ясней. Он научил меня любить истину, смысл истории. Он и французы, вроде Дидро и Вольтера, помогли мне выработать лапидарный стиль. Мальчиком я прочел всех русских классиков. Великим писателем я считаю Достоевского, но он меня интересует все же меньше, чем Толстой. Я думаю, что есть множество писателей в русской литературе, о которых мы на Западе не знаем, особенно за советский период, тех, кто сохранил традиции великой литературы. А надо бы знать больше о русской культуре! Это должно быть целью культурного обмена с Советским Союзом. Не менее важна литература русской эмиграции. Я кое-что читал. Издательство «Селлеро» в Палермо выпустило недавно рассказы Виктора Заславского, они мне понравились. («Селлеро»

раньше издало по-итальянски Тургенева, Гоголя, Лескова, Пушкина.)

– В ваших произведениях вы часто говорите о сталинизме. Почему?

– Все дело в том, что сталинизм никогда не кончался. Судьба реального социализма и есть судьба сталинизма. Разгадывание системы только начинается, и, пока он внутри себя сам не разложится, реальный социализм всегда будет сталинизмом.

Я, как итальянско-европейский писатель, представляю себе сталинизм как тираническое государство, неотличимое от тирании некоторых сумасшедших римских императоров. Потому что я вижу некоторые сумасшествия сталинизма.

Исторически я представляю сталинизм как причину окончательного отхода от революции. Он окончательно трансформировал революцию, которая имела целью освобождение человека от тирании. Эта тенденция не всегда проявлялась у Ленина, а Сталин усилил многократно эту тиранию и развил ее в нечто невыносимое по степени ужаса.

Невероятно также, что человек был способен перенести сталинизм. Я знаю фашизм, это было достаточно плохо... Но сталинизм его перецегалял. Можно сказать, что сталинизм – это мафиозо в смысле всеобъемлющей тирании одного над многими.

– Почему вы писали так много о священниках и коммунистах, о Советском Союзе и Соединенных Штатах?

– Потому что это все – зримая реальность. Сталинизм действительно напоминает Церковь в самые жуткие моменты ее бытия, контрреформации и инквизиции. Это тоже была причина соблазнов. В Италии это проявилось очень сильно. Я интересуюсь Соединенными Штатами, потому что вижу их как страну, способную на ужасные ошибки, но способную и быстро их исправлять. Но я не могу забыть о том, что фашизм был уничтожен благодаря США, после того как они вступили в войну. Это великое событие.

– Считаете ли вы себя сицилийским писателем?

– Я – итальянский писатель. С сицилийскими традициями за спиной. Сицилийские традиции очень важны для меня, это

богатые традиции. Быть сицилийцем для меня значит быть весьма не простым... Это дает ощущение сложности жизни...

– Могли бы вы писать, если бы были эмигрантом – например, в Америке?

– Совершенно не представляю себе этого, просто потому что не имею опыта. Я никогда не пробовал писать в другой стране. Но думаю, что если человек посвятил себя писательству, он может писать где угодно. И все же, наверное, очень важно писать там, где ты родился и вырос. Однако я мог бы без сложностей жить и в каком-нибудь другом месте.

– Вы знаете, что не прекращается дискуссия о том, эмигрировать или не эмигрировать из СССР. Многие отрицают саму идею эмиграции. Как бы вы поступили, будь вы советским писателем?

– Я бы сделал все возможное, чтобы уехать. Я мог бы уехать драматично, страдая и мучаясь угрызениями совести, но разрешить свои проблемы я мог бы только отъездом. Я жил двадцать лет при фашизме. И если было бы не двадцать, а больше – я бы отдал все, чтобы покинуть Италию. Думаю, что немислимо трудно для писателя спасти себя в такой обстановке. Такие, как Евтушенко, могут думать, что делают что-то положительное, но, по-моему, он просто служит для режима неким алиби: они ведь всегда могут сказать, что вот он «не совсем один из них», а ему все же дают работать... Это и в Италии при фашизме было: существовали «нонконформистские» течения, которые поддерживались самим режимом! Но это ему не так уж помогло.

– Что происходит с интеллигенцией в подобных условиях?

– Я думаю, что мафиозная психология может развиваться и среди интеллигенции. Реальность, созданная каким-либо видом тирании, может привести к появлению общества, аналогичного мафии. Ведь многие тирании напоминают мафию. Настоящая культура – конечно, всегда оружие против того, чтобы мафиозное сознание развивалось среди интеллигентов. Сам факт эмиграции литераторов, вынужденных уезжать, подтверждает это. Вот так же из Италии в прошлом веке эмигрировало огромное количество интеллигентов, а в конечном счете они внесли неоценимый вклад в Рисорджименто.

ШАША Леонардо – родился в 1921 году в маленьком городке на юге Сицилии, где почти постоянно проживает до сих пор. Уже будучи известным писателем, продолжал учительствовать. С 1975 г. увлекся политической деятельностью. Был избран в городской совет Палермо. Сначала примыкал к социалистам, затем к радикалам, от партии которых был избран в итальянский парламент (1980 – 1983 гг.). Является одним из самых популярных итальянских писателей современности. Переведен на все основные языки мира. Духовно сам себя относит к французской и русской литературной школе.

ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗАРУБЕЖЬЯ!

В последнее время участились случаи перепечатки в русскоязычных изданиях Зарубежья материалов «Континента» без всякой ссылки на источник.

В связи с этим, редакция считает своим долгом предупредить столь бесцеремонных публикаторов, что отныне мы закрепляем за собой право пресекать подобную практику в соответствии с существующими в каждой отдельной стране законами.

Право требовать морального или судебного удовлетворения на местах предоставляется нами нашим официальным представителям, имена которых обозначены на второй странице обложки журнала.

Напоминаем также, что «Континент» разрешает всем русскоязычным изданиям Зарубежья безвозмездные перепечатки из «Континента» только с условием обязательной ссылки на источник.

РЕДАКЦИЯ

О СОВРЕМЕННЫХ КАИНАХ

К верующим христианам всех исповеданий, к честным людям всех наций обращается страдающий отец.

Мой духовный сын, ученик, друг страдает, и я не знаю о нем ничего, и неоткуда узнать.

Александр Огородников – русский молодой человек, человек кристальной чистоты, умный, мыслящий, верующий христианин и горячий русский патриот – был ввергнут в тюрьму семь лет назад. Его вина только в том, что он собирал семинары верующей молодежи, на которых обсуждались чисто теоретические вопросы, связанные с бытием христианской Церкви: проблема соединения православной и католической Церквей, философия В. С. Соловьева и другие вопросы. Советские жандармы всполошились: разогнали семинар, а Александра Огородникова бросили в застенки. Первоначально дали ему год лагеря за «тунеядство», предварительно выгнав его из университета, а потом из всех учреждений, лишив его возможности работать даже дворником.

Это, однако, показалось мало советским фашистам: перед окончанием срока они вновь его судили и приговорили его еще к семи годам заключения.

В данное время приближается окончание срока его заключения. О нем, однако, ничего неизвестно: ГУЛаг не отвечает на запросы. У друзей Александра отключены телефоны, другие же так напуганы новой волной террора, что боятся отвечать на вопросы об Александре. Можно полагать, что Александру так же, как и его товарищу Владимиру Порешу, хотят дать новый срок. Эта практика, введенная в жизнь обер-бандитом Сталиным, от которой он, однако, под давлением международной общественности вынужден был в последние годы своей жизни отказаться, – вновь введена в жизнь при трех последних временщиках (Брежнев, Андропов и Черненко).

Господин Горбачев, легенда о либерализме которого создана шарлатанами, именующими себя «советологами», также придерживается этой бандитской практики.

В этих условиях у меня нет другого выхода, как обратиться ко всем честным людям: требуйте освобождения Александра, требуйте от советского правительства, чтобы оно указало, где он находится, требуйте, просите, добивайтесь!

А к советским судьям и тюремщикам я обращаюсь словами русского поэта:

«Вас Каин основал, общественные стены,

Где «не убий» блюдет убийца судия.

Кровь Авеля размочит ваши плены,

О братстве к небу вопия».

(Вячеслав Иванов. Стихотворения и поэмы. Ленинград, 1976, стр. 166)

Анатолий Краснов-Левитин

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ПОЭТА

В связи с предстоящим приездом Горбачева в Европу, в честь недавно отмечавшегося десятилетия Хельсинкских соглашений, в СССР совершено очередное человеческое жертвоприношение.

4 сентября 1985 г. в концлагере скончался выдающийся украинский поэт, прозаик, переводчик, публицист, член ПЕН-Клуба, член Украинской Хельсинкской группы Василь Семенович Стус.

Ровно 20 лет назад, 4 сентября 1965 года, Василь Стус выступил с протестом против арестов деятелей украинской культуры на просмотре кинофильма С. Параджанова «Тени забытых предков». Выступил вместе с И. Дзюбой, поддержанный Параджановым.

Среди арестованных был соратник по борьбе за возрождение украинской культуры – Иван Светличный.

В стихотворении, посвященном ему, В. Стус передал ту муку, которую испытываешь, когда ничем не можешь помочь арестованным. И тот стыд, который испытываешь от того, что остался на свободе:

Не могу я без посмішки Івана
Оцю сльотаву зиму пережити.
В проваллях ночі, коли Київ спить,
а друга десь оббріхують старанно,
склепить очей не могу ні на мить,
він як зоря проміниться з туману,
але мовчить, мовчить, мовчить, мовчить.

Ні словом не озветься. Ані пари
із уст. Вусате сонечко моє!

.....

Іваночку! Ти чуєш, доброокий?
Йй-бо не знаю, що я зле зробив.
Чого ж бо й досі твій поріг високий
ані відчув, ані переступив.

Прости мені недільний мій Хрещатик,
Що сівши сидьма ці котли топлю
в оглухлій кочегарці.

Но порог уже был переступлен – осенью 65-го года Василя Стуса выгнали из Института литературы. Поэтому и писал в кочегарке...

...читаючи люблю
твоїх Орхана, Незвала і Данте,
в дев'яте коло прагнучи стремлю.
Моє ж досє, велике, як майбутнє,
напевне, пропустив котрийсь із трутнів.

Не пропустили... Просто поставили на очередь, оставили до 72-го, когда загребли уже вместе со Светличным.

Не представлял он тогда, что кому-нибудь достанется горшая мука бессилия и стыда. Не кочегарка и Крещатик, а кафе на Парижских «Елисейских полях»... И вместо «твоих Орхана, Незвала и Данте» – газета «Матэн» с очередной порцией благоглупостей homo soveticus'ов. «ГУЛагов нет», как не оказалось национальных и религиозных движений, которые якобы сочинены диссидентами и падкой на сенсации западной пресой.

А там, в «не-ГУЛаге», погибают один за другим: Тихий, Литвин, Марченко, Потичный... Стус...

«Волков не бывает», – открыл когда-то в 20-е годы homo soveticus – мальчик.

«ГУЛагов нет», есть просто убийство – шприцами врачей, руками уголовников или психопатов, голодом и холодом камер, болезнями, неудачными операциями, несчастными случаями... В лагерях или на воле ...

Изредка гебилам удается сломить, а затем разложить душу человека. Тогда появляется какой-нибудь Дзюба или Бердник...

В 70-м году пришла первая смерть: убили художницу Аллу Горскую.

Василь Стус на смерть Горской написал тогда:

Ярій, душе. Ярій, а не ридай!
У чорній стужі сонце України,
а ти – червону тиць калини,
на чорних водах тиць її шукай.

Бо мало нас. Дрібнесенька щопта
Лишь для молитов і сподівання.

Застерігає доля нас зарання,
що калинова кров – така крута,
така терпка, як кров у наших жилах.
У білій стужі білих голосінь
ці грона болю, що падуть в глибинь,
безсмертною бідую окошились.

В этих стихах предчувствие следующих смертей, в том числе – убийства композитора Владимира Ивасюка (1979). Но это, прежде всего, память о «п'ятірном гроні» поэтов-неоклассиков. Грозди боли вылились из «Лебедей» одного из них, М. Драй-Хмары. Из пятерки, о которой он писал в 28-м году, трое погибли в лагерях (сам М. Драй-Хмара, М. Зеров, П. Филипович), один спасся бегством за границу (Освальд Бурггардт – Юрий Клен), один – «хайживуьськими ямбами» в честь убийц. Это М. Рьльский, который спасся ценой самоуничтожения себя и своего таланта.

В «щопті», щепоти шестидесятников, оставшейся для молитв-ожиданий, Рьльским оказался оказался И. Дзюба, доньне расписывающий свой позор по «граням кристалла» единой, русифицированной советской культуры.

«Большой Иван Дзюба окончился, начался гомункул из страны лиллипутов», – писал В. Стус в 1975 – 1976 гг. в «Открытом письме Ивану Дзюбе».

Еще до ареста, в начале 70-х годов, Василь Стус в работе «Феномен эпохи» исследовал феномен падения гения П. Тычины в бездну холуйства: «...свершилась его всенародная слава, но слава не гения, а пигмея. Слава гения (вынужденного быть пигмеем, шутом при дворе кровавого короля) была запрещена. Слава же пигмея, который стал паразитировать на теле гения, была обеспечена»...

Эта талантливая работа В. Стуса, как и 500 его стихов, 10 печатных листов прозы, столько же – публицистики, 30 печатных листов переводов, – как почти всё, – погибла в гебешных застенках.

Малая доля пятнадцати лет работы талантливого писателя попала в самиздат, а из него – за рубеж.

В тюрьме и в лагере В. Стус продолжал работать. Переводил Гёте (около ста стихотворений), Рильке (около ста сти-

хотворений). Из нескольких сотен его собственных стихов немногие попали на волю. Все остальное опять было погублено гебистами.

В августе 1976 г. В. Стус обращается к ПЕН-Клубу с письмом: «Помогите мне спасти мои стихи от огня!»

Карательная машина хладнокровно продолжала уничтожать поэта и его творчество.

Отбыв свой срок (осень 1979), В. Стус обратился к КГБ с требованием вернуть его рукописи. Почти все оказалось сожженным. Остальное – оставлено в «деле».

Осенью 1979 г. В. Стус стал членом Украинской Хельсинкской группы, за что и был арестован в мае 80-го и осужден на 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки.

И В. Стусу, и его друзьям было понятно: это смертный приговор, где смертная казнь растянута на годы.

В своем письме в защиту В. Стуса (октябрь 80-го года) Андрей Сахаров указывал, что, наряду с повторными приговорами Тихому, Пяткусу, Гаяускасу, Лукьяненко, приговор Стусу даже на общем трагическом фоне 1980 года отличался своей бесчеловечностью.

Но гебилы не удовлетворились и этим приговором. Добивали карцерами. Жене не давали свиданий. И опять сотни уничтоженных стихов.

Осенью прошлого года В. Стус написал жене прощальное письмо.

Смерти 84-го года показали, что власть пошла на физическое уничтожение наиболее непокорных – в частности и в особенности, украинцев.

На недавней конференции ПЕН-Клуба председатель Комитета по заключенным писателям Майкл Скэмвел указал, что из имеющегося в Комитете списка 433 писателей-заключенных – 25 украинских. М. Скэмвел обратил внимание собравшихся на особо угрожающее состояние здоровья В. Стуса.

Поздно ...

Правозащитная борьба ныне все более превращается в литературу некрологов.

Не хочу и не могу писать некрологи: каждое слово нали-
вается кровью. Или отсвечивает сытой ложью эмигрантщи-
ны. Не хочу выступать от имени Хельсинкской группы.

«Хельсинки» – ложь.

Мы не можем и не должны их защищать. «Права челове-
ка», вписанные в них, – дымовая завеса для торговли и капиту-
ляции Запада перед уголовным режимом. Хельсинки сегодня
превращены западными правительствами в новый Мюнхен.
Именно эта политика капитуляции Европы перед уголовни-
ками из Кремля развязала им руки для убийств...

Погиб Поэт. Один из лучших поэтов нашего времени.
Остались два его сборника стихов «Зимові дерева» (изд-во «Лі-
тература і мистецтво», 1970), «Свіча в свічаді» (изд-во «Сучас-
ність», 1977). Готовится в «Сучасності» третий, тюремный,
сборник его стихов.

Они ждут своих исследователей, как и сама жизнь этого
большого поэта.

Отмечу лишь одну замечательную особенность его твор-
ческого пути, памятной Каинам и Иудам: талант Василя Стуса
рос от сборника к сборнику, из года в год. Где они сегодня –
Драчи, Коротичи, Винграновские, эти украинские Евтушенки
и Вознесенские? Где их неставший или сгнивший талант?

Об этом писал Дзюбе в 70-е годы В. Стус: «Остановив-
шись на перекрестке, ты пустился бежать от самого себя, мы
же двинулись дальше. Сделали новый шаг. Этот шаг – как в
бездну. Но – это наш шаг к самим себе, к своему народу, к
нашему будущему».

В поэзии, в самом себе, Стус вышел победителем.

В политике – в борьбе за свой народ, свою культуру, за
наше будущее – должны победить те, кто не сдался.

Леонид Плющ

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis · Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40,- ДМ, или 17.50 US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,- ДМ, или 3.50 US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804







Который раз с горечью приходится вспоминать то, что писали мы пять лет назад: «десять плюс пять» – не что иное, как медленная, на годы (и какие тяжкие, мучительные годы) растянутая смертная казнь. Мрачное доказательство полного бесчеловечия советской системы, доказательство, в котором нет нужды, – лучше бы все они, все погибшие в лагере «особого» режима «особо опасные рецидивисты», оставались в живых.

Гибель Василя Стуса особенно горька (если в этих случаях вообще можно говорить «особенно»). Надежда и недовершенное свершение сегодняшней подлинной украинской культуры. Недовершенное – ибо сохранилась лишь малая часть им написанного. Недовершенное – ибо не довелось прожить жизнь до конца...

Мы – никогда лично не зная Василя Стуса – любили его. Переводили, печатали, но больше этого – любили. Да упокоится душа его в мире, по ту сторону колючей проволоки, опутавшей наш мир.

«КОНТИНЕНТ»

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Умер Аксель Шпрингер, выдающийся немецкий издатель, общественный деятель, публицист, основатель и друг журнала «Континент». Ушел из жизни человек высокой культуры, гуманист



в подлинном, а не в демагогическом смысле этого слова, глубоко верующий христианин, принципиальный противник тоталитаризма, всех расцветок — от коричневого до красного, — искренний и неизменный друг России. Его символом веры была Свобода. Всю свою долгую и яркую жизнь он был ее верным рыцарем и оруженосцем. Ей посвятил он энергию гениального организатора, влияние большого общественного деятеля, дар незаурядного журналиста и писателя. С нею до конца дней связывал свои надежды и чаяния.

Он был всегда с гонимыми и угнетенными, вне зависимости от цвета их кожи и политических убеждений. В защите свободы и ее ценностей он не различал «ни эллина, ни иудея». Левые и правые, черные и белые, верующие и неверующие, когда попиралась свобода их совести или взглядов, всегда находили в нем своего последовательного и щедрого защитника.

Одним из первых в Германии, если не самым первым после крушения нацизма, он встал на мучительно трудный для обеих сторон путь примирения между немецким и еврейским народами и довел это благородное дело до более чем успешного завершения. Одно это навсегда обеспечивает ему место в мировой истории.

В своем интервью нашему журналу в 1976 г. он изложил кредо своей жизни в следующих словах: «Ликвидация свободы и ее разрушение означают конец достойной человека жизни. Поэтому я считаю: не верить в свободу, не бороться за свободу — значит отрицать Бога и предавать мир чёрту, в каком бы то ни было виде. Таким образом борьба за свободу — этическое требование. В нем есть что-то от задачи спасения. Из-за этого страстный путь свободы, по которому шел и идет круг друзей «Континента», — это подлинное начало, чтобы дать шанс свободе в несвободных странах европейского Востока».

Воистину так!

Прощай, наш дорогой друг!

«КОНТИНЕНТ»